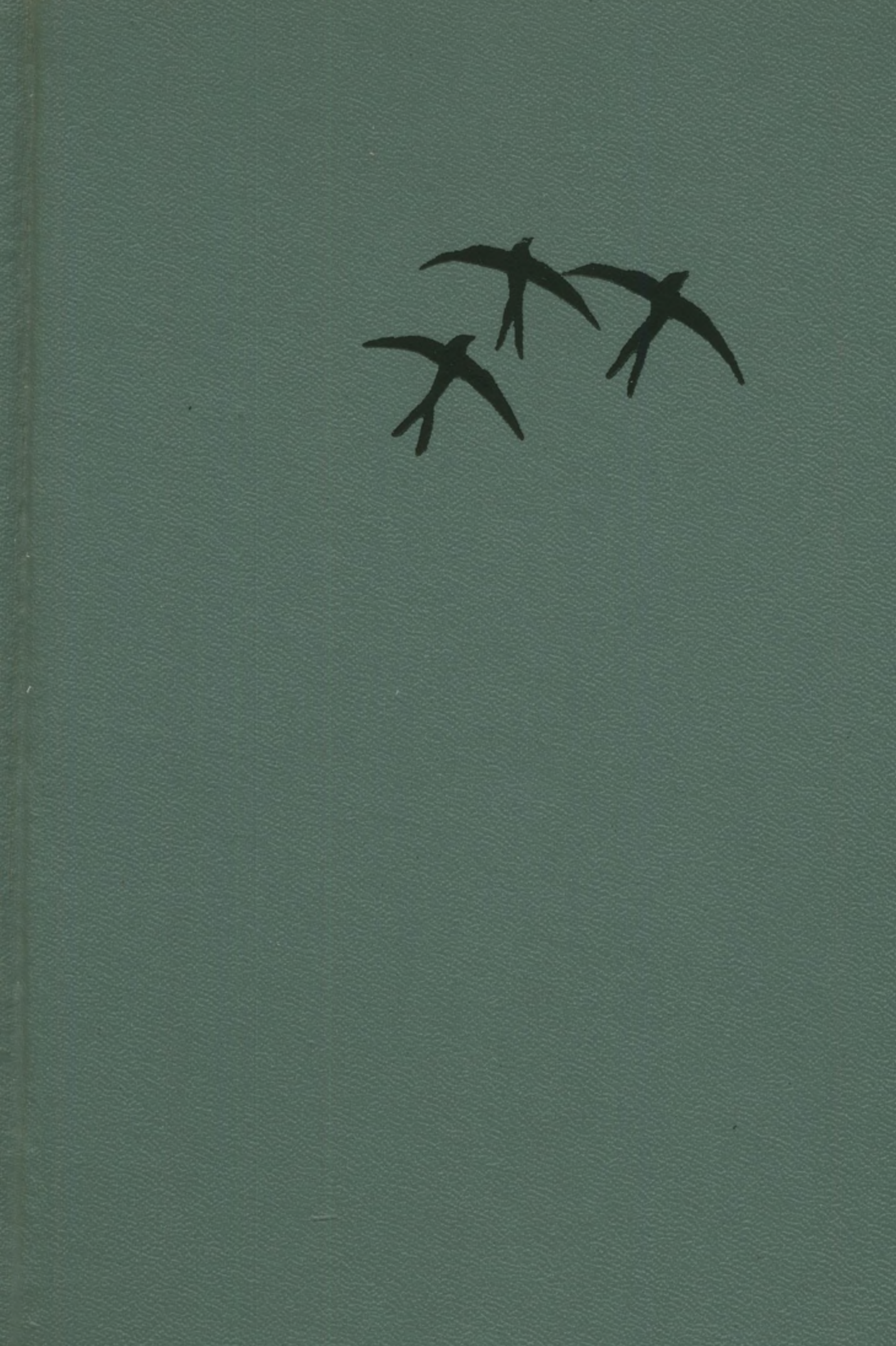
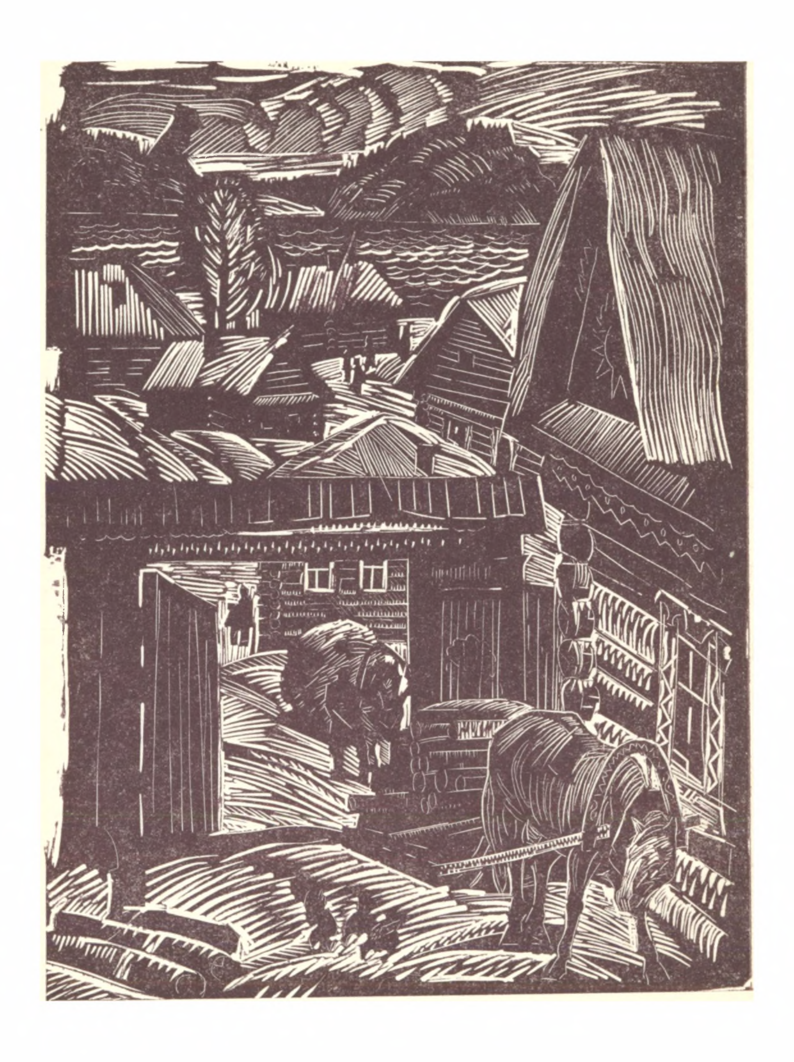
ВИКТОР АСТАФЬЕВ

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН





Виктор Астафьев

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН

ПОВЕСТЬ

Пермское книжное издательство • 1968

Художники В. и А. Мотовиловы

7-3-2

Грядет над нами, словно чудо,
Гудящей медью небосклон.
Откуда колокол,
откуда
Его протяжный гулкий звон?
Из глубины какого века?
Зачем он явь, а не во сне?
А может, это просто эхо,
Окаменевшее во мне...

Вал. Сидоров

Пой, скворушка. Гори, моя лучина.
Свети, звезда, над путником в степи.

Ал. Домнин

ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ СКАЗКА

(ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ)

На задворках нашего села среди травянистой поляны стояло на сваях длинное бревенчатое помещение с подшивом из досок. Оно называлось завозней. Крестьяне нашего села завозили сюда семена и хранили. Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы и, значит, село будет жить, потому что покудова есть семена, есть пашня, в которую можно бросить их и вырастить хлеб, он, крестьянин, хозяин, а не нищеброд.

Поодаль от завозни — сторожка. Прижалась она под каменной осыпью, в заветрии и вечной тени. Над сторожкой, высоко на увале, росли лиственницы и сосны. Сзади сторожки выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по подножию увала, обозначал себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пору, а зи-

мой — тихим парком из-под снега и куржаком по наползавшим с увалов кустарникам.

В сторожке было два окна: одно подле двери и одно сбоку — в сторону села. Но то окно, что к селу, затянуло расплодившимися от ключа черемушником, жалицей, хмелем и разной дурниной. Крыши у сторожки не было. Хмель запеленал ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля торчала труба с опрокинутым на нее пустодонным ведром, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки — в зависимости от времени и погоды.

Жил в сторожке Вася-поляк. Роста он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки. Очки эти вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребятишек, но и у взрослых.

Жил Вася тихо-мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к нему. Лишь самые отчаянные ребятишки украдкой заглядывали в окно сторожки и ничего не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь.

У завозни же ребятишки толклись с ранней весны и до осени: играли в прятки, заползали на брюхе под бревенчатый взъезд к воротам завозни либо хоронились под высоким полом за сваями, и еще в сусеках прятались; рубились в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками — битами, налитыми свинцом. При ударах, гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал воробьиный переполох.

Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду — крутил с ребятишками веялку по очереди, и здесь же в первый раз в жизни услышал музыку — скрипку...

На скрипке, редко, правда, очень редко, играл Вася-поляк, тот загадочный, не из мира сего человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки и остается в памяти навсегда. Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, рядом с лесом, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ, и чтобы никто-никто не знал, что делается в избушке и о чем думает ее хозяин.

Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нее. Бабушка посадила Васю пить чай, а сама принесла сухой травы и стала заваривать ее в чугунке. Она жалостно поглядывала на Васю и протяжно вздыхала.

Вася пил чай не по-нашему, не из блюдца, а прямо из стакана, чайную ложку выкладывал на блюдце и не ронял ее на пол. Очки его грозно посверкивали, а голова была стриженая и оттого казалась маленькой, с брюковку. По черной бороде, ровно кривою молнией, полоснуло сединой. И весь он будто присолен и крупная соль иссушила его.

Ел Вася стеснительно, выпил лишь один стакан чаю и, сколько бабушка его ни уговаривала, есть больше ничего не стал, а церемонно, не крестясь, откланялся и унес в одной руке глиняную кринку с наваром из травы, в другой — черемуховую палку.

— Господи, господи! — вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. — Доля ты тяжкая... Слепнет человек.

Вечером другого дня я услышал Васину скрипку.

Была ранняя осень. Ворота завозни распахнуты настежь. В них тянул сквозняк, шевелил стружки в отремонтированных для зерна сусеках. Запахом прогорклого, затхлого зерна тянуло в ворота. Стайка ребятишек, не взятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла. Осенью как-то вообще плохо играется, не то что весной. Один по одному разбрелись ребятишки по домам, а я растянулся на прогретом бревенчатом взъезде и стал выдергивать проросшие в щелях зерна. Ждал, когда загремят телеги на увале, чтобы перехватить наших с пашни, прокатиться домой, а там, глядишь, коня сводить на водопой дадут.

За Енисеем, над Караульным быком, затемнело. В вершинах сосен и лиственниц, разбросанных по быку, просыпаясь, мигнула раз-другой крупная звезда и стала светиться. Была она колючая, вроде шишки репья. А на этой стороне, за увалами, над Васиной избушкой, упрямо, не по-осеннему, тлела полоска зари. Но вот на нее наползла с двух сторон — из-за леса и из-за реки — плотная темнота. Зарю притворило до утра, будто светящееся окно ставнями.

Сделалось темно, тихо и одиноко.

Сторожки не было видно. Она скрылась в тени горы, слилась с темнотою, и только зажелтевшие листья чуть отсвечивали под горой, в углублении, выдолбленном ключом. Оттуда начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни.

Я втиснулся в зауголок завозни и боялся громко дышать. По увалу, над Васиной избушкой, загрохотали телеги, зацокали копы-

та: люди возвращались с полей, с заимок, с работы, а я так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не мог одолеть накатившего на меня вместе с темнотою страха. На селе засветились окна, к Енисею потянулись дымы из труб. В зарослях малой речки кто-то искал корову и то звал ее ласковым голосом, то ругал последними словами.

В небе, рядом с той звездой, что все еще одиноко светилась над Караульным быком, пропечаталась незаполневшая луна, будто неровно обкусанная половина яблока. От завозни упала тень на всю поляну, и от меня тоже упала тень, узкая и носатая.

За Малой речкой — рукой подать — зебелели кресты на кладбище, пискнуло что-то в завозне, и холод пополз под рубаху, по спине, под кожу, к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться, и лететь до самых ворот дома, и забренчать щеколдой так, что проснутся на селе все собаки...

Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене.

Сделалось еще страшнее: слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей и где давно, еще бабушка говорила, задавился человек, а сзади темная завозня, за нею село, огороды, охваченные чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма.

Один я, один, а кругом жуть такая, и еще музыка — скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозит она вовсе. Жалуется. И совсем ничего жуткого нет. И бояться нечего. Дурак-дурачок! Разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слышал никогда, вот и...

Музыка становится мягче, прозрачней, и слышу я, как отпускает сердце. И кажется мне, что музыка эта течет вместе с ключом из-под горы. Кто-то припал к ключу губами, пьет, пьет и не может напиться: так иссохло у него во рту и внутри. И видится мне почему-то тихий в ночи Енисей, а на нем плот с огоньком. С плота кричит неведомый человек: «Какая деревня-а-а?» — и плывет дальше. Зачем? Куда? И еще обоз на Енисее видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки. Кони идут тихо, дремлют. И еще мне видится толпа на берегу Енисея и мокрое что-то, замытое тиной, и деревенский люд по всему берегу, и бабушка с распущенными волосами, рыдающая надо мной...

Музыка эта говорит все о печальном, о болезни вот о моей говорит, как я целое лето малярией болел, и как мне было горько от хины, и как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал, уж навсегда буду глухим, вроде нашего Алешки, и как явля-

лась ко мне в лихорадочный сон мама и прикладывала холодную беспалую руку с синими ногтями ко лбу. Кричал я на всю избу и не слышал своего крика.

В избе всю ночь горела привернутая лампа, и бабушка показывала мне углы, светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нету...

Еще вот девочку помню, рука у нее сохнет. Обозники в город ее везли, лечить.

И опять обоз возник передо мною.

Все он идет куда-то, идет, скрывается за поворотом реки в студеных торосах, в морозном тумане. Лошади все меньше, меньше, вот и последнюю скрал туман. Одиноко как-то, пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами.

Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего; снова забилась живая ниточка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уже ключ, а два, три, уже грозный поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их с корнями, несет, крутит. Вот-вот он сметет избушку под горой, смоет завозню и обрушит все с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, и от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и уже не залить будет этот огонь ни ручьем, ни Енисеем — ничем не остановить страшную бурю!

«Да что же это такое?! Где же люди-то?! Чего же они смотрят?! Связали бы Васю-то!»

Но скрипка сама все потушила. Снова чего-то жаль, снова тоскует один человек, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, а может, и пешком идет в темноте.

Мир не сгорел, ничего не обрушилось.

Сгорела, должно быть, чья-то душа, почудившаяся мне вспыхнувшим цветком папоротника, который цветет только в сказках, раз в сто лет, и никому не дано увидеть его.

Все на месте. Луна со звездою над рекой. Село уже без огней. Кладбище в вечном молчании и покое. Избушка под увалом, объятая сгорающими черемухами и тихой песней скрипки.

Все-все на месте. Только сердце мое, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой.

О чем же это рассказывала мне музыка? Не про обоз же? Не о мертвой маме, не о девочке, у которой сохнет рука. О чем-то другом, очень большом. На что же это жаловалась она? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему хочется заплакать, как я еще никогда не плакал? Почему мне жалко самого себя, жалко тех вон, что спят непробудным сном на кладбище, и среди

них, под бугорком, лежит моя мать, а рядом с нею две сестренки, которых я даже не видел, не успел: они жили до меня, жили мало, — и мать ушла к ним, оставила меня одного на этом свете, где трепещет и бьется о стекла нарядной траурницей чье-то мятежное сердце.

Музыка кончилась неожиданно, будто опустил кто-то властную руку на плечо скрипача и сказал: «Ну, хватит!» На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув боль, а лишь выдохнула ее. Но уже, помимо всего, по своей воле другая какая-то скрипка взвивалась выше, выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном оборвалась в глубоком поднебесье, у той одинокой остроиглой звезды...

Долго сидел я в уголочке завозни и слизывал крупные слезы, катившиеся мне на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в темном уголке, возле шершавых бревен, умереть всеми заброшенным и забытым и чтобы потом всем было жалко меня.

Что-то произошло, изменилось вокруг. Предчувствие будущих бед и страданий жило во мне сейчас. Предчувствие оказалось точным. Музыка не обманывает.

Сколько я там просидел, не знаю. Скрипку больше не было слышно, и свет в Васиной избушке не горел. «Уж не умер ли Вася-то?» — подумал я — так внезапно оборвалась музыка.

Я осторожно пробрался к сторожке. Ноги мои начали вязнуть в холодном и вязком черноземе, размоченном ключом. Лица моего коснулись цепкие, всегда студеные листья хмеля, и над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие ключевой водою и сладкой березовицей. Я приподнял нависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцая, в избушке топилась железная печка. Колеблющимся светом она обозначала столик у стены, топчан в углу. На топчане полулежал Вася, прикрывши глаза левой рукой. Очки его кверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка, а длинная палочка — смычок — была зажата в правой руке.

Я тихонько приоткрыл дверь и шагнул в сторожку. После того как Вася пил у нас чай, и в особенности после музыки, после тоскливой и доверчивой скрипки, мне не так страшно было к нему заходить.

Я сел на порог и стал глядеть на руку, в которой зажата была гладкая палочка.

— Сыграйте, дяденька, еще, — попросил я.

— Чего тебе, мальчик, сыграть?

По голосу я угадал: Вася нисколько не удивился тому, что кто-то здесь, кто-то пришел. Как будто оно так и должно быть.

— Что хотите, дяденька.

Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки скрипки, потрогал смычком струны.

— Подбрось дров в печку.

Я исполнил его просьбу. Печка притухла на время, сделалось совсем темно. Вася ждал, не шевелился. Но вот в печке щелкнуло раз, другой, прогоревшие бока ее обозначились красными корешками и травинками, качнулся в сторожке отблеск огня, пал на Васю. Он вскинул к плечу скрипку и заиграл.

Прошло время, пока я узнал музыку. Та же самая была она, какую слышал я у завозни, и в то же время совсем другая. Она мягче, добрее, тревога и боль только чуть угадывались в ней, скрипка уже не стонала, не сочилась ее душа кровью, не бушевал огонь вокруг и не рушились камни.

Трепетал и трепетал огонек в печке, а может, там за избушкой, на увале, опять засветился папоротник. Говорят, если найдешь цветок папоротника — невидимкой станешь и можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным, выкрасть у Кощея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать и матерей всех осиротелых ребят...

Разгорелись дрова подсоченной сухостоины — сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом и вскипевшей на потолке смолой. Избушка наполнилась жаром и грузным красным светом. Поплясывал огонь, и весело прищелкивала разогнавшаяся печка, выстреливая на ходу крупные искры.

Тень музыканта, сломанная у поясницы, металась по избушке, вытягивалась по стене, становилась прозрачной и нервной, будто отражение в воде, а потом тень отдалялась в угол, исчезала в нем, и тогда там обозначался живой музыкант, живой Вася-поляк. Рубаха на нем была расстегнута, ноги босы, глаза в темных обводах, какие бывают от бессонницы. Щекою Вася лежал на скрипке, и мне казалось, так ему покойней и удобней и что слышит он в скрипке такое, чего мне никогда не услышать.

Когда притухала печка, я радовался оттого, что не мог видеть Васиного лица и бледной ключицы, сиротливо выступившей из-под рубахи, и правой ноги, кургузой, куцей, будто обкусанной щипцами, и плотно, до боли затиснутых в черные ямки глаз. Они, должно быть, боялись даже такого малого света, какой выплескивался из печки.

В полутьме я старался глядеть только на вздрагивающий мечущийся или плавно скользивший смычок, на гибкую, мерно раскачивающуюся вместе со скрипкой тень. И тогда Вася снова начинал

представляться мне чем-то вроде волшебника из далекой сказки, а не одиноким калекою, до которого никому нет дела. Я так засмотрелся, так заслушался, что вздрогнул, когда Вася вдруг заговорил:

— Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. — Вася думал вслух, не переставая играть. — Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, — он еще не сирота. — Какое-то время Вася думал про себя. Я ждал. — Все проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по родине...

Скрипка снова тронула струны, те самые, что накалились при давешней игре и еще не остыли. Рука Васина снова содрогнулась от боли, но тут же смирилась, пальцы, собранные в кулак, разжались.

— Эту музыку, мальчик, написал мой земляк Огинский в корчме — так называется у нас заезжий дом, — продолжал Вася. — Написал на границе, прощаясь с родиной. Он посылал ей последний привет. Давно уж нет композитора на свете. Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отнять, жива до сих пор...

Вася замолчал, говорила лишь скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. Голос ее становился тише, тише, он растягивался в темноте тонюсенькой светлой паутинкой. Паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась.

Я убрал руку от горла и выдохнул тот вдох, который удерживал грудью, рукой, оттого что боялся оборвать светлую паутинку. Но все равно она оборвалась. Печка потухла. Слоясь, засыпали в ней угли. Васи не видно. Скрипки не слышно.

Тишь. Темень. Грусть.

— Уже поздно, — сказал Вася из угла, из темноты.— Иди домой. Бабушка будет беспокоиться.

Я привстал с порога, и если бы не схватился за деревянную скобу, упал бы. Ноги были все в иголках и как будто вовсе не мои.

— Спасибо вам, дяденька, — прошептал я.

Вася шевельнулся в углу и рассмеялся ли смущенно или спросил «За что?», я не разобрал.

— Я не знаю, за что...

Сказал и выскочил из избушки. Растроганными слезами благодарил я Васю, сторожку, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. Ничего сейчас не страшно. В эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок — ничего, ничего дурного в нем не умещалось.

Доверяясь доброте, разлитой лунным светом по всему селу и по всей земле, я зашел на кладбище, постоял на могиле матери.

— Мама, это я. Я забыл тебя, и ты мне больше не снишься.

Я опустился на землю, припал ухом к холмику. Мать не отвечала. Все было тихо — на земле и в земле. Маленькая рябинка, посаженная мной и бабушкой, нароняла остроперых крылышек на мамин бугорок. У соседних могил березы распустили нити с желтым листом до самой земли. На вершинах берез уже не было листа, и голые прутья исполосовали половину луны, стоявшую теперь над самым кладбищем. Все было тихо. Роса проступила на траве. Стояло полное безветрие. Потом с увалов ощутимо потянуло знойким холодком. Гуще потекли с берез листья. Роса стекленела на траве. Скоро ноги мои застыли от ломкой росы, один лист закатился под рубаху, сделалось знобко, и я побрел с кладбища в темные улицы села меж спящих домов к Енисею.

Мне отчего-то не хотелось домой.

Не знаю, сколько я просидел на крутом яру Енисея. Он шумел у займища, на каменистых бычках. Вода, сбитая с плавного хода бычками, вязалась в узлы, грузно переваливалась возле берегов и кругами, воронками откатывалась к середине. Неспокойная наша река. Какие-то силы вечно тревожат ее, в вечной борьбе она сама с собою и со скалами, сдавившими ее с обеих сторон.

Но эта ее неспокойность, это ее древнее буйство не возбуждали, а успокаивали меня, как успокаивает человека шум ручья на перекате либо говор ключика. Наверное, потому, что была осень, была луна над рекой, сталистая от росы трава и крапива по берегам, вовсе не похожая на дурман, а скорее на какие-то расчудесные растения; и еще, наверное, потому, что во мне звучала Васина музыка о неистребимой любви к родине. А Енисей, не спящий даже ночью, крутолобый бык на той стороне, пилка еловых вершин над дальним перевалом, молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в крапиве, вроде бы один он во всем мире, трава, как бы отлитая из металла, — это и была моя родина, близкая и тревожная.

Совсем уж глухой ночью возвратился я домой. Бабушка, должно быть, по лицу моему угадала, что в душе моей свершилось что-то, не стала меня бранить.

Я до сих пор благодарен ей за это.

— Ты где так долго? — только и спросила она. — Ужин на столе, ешь и ложись.

— Баба, я слышал скрипку Васи-поляка.

— А-а, — отозвалась бабушка.— Он чужое, батюшко, играет, непонятное. От его музыки бабы плачут, а мужики напиваются и буйствуют...

— А кто он?

— Вася-то? Да кто? — зевнула бабушка. — Человек. Спал бы ты. Мне рано к корове подыматься. — Но она знала, что я все равно не отстану: — Иди ко мне, лезь под одеяло.

Я прижался к бабушке, обнял ее за шею.

— Студеный-то ты какой! И ноги мокрущие! Опять болеть будут. — Бабушка подоткнула под меня одеяло, погладила по голове. — Вася — человек без роду-племени. Отец и мать у него были из далекой державы — Польши. Люди там молятся не как мы, а по-другому. Царь у них королем называется. Землю польскую захватил русский царь, чего-то они с королем не поделили... Ты спишь?

— Не-е.

— Спал бы. Мне ведь вставать с петухами. — Бабушка, чтобы скорее отвязаться от меня, бегом рассказала, что в земле этой далекой взбунтовались люди против русского царя и их к нам, в Сибирь, сослали за это. Родители Васи тоже были сюда пригнаны. Вася родился на подводе, под тулупом конвоира. — И зовут его вовсе не Вася, а Стася — Станислав по-ихнему. Это уж наши, деревенские, переиначили. Ты спишь? — снова спросила бабушка.

— Не-е.

— А, чтоб тебе! Ну, умерли Васины родители. Помаялись, помаялись на чужой стороне и умерли. Сперва мать, потом отец. Видел большой такой черный крест и могилу с цветками? Ихняя могила. Вася бережет ее, ухаживает пуще, чем за собой. А сам-то состарился уж, когда — не заметили. О господи, прости, и мы не молоды! Так вот и прожил Вася коло завозни, в сторожах. На войну не брали. У него, еще у мокренького младенца, нога ознобилась на подводе... Так вот и живет... помирать скоро... И мы тоже...

Бабушка говорила все тише, невнятней и отошла ко сну со вздохом. Я не тревожил ее. Лежал, думал, пытался постигнуть человеческую жизнь, но у меня ничего не получалось.

Впоследствии я убедился, что жизнь постигнуть, даже взрослым людям, не всегда удается.

Несколько лет спустя после той памятной ночи завозню перестали использовать, потому что построен был в городе мелькомбинат с элеватором и в завознях исчезла надобность. Вася остался не у дел. Да и ослеп он к той поре окончательно и сторожем быть уже не мог. Какое-то время он еще собирал милостыню по селу, а потом и ходить не смог, и тогда бабушка моя и другие старухи стали носить еду в Васину сторожку.

Однажды бабушка пришла озабоченная, выставила швейную машину и принялась шить сатиновую рубаху, штаны без

прорехи, наволочку с завязками и простыню без шва посередине — так шьют для покойников.

Заходили люди, сдержанными голосами разговаривали с бабушкой. До меня донеслось раз-другой «Вася», и я помчался в сторожку.

Дверь сторожки была распахнута. Подле нее толпился народ. Люди заходили в сторожку, без шапок, и выходили оттуда вздыхая, с кроткими, опечаленными лицами.

Васю вынесли в маленьком, словно бы мальчишеском гробу. Лицо покойного было прикрыто полотном. Цветов в домовине не было, венков люди не несли. За гробом тащилось несколько старух, никто не голосил. Все свершалось в деловом молчании. Темнолицая старуха, бывшая староста церкви, на ходу читала молитвы и косила холодным зраком на заброшенную завозню с упавшими воротами, сорванными с крыши тесинами и осуждающе трясла головою.

Я зашел в сторожку. Железная печка с середины была убрана. В потолке холодела дыра, и в нее по свесившимся корням травы и хмеля падали капли. На полу валялись стружки. Старая нехитрая постель была закатана в изголовье нар. Под нарами валялась сторожевая колотушка, метла, лопата, топор. На окошке, за столешницей, виднелась глиняная миска, деревянная кружка с отломленной ручкой, ложка, гребень и отчего-то не замеченный мною сразу шкалик с водой. В нем веточка черемухи с набухшими и уже лопнувшими на сосках почками. Со столешницы сиротливо глядели на меня пустыми стеклами очки.

«А где же скрипка-то?» — вспомнил я, глядя на очки. И тут же увидел ее. Скрипка висела над изголовьем нар. Я сунул очки в карман, снял скрипку со стены и кинулся догонять похоронную процессию.

Мужики с домовиной и старухи, бредущие кучкой следом за нею, уже перешли по перекидышам — бревнам — Малую речку, захмелевшую от весеннего половодья, и поднимались к кладбищу по косогору, подернутому зеленым туманчиком днями просунувшейся травы. Я потянул бабушку за рукав и показал ей скрипку и смычок. Бабушка строго нахмурилась и отвернулась от меня. Затем сделала шаг шире и зашепталась с темнолицей старухой.

— Расходы... накладно... сельсовет-то не больно... — зашелестела старуха постными губами.

Я уже умел кое-что соображать и догадался, что старуха эта хочет продать скрипку, чтобы возместить похоронные расходы.

Я уцепился за бабушкин рукав и, когда мы отстали, мрачно спросил:

— Скрипка чья?

— Васина, батюшко, Васина, — отвела бабушка глаза от меня и уставилась в спину темнолицей старухи. — В домовину-то положь! Сам положь!.. — наклонилась ко мне и быстро шепнула бабушка и прибавила шагу.

Перед тем как люди собрались накрывать Васю крышкой, я протиснулся вперед и, ни слова не говоря, положил ему на грудь скрипку и смычок, а на скрипку несколько желтых цветочков мать-мачехи, сорванных мною у моста-перекидыша.

Никто ничего не посмел мне сказать, только старуха-богомолка пронзила меня острым взглядом и тут же воздела глаза к небу, закрестилась.

Я следил, как заколачивали гроб, — крепко ли? Первый бросил горсть земли в могилу Васи, будто ближний его родственник, а после того как люди разобрали свои лопаты, полотенца и разбрелись по тропинкам кладбища, чтобы омочить скопившимися слезами могилы родных, долго сидел возле Васиной могилы, разминая пальцами комочки земли, и ждал. И знал, что уж ничего не дождаться, но все равно ждал.

За лето сопрела от сырости нежилая Васина избушка. Обвалился в ней потолок, приплюснул избушку, вдавил ее в гущу жалицы, хмеля и чернобыльника. Торчали из бурьяна только полусгнившие бревешки, но и они постепенно покрылись дурманом, черемухами, а ниточка ключа пробила себе новое русло и потекла по тому месту, где стояла избушка. Но и ключ скоро начал истоньшаться, хиреть и в одну из весен совсем умолк.

И сразу начали сохнуть черемухи, увял и выродился хмель, а потом вовсе унялась и разнотравная дурнина.

Ушел человек, и жизнь в этом месте остановилась.

А люди?

Непонятно устроены люди! Пока Вася-поляк был жив, они относились к нему по-разному, иные не замечали его, как лишнего человека. Иные даже и поддразнивали, пугали им ребятишек, а иные жалели убогого человека. Но вот помер Вася-поляк, и селу стало чего-то недоставать. Какая-то виноватость томила души людские, и не было уже такого дома, такой семьи в селе, где бы не помянули его добрым словом в родительский день и в другие тихие праздники, и оказалось, что в незаметной жизни был он вроде праведника и помогал людям смиренностью, почтительностью быть лучше и любить друг друга.

В войну какой-то лихой человек начал воровать с деревенского кладбища кресты на дрова, и первым унес он грубо тесанный лиственный крест с могилы Васи-поляка.

И могила Васи-поляка утерялась, но не исчезла о нем память, и по сей день женщины нашего села нет-нет да и вспомнят его с печальным и долгим вздохом, и чувствуется, что вспоминать им его благостно и горько.

Последней военной осенью я стоял на посту возле пушек в небольшом разбитом польском городе. Это был первый иностранный город, который я видел в своей жизни. Он ничем не отличался от разрушенных наших городов. И пахло в нем так же: гарью, трупами, пылью. Меж изуродованных домов, по улицам, заваленным ломью, кружило листву, бумагу, сажу. Над городом мрачно стоял купол пожара. Он слабел, опускался к домам, проваливался в улицы и переулки, дробился на усталые кострища. Но раздавался долгий, глухой взрыв — купол опять подбрасывало в темное небо, и все вокруг озарялось тяжелым, неподвижным светом. Листья с деревьев срывало и кружило жаром вверху, и они там истлевали.

Иногда на горящие развалины обрушивался артиллерийский или минометный налет, нудили в высоте самолеты, неровно вычерчивали линию фронта немецкие ракеты за городом. Ракеты искрами осыпались из темноты в бушующий огненный котел, где корчилось в последних судорогах человеческое жилье.

Мне чудилось, что я один в этом догорающем городе и ничего живого не осталось на земле. Это ощущение постоянно бывает в ночи, да еще к тому же при виде развалин. Но я знал, чувствовал, что совсем неподалеку — только перескочить через зеленую изгородь, обжаленную огнем, — в пустой избе спят наши расчеты, и это придавало мне силы.

Днем мы заняли город, а уже к вечеру откуда-то, словно из-под земли, начали появляться люди с узлами, с чемоданами, с тележками, чаще с ребятишками на руках. Они плакали у развалин, вытаскивали что-то из пожарищ и грозили кулаками на Запад — в сторону своего вечного врага.

Ночь укрыла людей с их горем и страданиями. И только пожары укрыть не могла.

Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, раздались звуки органа. От дома этого при бомбежке отвалилась половина, обнажив стены с нарисованными на них сухощекими святыми и мадоннами, глядящими сквозь копоть голубыми скорбными глазами.

До самых потемок глазели эти святые и мадонны на меня, и отчего-то неловко было мне за себя, за людей под этими укоряющими взглядами. И сейчас нет-нет да и выхватывало еще отблесками пожаров из темноты печальные лики с поврежденными голо-

вами, с кирпичными выбоинами на длинных шеях. Мне казалось, что они тоже слушали и по-своему, не по-земному понимали музыку, которая напомнила мне далекое, почти забытое детство.

Музыка разбередила воспоминания.

Я сидел с закрытыми глазами на лафете пушки с зажатым в коленях карабином и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Когда-то мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга после того, как я послушал скрипку. Глупый был. Малый был. Я так много увидел потом смертей, что не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем «смерть». И потому, должно быть, музыка, которую я слушал в детстве, переломилась во мне и закаменела, особенно те места, от которых я плакал когда-то. Сердца ближе касалось то, что пугало в детстве своей грозной, скрытой силой. Да, музыка так же, как и в далекую ночь детства, хватала за горло, но не выжимала слез, не прорастала жалостью. Она звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы небо не подбрасывало взрывами.

Музыка торжественно гремела над городом, глушила разрывы снарядов, гул самолетов, треск и шорох горящих деревьев. Музыка властвовала над оцепеневшими развалинами, та самая музыка, какую хранил в сердце, словно вздох родной земли, человек, который никогда не видел родины и всю жизнь тосковал о ней.

ЗОРЬКИНА ПЕСНЯ

Бабушка разбудила меня рано утром, мы пошли на увал по землянику. Огород наш упирался крайним пряслом в увал. Через жерди переваливались ветки берез, осин, сосен. Одна черемушка перебралась через городьбу и разрослась на меже среди крапивы и конопляника. Ее никто не трогал, и на ней вили птички гнезда.

Деревня еще тихо спала. Ставни на окнах были закрыты, не топились еще печи, и пастух не выгонял сонных и неповоротливых коров за поскотину, на приречный луг.

На лугу под увалом стелился туман, и была от него мокра трава, никли долу цветы куриной слепоты, и ромашки приморщили белые ресницы на желтых зрачках.

Енисей тоже был в тумане, и скалы на другом берегу, будто подкуренные густым дымом снизу, отдаленно проступали вершинами

в поднебесье и ровно бы плыли встречь течению реки безостановочно.

Неслышная днем, вдруг обнаружила себя Малая речка, рассекающая село напополам. Тихо пробежавши мимо кладбища, она начинала гуркотеть, плескаться и картаво наговаривать на перекатах. И чем дальше, тем смелей и говорливей делалась измученная скотом, ребятишками и всяким другим народом речка: из нее брали воду на поливку гряд, в баню, на питье, на варево и парево, бродили по ней, валили в нее всякий хлам, а она как-то умела и резвость, и светлость свою сберечь.

Вот и наговаривает, наговаривает сама с собой, довольная тем, что пока ее не мутят и не баламутят. Но внезапно обрывается ее говор: это прибежала речка к Енисею, споткнулась о его большую воду и сконфуженно смолкла. Тонкой волосинкой вплеталась Малая речка в крутые, седоватые валы Енисея. Вобрав ее голос в себя, слившись с тысячами других речных голосов, собравши капля по капле силу свою, грозно гремела река на порогах, пробивая себе путь к студеному морю, и растягивал Енисей светлую ниточку нашей деревенской речки на многие тысячи верст, и как бы живою, трепещущей жилой деревня наша была всегда соединена с огромной землей.

Кто-то собирался плыть в город и сколачивал салик на Енисее. Звук топора возникал на берегу и затем проносился, минуя спящее село, чтобы удариться о каменные обрывы увалов и, повторившись под ними, рассыпаться многоэхо по распадкам.

Сначала бабушка, а за нею я пролезли меж мокрых от росы жердей и пошли по распадку вверх на увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег, лесной хлам и камни в наш огород, а потом утихомирился. И сейчас путь его обозначал только до блеска отмытый камешник.

В распадке уютно дремал туман, и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и все крепче, крепче сжимала ее, будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть в этой обволакивающей белой тишине. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Под ногами шуршала мелкая ершистая травка. В ней желтели шляпки маслят и краснели рыхлые сыроежки.

Местами мы низко пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку. По кустам переплелись, как хмель, цветы — де-

душкины кудри. Мы запутывались в нитках, и тогда из белых чашек цветков выливалась мне за воротник и на голову студеная роса.

Я вздрагивал, ежился, облизывал горьковатые капли с губ.

Бабушка вытирала мою стриженую голову ладонью или краешком платка, с улыбкой подбадривала, уверяла, что от росы да от дождя люди растут большие-большие.

Туман все плотнее прижимался к земле, волокнистой куделею затянул село, огороды и палисадники, оставшиеся внизу. Енисей словно бы набух молочной пеною, берега и сам он заснули, успокоились под непроглядной, шум не пропускающей мякотью. Даже на изгибах Малой речки появились белые зачесы, и видно сделалось, какая она вилючая.

Но светом и теплом все шире разливающегося утра раскатывало туманы, тоньше, тоньше скручивало их валами в распадках, загоняло в потайную дрему тайги.

Топор на Енисее перестал стучать. И тут же залилась, гнусаво запела на улицах березовая пастушья дуда, откликнулись ей со дворов коровы, звякнули боталами, и сделался слышен скрип ворот.

Коровы брели по улицам села, за поскотину, то появлялись в разрывах тумана, то исчезали в нем. Темь Енисея уже раз-другой обнаружила себя.

Тихо умирали там туманы.

А в распадках и тайге они будут стоять до высокого солнца, которое еще не обозначило себя и было за далью гор, где стойко держались снежные беляки и ночью дышали холодом и этими вот туманами, что украдчиво ползли к нашему селу в сонное предутрие, а с первыми звуками, с пробуждением людей, убирались в лога, ущелья, провалы речек, обращались студеными каплями и питали собой листья, травы, птах, зверушек и все живое и цветущее на земле.

Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и побрели по нему, как по мягкой, податливой воде, выбредали из него медленно и бесшумно. Вот он уже по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов плеснулось яркое и празднично заискрилось, заиграло в лапках пихтача, на камнях, на валежинах, на упругих шляпках молодых маслят и в каждой травинке.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была начеку: «Тить-тить-ти-ти-рри-и...»

— Что это, баба? — спросил я шепотом.

— Это зорькина песня.

— Как?

— Зорькина песня. Птичка зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает.

И правда, на голос зорьки (так в наших краях называют зорянку) ответило сразу несколько голосов — и пошло, пошло! С неба, с сосен, с берез — отовсюду сыпались на нас искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьи голоса. Их было много, и были они один звонче другого, и все-таки зорькина песня, песня народившегося утра, слышалась громче, яснее других.

Зорька улавливала какие-то мимолетные, почти незаметные паузы и вставляла туда свою сыпкую, неудержимо радостную песню.

— Зорька поет! Зорька поет! — закричал я и запрыгал неизвестно отчего.

— Зорька поет, значит, утро идет, — сказала бабушка, и мы поспешили навстречу этому утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов. Нас провожали и встречали птичьи голоса: нам низко кланялись обомлевшие от росы и притихшие от песен сосенки и ели, рябины и березы.

В росистой траве загорались от солнца красные огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую, еще только с одного бока опаленную ягодку и осторожно опустил ее в бокал. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарею, разметавшейся по всему небу.

А птицы все так же громко и многоголосо славили утро и солнце, и зорькина песня, песня пробуждающегося дня, вливалась в мое сердце и звучала, звучала, звучала...

Да и по сей день неумолчно звучит.

ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ ДЛЯ ВСЕХ

Во время весеннего половодья я заболел малярией. Бабушка брызгала меня «святой водой» — не помогало. А тетка Августа один раз подкралась сзади и хлестанула мне за шиворот ковш ключевой воды, чтобы «выпугнуть» лихорадку. После этого меня не отпускало и ночью, а прежде накатывало по утрам до восхода и вечером после захода солнца.

Бабушка назвала тетку дурой и стала поить меня хиной. Я оглох и начал жить как бы в себе, сделался задумчивым и все что-то искал. Со двора меня никуда не отпускали, в особенности к реке, так как трясучка эта проклятая, по поверью старух, «на воду выходила».

У каждого мальчишки есть свой тайный уголок в избе или во дворе, будь эта изба или двор хоть с ладошку величиной. Появил-

ся такой уголок и у меня. Я сыскал его там, где раньше были кучей сложены старые телеги и сани, за сеновалом, в углу огорода. Здесь стеною стояла конопля, лебеда и крапива.

Но однажды потребовалось железо, и дед свез все старье к деревенской кузнице на распотрошенье.

На месте телег и саней сначала была коричневая земля с паутиной, мышиные норки да грибы поганки с тонкими шеями. А потом пошла трава ползунок. Поганки усохли, сморщились, шляпки с них упали. Норки заштопало корнями конопли и крапивы, сразу же переползшей на незанятую землю.

Я «косил» на меже огорода траву мокрицу обломком ножика и «метал стога», гнул сани и дуги из ивовых прутьев, запрягал в них бабки-казанки и возил за сарай «копны». На ночь я выпрягал «жеребцов» и ставил к сену.

Так в уединении и деле я почти одолел хворь, но еще не различал звуков, а все смотрел — старался глазами не только увидеть, но и услышать.

Иногда в конопле появлялась маленькая птичка мухоловка. Она деловито ощипывалась, дружески глядела на меня, прыгала по коноплине, как по огромному дереву, клевала мух и саранчу, открывала клюв и неслышно для меня чиликала. В дождь она сидела нахохленная под листом лопуха. Ей было очень одиноко без птенцов. Под листом лопуха у нее гнездышко. Там даже птенцы зашевелились было. Но добралась до них кошка и сожрала всех до единого.

Мухоловка тихо дремала под лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза птички затягивало слепой пленкой.

Глядя на птичку, и я начинал зевать, меня пробирало ознобом, губы мои тряслись.

Я засыпал под тихий, неслышный дождь и думал о том, что хорошо бы посадить на «моей земле» дерево. Выросло бы оно большое-пребольшое, и птичка свила бы на нем гнездо. Я посеял бы семечки шиповника под деревом, и тогда уж никакие кошки не смогли бы залезть на дерево — шиповник колючий, кошки боятся в него ходить.

В один жаркий солнечный день, когда болезнь моя утихла и мне даже тепло стало, я пошел за баню и нашел там росточек с корич-

невым стебельком и двумя блестящими листками. Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем.

Теперь у меня появилась забота и работа. Ковшиком носил я воду из кадки и поливал саженец. Он держался хорошо, бодро, нашел силы отшатнуться от тени сеновала к свету.

«Куда это ты таскаешь воду?» — маячила мне бабушка.

«Не скажу. Секрет!» — маячил и я ей руками, будто и она была глухая.

Часами смотрел я на свой саженец. Мне он начинал казаться большой, остроиглой бояркой. Вся она была густо запорошена цветами, обвита листвой, потом на ней уголечками загорались ягоды с косточкой, крепкой, что камешек. На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки, и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем тут хватит места! Дерево-то будет расти и расти. Конечно, боярка высокой не бывает, до неба ей не достать. Но выше сеновала она, пожалуй, вымахает. Я вон как ее поливаю!

Однако саженец мой пошел не ввысь, а вширь, пустил еще листья, из листьев — усики. На усиках маковым семечком проступили крупинки, из них вывернулись розоватые цветочки.

К этой поре я уже стал маленько слышать, пришел к бабушке и прокричал:

— Баб, я лесину посадил, а выросло что-то...

Бабушка пошла со мной за сеновал, оглядела мое хозяйство.

— Так вот ты где скрываешься! — сказала она и склонилась над саженцем, покачала его из стороны в сторону, растерла цветочки в пальцах, понюхала и жалостно посмотрела на меня: — Ма-атушка. — Я отвернулся. Бабушка погладила меня по голове и прокричала в ухо: — Осенью настоящее посадишь...

И я понял, что это вовсе не дерево. Так оно и было. Саженец мой, по заключению бабушки, оказался дикой гречкой. Обидно мне сделалось. Я даже ходить за сеновал бросил, да и болезнь моя все шла на убыль, и меня уже отпускали бегать и играть на улицу с ребятами соседа нашего — дяди Левонтия.

Осенью бабушка вернулась из леса с большой круглой корзиной. Посудина эта была по ободья завалена разной растительностью, из-под которой сочной рыбьей икрой краснели рыжики.

Я любил пошариться в бабушкиной корзине. Там, как у дядюшки Якова, — товару всякого! И мята, и зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой ровно бы ненароком упавшей туда брусники — мне лесной гостинец.

На этот раз в корзинке оказалось что-то завязанное в бабушкин платок. Я осторожно развязал его концы. Высунулась лапка маленькой лиственницы. Деревце было с цыпленка величиной, охваченное

желтым куржаком хвои. Казалось, оно вот-вот зачивкает, соскочит с платка и побежит.

Бабушка взяла лопату, мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для маленькой лиственницы большую яму. В яму я принес навозу и черной земли в старой корзине. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в яму, закопали ее так, что остался наверху лишь желтый носик. Полили саженец теплой водой.

— Ну вот, — сказала бабушка, — глядишь, и возьмется лиственка. Она, правда, худо принимается от саженца. От семечка лучше. Но мы ее осторожно посадили, корешок не потревожили...

И опять я начал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. И опять жило на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью желтая хвоя. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца. Не спутали ли опять? Ладно ли посадили?

И как только бабушка принималась за спокойную работу, садилась прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же расспросами:

— Баб, а оно большое вырастет?

— Кто?

— Да дерево-то мое?

— А-а, дерево-то? А как же?! Обязательно большое. Лиственницы маленькие не растут. Только не называй ее своею. Деревья, батюшко, растут для всех.

— Для всех птичек?

— И для птичек, и для людей, и для солнышка, и для речки. Сейчас вот оно уснуло до весны, зато весной начнет расти быстро-быстро и перегонит тебя...

Бабушка еще и еще говорила. В руках у нее крутилось и крутилось веретено. Веки мои склеивались, был я еще слаб после болезни и все спал, спал. И мне снилась теплая весна, зеленые деревья.

А за сараем, под сугробом снега тихо спало маленькое деревце, и ему, может быть, тоже снилась весна.

ГУСИ В ПОЛЫНЬЕ

Ледостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В заливчиках и заводях они широкие, на быстрине — узкие, трепещущие. Но после каждого морозного утра они становятся все шире, а потом начинает плыть шуга. И тогда вся река шуршит печально, утихомиренно, засыпает до весны.

С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Она теснится, рыхлые льдины с хрустом лезут одна на другую. А потом окрепшая шуга спаивается, и однажды, чаще всего в студеную ночь, река встает.

Там, где река в последний раз сердито громоздила льдины, остаются тороса — острые ледяные клыки торчат всюду.

Но вот закружилась поземка, потащило ветром снег по реке и зазвенели льдины, сдерживая порывы ветра; возле них, как у щитков, образовались сугробы. Только на быстрине, на самой стремнине, где тороса высоки, льдины всю зиму из снега торчат, зеленоватые, сверкающие на солнце, как сталь.

Но как бы ни была крута осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом усмирить Енисей. На нем то там, то тут остаются полыньи. Самая большая полынья — у Караульного быка.

Здесь все бурлит, клокочет, шуга плывет дальше, свирепое течение крушит хрупкий припай. Не желает Караульный бык вмерзать в реку. Уже вся река замерзла, а он стоит в полой воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой; появилась одинокая подвода; затем длинный, неторопливый обоз — а у быка все еще колышется пар и чернеет вода.

От пара куржевеют каменные выступы быка, а кустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстой бахромой, и среди темных, угрюмых скал Караульный бык, разрисованный пушистыми, до рези в глазах белыми узорами, кажется невиданным чудом.

Однажды после ледостава облетела село весть, будто возле быка, в полынье, плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть домашние.

И в самом деле, вечером, когда я катался с ребятами на санках, с другой стороны реки послышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наяривал на пионерском горне.

Гуси боялись наступающей ночи. Полынья с каждым часом становилась меньше и меньше. Мороз исподволь, незаметно округлял ее, припаивал к закрайкам пленочки льда, которые твердели и уже не ломались от вихревых струй.

На следующий день оравой перешли мы реку по свежей, еще чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей.

Полынья сделалась совсем маленькой. Там, где вода выбуривала

тугим змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное, яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала. Иногда она подплывала к хрупкому припаю, врезалась в него грудью, пыталась выбраться на лед и вывести весь табун.

Мне и прежде приходилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались так беспечны, что и ночевать оставались на реке. И это кончалось тем, что ночью их подхватывало свежей шугой, выталкивало на течение, и к утру они уже оказывались невесть где и в конце концов вмерзали в лед или выползали на него и, конечно, гибли от мороза.

А эти все еще боролись. Их подбрасывало на волнах, разметывало в стороны, как белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко и властно. И мы понимали это так: «Быть всем вместе! Держаться ближе ко мне!»

Внезапно одного гуся отделило течением от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытался одолеть течение, но его тащило и тащило. А когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснуло к краю льда, свалило набок, и он беленьким комочком мелькнул под припаем, как под стеклом, и исчез навсегда.

Гусыня кричала долго и с такой печалью, что у нас спины коробило.

И тут кто-то из ребят сказал:

— Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их.

— А как?

Мы задумались. Ребятишки — ребятишки, а понимали, что с Енисеем шутить нельзя и что к полынье подобраться невозможно. Обломится припай у полыньи, и мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом, и закрутит, как того гуся, — ищи-свищи потом.

И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни настаивали — подбираться к полынье ползком. Другие — держать друг дружку за ноги и ползти. Третьи предлагали позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. А кто-то махнул рукой — надо, мол, еще день подождать, и гуси сами тогда выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом.

Мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей.

Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым

делом — выжигали известку из камня. Камень добывали из скал, возили на берег. Здесь же на берегу разделывали приплавленные плотами бревна на длинные поленья — бадоги.

Возле одной поленницы, гулко ахая, бил по клину деревянной колотушкой Мишка Коршуков. Вообще-то он был, конечно, Михаил, вполне взрослый человек. Но так уж все его звали: Мишка и Мишка.

Однажды этот Мишка на спор перешел во время весеннего ледохода Енисей и оттого считался в деревне отчаянной головушкой.

— Что за шум, а драки нету? — спросил нас Мишка, опуская деревянную колотушку. Его черные глаза светились удалью, на носу и на груди блестел пот, и весь он был в пленках бересты, и кучерявая цыганская голова сделалась седой от этих пленок.

Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка закурил, выпустил клуб дыма и сказал:

— Погибнут гуси, если не помочь им выбраться.

Нам сразу стало как-то легче. Мишка выручит. Он такой.

Мишка и впрямь скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак.

— Всем взять по длинной доске! — отдал распоряжение Мишка.

И мы возликовали.

Ну конечно же, доски надо, как это мы не догадались сами?

И вот мы бросаем доски и ползем между торосов к припаю. Кое-где под козырьками льдин еще остались оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда.

Мишка сзади нас. Ему нельзя на доску — он тяжелый. Когда заканчивается доска, он просовывает нам другую, мы кладем ее впереди и снова ползем, ползем.

— Стоп! — командует Мишка. — Теперь надо одному. Кто тут полегче? — Он обмеривает нас всех взглядом, и его глаза останавливаются на мне, исхудавшем от лихорадки. — Сымай шубенку! — приказывает он, и я начинаю расстегивать пуговицы. Хочется мне закричать, убежать, потому что уж очень страшно дальше ползти.

Но Мишка смотрит на меня, стоя на доске, по которой я уже прополз, и никак невозможно ему возражать.

Я ползу по доске. Она кажется мне горячей. Под доской трещит и прогибается лед.

— Гусаньки, гусаньки, — шепчу я, глядя на сбившихся в кучу гусей, которые отплыли к противоположному краю полыньи и встревоженно, с недоумением погагакивают. — Гусаньки, гусаньки, —

умоляю их, зову и не могу дальше ползти — страшно. А лед с тонким перезвоном оседает под доской, и беленькие молнии со щелком и дзиком мечутся по нему.

— Гусаньки, гусаньки, — плачу я и маню их пальцами, рукой, глазами. А они по-прежнему толпятся на другой стороне полыньи и, вытянув шеи, глядят на меня.

Вдруг я почувствовал, что возле моего бока что-то зашуршало, и я обмер, подумал, что лед вовсе обломился, и уцепился за доску.

— Держи, держи! — слышу я тугой, взволнованный шепот Мишки и, не оборачиваясь, нащупываю доску. Она ползет по гладкому льду легко, и я почему-то думаю, как, наверно, хорошо и до бесконечности долго летели бы каменные плиточки по такому вот гладенькому, без единой морщинки, льду.

Доска доползла до воды, чуть прогнула лед, раскрошила закраек. Я держу кончиками онемевших пальцев доску и опять зову, умоляю:

— Гусаньки, гусаньки, миленькие...

Мать-гусыня поглядела на меня и, недоверчиво гакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, огненные лапы.

— Ну, вылезай, вылезай! — нетерпеливо закричали сзади меня ребятишки.

— Ша! Мелочь! — гаркнул Мишка, и ребята покорно замолкли.

Гусыня, испуганная криками, отпрянула, а потом успокоилась, повернулась грудью по течению, поплыла быстро-быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляла от края и приказала: «Делать так же!»

— Ах ты умница! Ах ты умница! — шептал я.

Гуси так же стремительно выплывали на доску и ковыляли по ней, а я отползал назад, дальше от черной, жуткой полыньи и манил:

— Гусаньки, гусаньки!

А потом, уже на крепком льду, схватил тяжелую гусыню на руки и зарылся носом в ее тугое холодное перо.

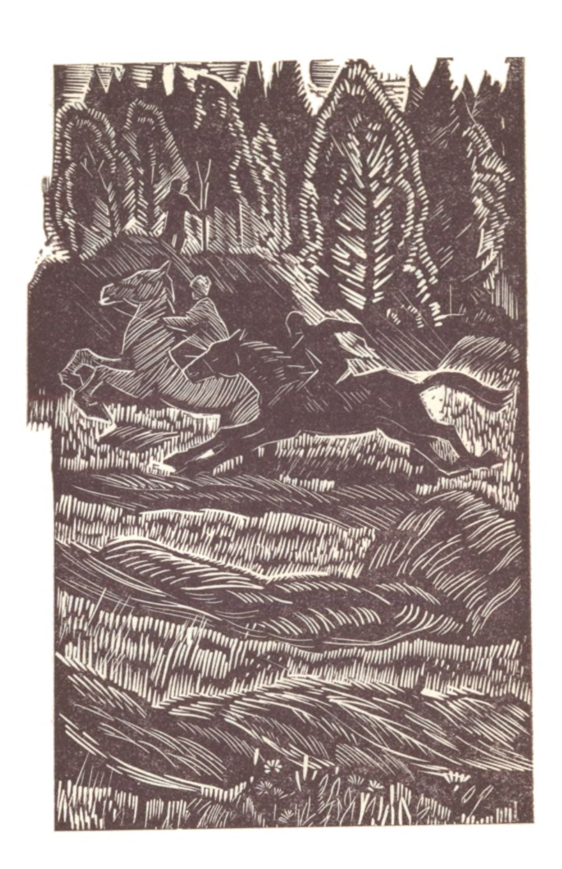
Ребята подобрали остальных гусей, и мы помчались в деревню.

— Не забудьте покормить их! — кричал вслед нам Мишка. — Да в тепло их, в тепло, наморозилися, шипуны полоротые...

Я припер домой гусыню, а остальных гусей ребята растащили по своим домам. Бабушка, узнавши, где я был и как гусыню до-

был, чуть было ума не решилась и говорила, что Мишке Коршукову она задаст баню. Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю деревню, орала до тех пор, пока не отнесли ее в другой дом и не собрали к ней всех гусей. Тогда гусыня успокоилась и поела.

Так в нашем селе появились гуси. Они хлопались в Малой речке, бродили по улицам и с шипом гонялись за ребятишками. Но потом в селе моем гуси вывелись. Приели их во время войны, а с верховьев гусей больше не приносит. Выше нашего села нынче стоит плотина гидростанции.



ЗАПАХ СЕНА

По сено собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольча-младший, как его зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топорищами по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикручивают. Алешка и я крутимся во дворе. Мы чего-нибудь подаем, поддерживаем, а больше находимся не у дел — глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя.

У нас одна лошадь, саней же подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса. К ним пристыла серая летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжели полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. Все ясно — еще две лошади будут. Их возьмут у соседей или у родственников.

Мы ждем. Вот Кольча-младший взял две оброти — так у нас называют узды, закинул их на плечо, высморкался, вытер пальцы о загнутые катанки и пошел со двора.

Мы за ним. Кольча-младший нас не прогоняет, но и не приглашает. Он идет по улице, насвистывает. Концы холщовой опояски, выпущенные для форса, болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек Кольча-младший, он не прогонит нас домой. Кольчей-младшим его зовут оттого, что у бабушки и дедушки было столько детей, что всем, видно, разных имен не хватило, потому и есть у нас Кольча-старший, а этот вот Кольча-младший.

Сейчас в семье остался только он да мы с Алешкой. Мы оба сироты. У меня нет матери, у Алешки отца. Алешка в нашей семье особый человек — он глухонемой.

Говорят, он чего-то испугался, что ли, и онемел, хотя бабушка точно помнила, как он уже лопотал «мама, папа». Алешку все жалеют, а я его люблю, и мы с ним деремся. Сильный он и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас, и мне дает затрещину, а Алешке только пальцем грозит. Никто не трогает Алешку, кроме меня, потому что он и без того «богом обиженный». Но мне на это плевать. Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе и вот за конями идем вместе.

Коней этих, Лысуху и Гнедого, младший Кольча выводит со двора старшего Кольчи. Мы ждем у ворот. Кольча-младший дает мне Лысуху. Я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда, сверху, ныряю брюхом на выгнутую широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу — шалишь, кобыла, не тут-то было.

Алешка трусит впереди меня на Гнедке и хохочет, заливается — весело дурачку! Мы спускаемся по крутояру на Енисей. Кони скользят на облитой, заледенелой дороге, скрежещут подковами. Алешка перестает повизгивать и хохотать. Кольча-младший маячит ему, чтоб он схватился за гриву Гнедка.

Лошади сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных сверкающих от мороза торосах. Са-

мые высокие тороса на середине Енисея. Там лед мчит так уж мчит, когда встает река. Забереги гладкие, ровно зализанные снежной поземкой. Прорубь на широкой заторошенной реке — как живой островок, и к ней весело идут кони.

Прорубь, к которой мы подъехали, кругом занесена снегом. За елками и сугробами — темная широкая щель. В ней клубится, бурлит темная вода. Что-то ворочается там, подо льдом. Лошади широко расставляют передние ноги, осторожно подходят к проруби. Я не дышу. А ну как Лысуха ухнет туда, в эту темную воду? Конечно, Лысуха не пролезет в такую щель, но я то запросто...

Лысуха пьет, и Гнедко пьет. У Алешки испуганное лицо, и он уже, как видно, не рад, что пошел за конями. И я не рад. А Кольча-младший держит обеих лошадей за оброти и протяжно, медленно посвистывает, и под этот свист Лысуха с Гнедком тянут, тянут воду. Вот они подняли головы, дышат, осматриваются. На темной морде Гнедка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у Лысухи тоже стекленеют от мороза волоски, торчат иголками.

Лошади еще раз ткнулись мордами в прорубь и ровно бы с сожалением отвернулись.

Вот теперь-то наступило самое главное! Страшная прорубь осталась позади, и Кольча-младший, отломив ветку от елки, хлещет по заду Лысуху и Гнедка. Лошади берут в рысь. Нас с Алешкой закидывает, и мы с трудом удерживаемся на конях. Мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и оброти, а потом уж гарцуем смело, как будто балуясь. Ребятишки катаются на Енисее и завидуют нам. Некоторые даже бегут следом и кричат разные слова. А мы скачем, а мы скачем! Еще до дому далеко, еще только в переулок въехали, а я уж кричу что есть мочи:

— Деда! Открывай ворота!

Алешка тоже что-то кричит по-своему.

Дедушка распахивает ворота и машет, чтобы мы пригнулись — иначе сшибет матицей ворот. К великому нашему удовольствию, лошади на рыси вбегают во двор, и тут мы получаем полную плату за все радости. Гнедко останавливается, за ним — Лысуха, и сначала я, а потом и Алешка летим через головы лошадей в снег и барахтаемся там, ослепленные, задохнувшиеся. И пока выбираемся из сугроба, дед с ухмылкой уводит лошадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, заглядывая в чуть оттаявшее кухонное окно, тоже беззвучно трясет головой и ртом. И мы начинаем похохатывать, будто и нам весело.

В конюшне раздается визг, стук — это Лысуха устраивается, лягает нашего смирного коня с грозным именем Ястреб.

Кольча-младший кричит:

— Я те, волчица ободранная! — И Лысуха усмиряется.

Дед еще раз обходит сани, у которых связанные перетягой оглобли целятся в небо, пинает по заверткам, бросает в одни сани вилы деревянные и железные, грабли, привязывает бастриги и в передок других саней вставляет звонкий топор, который я недавно лизнул и оставил на нем лафтак языка. Теперь уж лизать не буду.

Всё. Надо идти в избу. Кольча-младший обметает голиком катанки, еще раз сморкается на сторону, и дед делает то же, а мы уж следом все повторяем.

Ужинают сегодня рано и спать ложатся тоже рано. Нам спать еще не хочется, но мы послушно лезем на печь. Я в который раз напоминаю:

— Не забудешь, дедушка?

— Не-не, — гудит он снизу.

Дед самый надежный человек в этом доме. Он-то уж не обманет. Раз обещал взять по сено, значит, возьмет.

Тихо в доме. Только слышно, как ворочается на скрипучей деревянной кровати бабушка, которую донимают болезни. В горнице покуривает да покашливает Кольча-младший, не привыкший так рано ложиться, потому что по вечеркам бегает и домой приходит с петухами.

— Баб, — зову я.

Бабушка не откликается, но я-то слышу, что она не спит.

— Баб!

— Ну какого тебе дьявола?

— Ты катанки сушить положила в печку?

— Положила, положила, спи!

— И Алешкины тоже?

— И Алешкины. Спи!

Опять тишина. Окна закрыты ставнями, темнота в избе, как в подполье. Шуршат тараканы на печи, щекочут ноги.

— Баб!

Никакого ответа.

— Ба-аб!

— Я вот встану, я вот подымуся!

— А ты варежки-то зашила?

— Утресь зашью, спите!

Алешка не дышит, вникает в разговор и, хоть ничего услышать не может, все же понимает, что я беспокоюсь о завтрашней поездке по сено. Он обнимает меня и давит мою шею крепко-крепко. Это он благодарит меня за все тревоги и хлопоты. И я не отталкиваю его. Если бы у него был язык, он сказал бы, а так обнимает,

жмет, и все тоже понятно. Но вот Алешка глубоко вздохнул, и руки его разнялись, ослабели. Уснул Алешка. Намаялся, набегался и уснул. А я еще ворочаюсь, шуршу лучиной, подкладываю под подушку старые дедовы катанки, чтобы выше было, удобнее, и бабушка снова приглушенным шепотом грозится:

— Ты будешь спать, окаянный?

Я затихаю, думаю о Лысухе, о темной проруби. В глазах начинают мелькать елки, пихты — это дорога меж торосов по Енисею, это мы уже едем по сено, и кони трусят, пофыркивают, и сани скрипят мерзлыми завертками, и полозья повизгивают, и напевает что-то Кольча-младший. И все бежит, бежит зимник по Енисею, потом по лесу, с горы на гору, с горы на гору.

По сено у нас ездят далеко. Покосов возле села нет. Наше село на самом берегу Енисея, среди увалов и скал. Покосы на Фокинской речке, на Малой и Большой Слизневке. А наш покос на Манской речке. Манская речка впадает в реку Ману, Мана в Енисей. Мы летом были с Алешкой на покосе, ловили хариусов в речке, гребли сено, купались. Зимой мы на покосе никогда не были. Далеко и морозно. Какой он, покос, зимою? Кто там живет? Зайцы живут. Лисы живут. И медведи живут. Они караулят наше сено и не пускают к нему диких коз. Если козы съедят зарод, что тогда останется корове? Но медведь их не пускает к зароду. Да и увезем мы сено. Сложим на сани в большой-большой воз, до неба, и увезем. Я буду сидеть на самом высоком возу, и Алешка тоже. А дедушка и Кольча-младший будут идти сзади, курить, на лошадей покрикивать.

Мы едем по сено. Едем, едем, едем...

Бр-р-рам! — повалился я с воза, подскочил и головой об потолок — аж искры из глаз сыпанули.

Никакого воза нет.

Я на печке. Алешка спит. Бабушка на кухне, по-деревенски в кутье, уронила пустую подойницу и ругает кошку. Всегда кошка во всем виновата.

Я с печки долой, заглянул в горницу — кровать Кольчи-младшего закинута одеялом. Я на полати — деда нету. Глянул на вешалку — дох нету. И понял все. И запел.

Бабушка занимается своими делами, гремит кринками и не слышит. Я прибавляю голосу. Никакого толку. Я лезу на печку и сердито толкаю Алешку. Он с минуту бестолково смотрит на меня.

— Ме-ме-ме! — дразню я его, будто он виноват в том, что мы проспали.

И тогда Алешка тоже ударяется в голос. А ревет он протяжно, как бык: «Бу-у-у!»

— Ии-я вот вам поору! — наконец не выдерживает бабушка. — Ишь чего удумали! По сено ехать! Сопли-то к полозьям приморозите, кто отдирать будет?

— А зачем тогда сулили-и-и-и?

Алешка тянет: «Бу-у-у!» — разговаривать-то он не умеет, поддерживает меня только ревом. Бабушка снова не обращает на нас внимания. А у нас уже слезы кончаются. Алешкино «бу-у-у» звучит уже еле-еле.

Я высовываюсь из-за косяка середней:

— Зачем тогда сулили-и-и-и?

— Ты это что же, на бабушку родную зубы выставляешь, а?

— Ничего-о-о-о!

— Ступай стайку чистить и ори там.

— Не пойду-у-у!

— Как это не пойдешь?

— Не пойду-у!

— Я вот тебе не пойду! — хватает бабушка полотенце и вытягивает меня по спине. Вконец обиженный и несчастный, я лезу обратно на печку и заворачиваюсь в старый полушубок.

— Трескать идите, обозники! — через некоторое время зовет нас бабушка.

Я не отзываюсь. Алешка трясет меня за плечо. Я отбрасываю его руку. Пропадите все вы пропадом вместе со своей едой! Не стану есть, тогда узнаете!

— Я кому сказала — ись ступайте! — повышает голос бабушка. — У меня делов по завязку. А ну, слазьте с печки! — И она бесцеремонно стаскивает с печки Алешку, а потом и меня, мне еще и тычка дает вдобавок.

Мы нехотя усаживаемся за длинный, как нары, кухонный стол. Сегодня мужиков дома нет. И потому в середней не накрывают.

— А умываться кто будет? — спрашивает бабушка. — Ну вы у меня достукаетесь, вы у меня достукаетесь, — обещает она. — Эк ведь они, кровопивцы, урос развели! Шагом марш к рукомойнику!

Согнали сонную вялость ледяной водою, и веселее стало. Едим картошку в мундирах, парным молоком запиваем, и нас еще нет-нет да и встряхивают угасающие всхлипы. Бабушка, пригорюнившись, смотрит на нас:

— Дурачки вы, дурачки! Еще наробитесь, еще наездитесь. Какие ваши годы! Вот подрастете — и по сено вас возьмут.

— На будущий год, да? — примирительно спрашиваю я у бабушки.

— На будущий год уж обязательно. На будущий год вы уж во какие большие будете!

Я показываю Алешке палец и толкую, что в будущем году нас уж точно возьмут по сено, и он кивает головой. Рад Алешка, и я тоже рад. И мы весело бежим на улицу, убираем навоз из стайки, пехалом выталкиваем снег со двора, разметаем дорогу перед воротами. Мы готовимся встречать деда и Кольчу-младшего с сеном. Мы станем карабкаться на воз, таскать и утаптывать сено.

То-то потеха будет!

* *

Бабушка отстряпалась, сунула нам по пирогу с капустой, загнала нас на печку и вымыла пол, вытрясла половики, и в доме стало свежо и светло.

Целый день бабушка была в хлопотах, будто перед праздником. И только после того, как второй раз подоила корову, процедила молоко и на минуту присела возле окна, буднично сказала:

— Господи-батюшко, умаялась-то как! — Тут же она поглядела в окно, озабоченно вскочила: — Ой, чего же мужиков-то долго нету? Уж ладно ли у них?

Она выбежала в улицу, поглядела, поглядела и вернулась:

— Нету! Ох, чует мое сердце нехорошее. Может, конь ногу повредил? Эта Лысуха, эта язва с гривой! Говорила, не брать ее — уроса, так не послушались, взяли. Вот теперь и надсажаются, небось...

Так бабушка ворчала, строила догадки и то и дело выбегала на улицу. Потом у нее возникли новые дела, и она заставила нас сторожить на улице. Когда уже совсем завечерело, бабушка сделала окончательный вывод:

— Так я и знала! Так я и знала — эта Лысуха им очки вставит. Сколько я говорила старшему-то Кольче: «Не покупай эту кобылу, не покупай! У нее глаз-от, как у ведьмы...» Так разве мать послушают! Ой, тошно мне, тошнехонько! Ладно, если на Усть-Мане заночуют, а что, как в лесу, в этакую-то стужу! Ребятишки! Вы какого дьявола задницы на печи жарите! А ну ступайте на Енисей, поглядите. И сидят, и сидят! То домой не загонишь, а тут сидят...

Мы побежали на Енисей. Увидели обоз, тихий, мирный, усталый. Он поднимался по взвозу, к дому заезжих. А наших нет. Спросили обозников: не видели ли дедушку и Кольчу-младшего? Но обозники верховские. Они ехали по другой стороне Енисея, по городской дороге, и не обратили внимания на деревенский зимник.

Бабушка встретила нас еще в сенках:

— Ну?

— Нету. Не видать.

— Ой, тошно мне. Да что же это такое? — Она всплеснула руками, посеменила в горницу и у образов пала на колени:

— Мать пресвятая богородица! Спаси и сохрани рабов божьих, пособи им сено довезти, не изувечь, не изурочь. И Лысуху, Лысуху усмири!..

В доме наступило отчаяние. Полное. Бабушка всплакнула в фартук. Мы было взялись поддержать ее, но она прикрикнула на нас:

— А вы-то чего запели? Может, еще и ничего такого нет! Может, просто задержались, воз завалился либо что? И нечего накаркивать беду!..

И когда мы уже устали ждать и зажгли лампу и утешались только тем, что наши заночевали на Усть-Мане, бабушка глянула в окно и порхнула оттуда к вешалке:

— Ребятишки, вы какого лешака смотрели? Мужики-то уж выпрягают!..

Нас как ветром сдуло с печки. Надернули валенки на босую ногу, шапчонки на головы, что под руку попало — на себя и выкатились во двор. А во дворе теснотища! Три воза сена загромоздили его, и ворота настежь. Я с ходу к дедушке, ткнулся носом в его холодную, мохнатую собачью доху с одной стороны, Алешка — с другой. Бабушка ворота запирала и, как ни в чем не бывало, спрашивала:

— Чего долго-то?

— Дорога в заметах. В Манской речке версты две целик протаптывали, — ответил Кольча-младший тоже буднично. Он выпрягал Лысуху и покрикивал на нее. Дедушка молча потрепал нас по шапкам и отстранил.

— Деда, а деда, а сено сегодня будем метать или завтра?

— Сегодня, сегодня, — ответил за него Кольча-младший, и мы от восторга завизжали и скорее, скорее унесли под навес дуги, сбрую.

Мы лезли везде и всюду, и на нас ворчали мужики и даже легонько хлопали связанными вожжами. Кольча-младший вилами один раз замахнулся. Но мы не боимся вил — это острая орудья, и ею ребят не бьют, а только замахиваются. И мы дурели, не слушались, карабкались на возы, скатывались кубарем в снег.

— Вы дождетесь, вы дождетесь! — обещали нам то бабушка, то Кольча-младший. Дед помалкивал.

Коней закинули попонами и увели в конюшню. Оглобли саней связали. Сыромятные завертки, растянутые возами, отходили, потрескивали. А на санях белый-белый лесной снег. Все видно хорошо, потому что в небе студеная, оцепенелая луна и множество звезд, и снег всюду мигает искрами.

Пришли Кольча-старший, два его сына и тетка Апроня. И началась шумная работа. Отвязали бастриг на первом возу. Он спружинил, подскочил и уцелился в луну, как пушка. Воз темным потоком хлынул на снег и занял половину двора. Второй воз свален, третий свален. Сена — гора! Откуда-то взялась корова. Ест напропалую. Отгонят с одного места, она из другого хватает — у нее тоже праздник. Собака забралась на сено. Ее вилами огрели. Нельзя собаке на сене лежать — корова сено есть не станет. Собака горестно взлаяла и убралась под навес.

А мы уже на сеновале, и бабушка с нами. Нам дали самую главную работу — утаптывать сено. Мы топтали, падали, барахтались. Мужики бросали огромные навильники в темный сеновал и ровно бы ненароком заваливали нас.

Жутко, глухо станет, когда ухнет на тебя навильник. Рванешься, как из воды, наверх и поплывешь, и поплывешь. И еще не успеешь отплеваться от сенного крошева, забившего рот, — снова ух на тебя шумный навильник. Держись, ребята, не тони!

— Ребятишки, вы живые там? — весело спрашивает бабушка.

— Живы!

— Упрели, небось?

— Не-ет!

Но я уж весь мокрый, и Алешка тоже. Мы топчем, топчем сено, плаваем в нем, барахтаемся и дуреем от густого угарного запаха.

Перекур.

В изнеможении упали на сено, провалились в нем по маковку. Мужики курят во дворе, тихо говорят о чем-то. А бабушка стряхивает платок.

— Баб! — окликнул я ее. — Ты можешь сейчас траву узнать или цветок?

Бабушка у нас все травы и цветки знает наперечет. И знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету, и какая трава от какой болезни — тоже знает. И все деревенские ходят к ней лечиться от живота, от простуды и еще от чего-то. Вот только самой ей некогда болезни свои вылечить.

— Ну где же я в потемках-то различу, — ответила бабушка, но таким тоном, что нам совершенно ясно — это она так от скромности. Она пошарила подле себя рукой, подозвала нас и показала при лунном свете, падающем в проем дверей: — Вот это осока. Ее легко отличить, она жесткая, с шипом и почти не теряет цвету. В Манской речке ее много. А вот эта, — отделяет она от горсти несколько былинок, — метличка. Ну, ее тоже хорошо различить. Метелочки на концах. А это вот, видите, ровно спичка сгорелая на кончике. Это купальница-цветок.

— Жарок, да?

— По-нашему жарок. Завял он, засох, и краса вся его наземь обсыпалась. И люди вот так же, пока цветут, красивые, а потом усыхают, морщинятся и в бабушек превращаются. Недолог век у цветка, да ярок, а человечья жизнь навроде бы и долгая, да цвету в ней не лишка...

Любим мы нашу бабушку, когда она такая вот добрая, умная и все говорит, рассуждает. Мне кажется, даже Алешка понимает все, что она говорит.

Девятишар, орляк, купырь, кошачья лапка, ромашка и много-много пырея переселилось из леса на наш сеновал. А я вот еще и земляничку нащупал, потом другую, третью. Свою я съел вместе со стебельком — ничего не случится. Ту, что бабушке отдал, она лишь понюхала и протянула Алешке. Алешка съел две ягодки, заулыбался.

Я хотел еще в сене пошариться, но в это время проем дверей заткнули навильником, сделалось темно, и снова пошла работа.

Тесней и тесней становилось на сеновале. Утрамбованное, затиснутое в углы и к задней стене, сено набухало ввысь и уже задевало веники, свешанные попарно на слеги и жерди. Крыша чем дальше, тем уже делалась, и мы сшибали не раз шапки о поперечины и шарились в темноте, в сене, отыскивая их.

На самом верху, там, где тес крыши сходился торцами, по стропилам лепились гнезда ласточек и по соседству с ними осиные пузыри. Я залез горячей рукой в луночку ласточкиного гнезда и почувствовал в ней снежок, а под ним мокрые перышки. Где они сейчас, говоруньи ласточки? Наверно, тоскуют по своему дому, по этому вот сараю, по нашему селу.

Забылся на минуту и услышал, как внизу, под нами, хрупают сено вымотавшиеся за дорогу кони. Хрупают, отфыркиваются, переступают тяжелыми копытами.

А внизу, во дворе, разговор начался:

— Сена́ лесные, едкие, хватило бы до весны. А ну как прикупать придется?

— Купило притупило! — вмешивается в разговор бабушка. — Соломы с заимки подвезем и обойдемся. Сено стравить — дело не мудровое...

— На соломе да на пойле не лишка надоишь молока, — подает голос тетка Апроня.

— Нет, пойло не бракуй, девка. Пойло — всему голова. Токо руками его ладить надо, теплое чтобы, с отрубями. А если ополосками поить, тогда, конечно...

Пошли разговоры, значит, работа к концу. Да и полон сеновал

уже. Мы у самой створки топчемся. Под ноги нам швыряют клоки сена, из которых торчат вилы — подскребают с саней. И хорошо это, славно, а то уж у нас дух вон.

И вот все. Сани заведены под навес, корова водворена на место. Бабушка граблями подобрала раскрошенное по двору сено, кинула его лошади. Мужики составили вилы, грабли, забрали дохи и, постукивая о ступеньки катанками, вошли в избу. Катанки мерзло повизгивали, скользили на крашеном крыльце.

Вместе с мужиками в дом ввалилось много холода и чужого запаха от собачьих дох. Но все эти запахи забивал сквозной, всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывал сосульки с усов и бороды и кидал их под рукомойник. Бабушка сбросила с печи старые, пыльные катанки.

Тетка Апроня хлопотала у стола, и пока переодевались и переобувались дедушка и Кольча-младший, на столе уже все готово. Кольча-младший полез было за кисетом, да бабушка заворчала на него:

— Хватит табачище-то жрать натощак. За стол ступайте, а потом уж жгите зелье клятое сколь влезет!

Мы уже за столом, в переднем углу оставили место только деду. Это место свято, и никто не имеет права его занимать. Кольча-младший глянул на нас, рассмеялся:

— Видали, работнички-то уж начеку!

Все со смехом усаживались, гремели табуретками и скамьями. Исчез только дед. Он возился на кухне, и нетерпение наше возрастало с минуты на минуту. Ох уж медлительный у нас дед! И говорит он пять или десять слов за день. Все остальное за него обязана говорить бабушка, так уж у них повелось издавна.

Вот и дедушка. В руках у него холщовый мешочек. Он медленно запустил в него руку, а мы с Алешкой напряженно подались вперед и не дышим. Наконец дедушка достал обломок белого калача и с улыбкой положил перед нами:

— Это вам от зайца.

Мы схватили калач. Он мерзлый, как камень. Мы по очереди пытались откусить от него хоть маленько. Я показал Алешке пальцами уши над головой, и он расплылся в улыбке: он понял — это от зайца.

— А это от лисы! — подал нам дедушка наливную зарыжевшую от печной жары шаньгу.

Кажется, наступила вершина наших чувств и восторгов, но это еще не все. Дедушка снова пошарил рукою в мешочке и долго-долго не вынимал подарок. Он тихо улыбался в бороду и хитровато поглядывал на нас.

А мы уж и без того готовы. У меня сердчишко остановилось было, а потом затрепыхалось, затрепыхалось, и в глазах уже рябило от напряжения. А дед томит. Ох, томит! «Ну, дедушка! — хотелось крикнуть мне. — Чего ж у тебя там еще, чего?» И тут дед вынул из мешочка кусок вареного стылого мяса, облепленного крошками, и торжественно протянул его нам.

— А это уж от самого Мишки! Он там сено наше караулил.

— От медведя! — вскочил я. — Алешка, это от медведя! Бу-бу-бу! — показал я ему и надул щеки, насупил брови. Алешка понял меня, захлопал в ладоши. У нас одинаковое с ним представление о медведе.

Ломаем зубы, грызем мерзлый калач, шаньгу, мясо, оттаиваем лесные подарки языком, ртом, дыханием. Все дружелюбно поглядывают на нас, подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка несердито выговаривает деду:

— Потеху отдал бы потом. Останутся ребятишки без ужина.

Да, конечно, мы так и не поели. С замусоленным огрызком калача и плиточкой шаньги залезли на полати. На печке сегодня спит дедушка — он с холода. Я держал в руке холодный, постепенно раскисающий кусочек калача, Алешка — кружок шаньги.

Нам снились в эту ночь диво-дивные сны.

КОНЬ С РОЗОВОЙ ГРИВОЙ

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними.

— Наберешь туесок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

— Конем, баба?

— Конем, конем.

Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые.

Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник — совсем другое дело. Пряник можно засунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь

лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса — потерял, — хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться, что тут он, тут конь-огонь!

С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе и так и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня либо лизнуть его.

Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадогах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготавливал лес на бадоги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села по другую сторону Енисея.

Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать — я точно не помню, — Левонтий получал деньги, и тогда в доме Левонтия, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой.

Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывала тогда не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала Левонтьиха, тетка Васеня, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями.

— Кума! — испуганно-радостным голосом восклицала она. — Долг-от я принесла! — И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

— Да стой ты, чумовая! — окликала ее бабушка. — Сосчитать ведь надо.

Тетка Васеня покорно возвращалась, и пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу» на черный день бабушка никогда Левонтьихе не давала, потому как весь этот «запас», кажется, состоял из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, а то и на тройку.

— Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое! — напускалась бабушка на соседку. — Мне рупь! Другому рупь! Это что же получится?

Но Васеня опять юбкой вихрь взметывала и укатывалась.

— Передала ведь!

Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, била себя руками по бедрам, плевалась, а я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами — ни забор, ни ворота, ни сенцы, ни наличники, ни ставни.

Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы.

Танька левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведенье:

— Зато как лапа шурунет нас — бегишь и не запнёшша.

Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, и в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий только благодушно почесывался.

— Я, Петровна, слободу люблю! — и обводил рукою вокруг себя: — Хорошо! Как на море! Ништо глаз не угнетат!

Дядя Левонтий плавал когда-то по морям, любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки. Сделать это не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки.

— Нечего куски выглядывать! — гремела она. — Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в кармане — вошь на аркане.

Но если мне удается ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут уж всё, тут уж я окружен бываю редкостным вниманием, тут мне полный праздник.

— Выдь отсюдова! — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И, пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям это действие уже обмякшим голосом: — Он сирота, а вы все ж при родителях! — И, жалостно глянув на меня, тут же взревывал: — Мать-то ты хоть помнишь? — Я утвердительно кивал головой, и тогда дядя Левонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспо-

минал: — Бадоги с ней по один год кололи-и-и! — И совсем уж разрыдавшись: — Когда ни придешь... ночь-полночь... пропа... пропащая ты голова, Левонтий, скажет и... опохмели-и-ит...

Тут тетка Васеня, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол, и все наперебой угощали меня, и сами ели уж через силу.

Поздно вечером либо совсем уж ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!» После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали что попадало под руки и резбегались кто куда. Последней ходу задавала Васеня. И бабушка моя «привечала» ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол, затем, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Тетка Васеня дня через три-четыре опять ходила по соседям и уже не взметывала юбкою вихрь. Она снова занимала денег, муки, картошек — чего придется.

Вот с ребятишками-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные туески, а у одного парнишки был ковшик без ручки. Левонтьевские орлы бросали друг в друга посудой, барахтались, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку-бутуна, наелись до зеленой слюны, а недоеденный побросали. Оставили всего несколько перышек на свистульки. В обкусанные перья они пищали всю дорогу, и под музыку мы скоро пришли в лес, на каменистый увал.

Тут все перестали пищать, рассыпались по увалу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туеска стакана на два-три. Бабушка говаривала: главное, мол, в ягодах — закрыть дно посудины. Вздохнул я с облегчением и стал собирать ягоды скорее, да и попадалось их выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем.

Вдруг крышка чайника забренчала нервно, послышалась возня.

— Ешь, да? Ешь, да? А домой чё? А домой чё? — спрашивал старшой и давал кому-то пинка после каждого вопроса.

— А-га-га-га-а! — запела Танька. — Шанька тоже шажрал, так ничего-о-о...

Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал, брал ягоды, и, видать, обидно ему сделалось. Берет он, старшой, ягоды, для дома старается, а те вот жрут ягоды либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья Левонтьевы, катаются по земле, всю землянику раздавили.

После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленые ягоды — и в рот их, в рот.

— Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя? Вам можно, а мне, значит, нельзя? — зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.

Вскоре братья Левонтьевы как-то незаметно помирились, перестали обзываться и решили сходить к Малой речке побрызгаться.

Мне тоже хотелось побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому как еще не набрал полную посудину.

— Бабушки Петровны испугался! Эх ты! — закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, а может, и стеснялся употреблять такие слова, и сказал только:

— Зато мне бабушка пряник конем купит!

— Может, кобылой? — усмехнулся Санька. Он плюнул себе под ноги и что-то быстро смекнул: — Скажи уж лучше — боишься ее и еще жадный!

— Я?

— Ты!

— Жадный?

— Жадный!

— А хочешь, все ягоды съем? — Сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду.

Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окровянелыми глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.

— Слабо́! — сказал он.

— Мне слабо́! — хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо́? — повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды в траву: — Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, и ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких ягодок. Жалко ягод. Грустно. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой. Все

равно уж теперь. Я мчался вместе с левонтьевскими ребятишками к речке и хвастался:

— Я еще у бабушки калач украду!

Ребята поощряли меня, дескать, действуй, и не один калач неси. Может, еще шанег прихватишь либо пирог.

— Ладно!

Мы брызгались из речки студеной водой, бродили по ней и руками ловили подкаменщика. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил со срамом, и мы растерзали ее на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камнями в пролетающих птичек и подшибли стрижа. Мы отпаивали стрижа водой из речки, но он пускал в речку кровь, а воды проглотить не мог, и умер, уронив головку. Мы похоронили стрижа на берегу, в гальке, и скоро забыли о нем, потому что занялись захватывающим, жутким делом: забегали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька. Его и нечистая сила не брала!

— Это еще чё! — хвалился Санька, воротившись из пещеры. — Я ба дальше побег, в глыбь побег ба, да босый я, а там змеёв гибель.

— Жмеёв?! — Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки.

— Домовниху с домовым видел, — продолжал рассказывать Санька.

— Хлопуша! — срезал Саньку старшой. — Домовые на чердаке живут да под печкой.

Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого:

— Да тама какой домовой-то? Домашний. А тут пещерный. В мохе весь, серый, дрожмя дрожит — студено ему. А домовниха худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманишь, подойди только — схватит и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил!..

Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать, и чудилось мне — кто-то в пещере все стонет, все стонет. Первой дернула от этого худого места Танька, а следом за нею и все ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару.

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уж забыл про ягоды. Но настала пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

— Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! — заржал Санька. — Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..

Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!». Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васеня.

Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой и гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, и от него отскакивали остатки эмалировки.

— Знаешь чё? — поговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. — Ты в туес травы натолкай, а сверху ягод — и готово дело! Ой, дитятко мое! — принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. — Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, пособи-ил. — И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, вниз с увала.

А я остался.

Утихли голоса левонтьевских ребятишек внизу, за огородами, и мне сделалось жутко. Правда, село здесь слышно. А все же тайга, пещера недалеко, а в ней домовниха с домовым и змеи кишмя кишат.

Повздыхал, повздыхал я, даже чуть было не всплакнул и принялся рвать траву. Нарвал, натолкал в туесок, потом насобирал ягод, заложил ими траву, получилось земляники даже с копной.

— Дитятко ты мое! — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей свою посудину. — Восподь тебе, сиротинке, пособил! Уж куплю я тебе пряник, да самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, а прямо в этом туеске увезу...

Отлегло маленько.

Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство.

Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.

Я поел и отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке.

— А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

— Не надо, Санька!

— Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?» — терзался я ночью, ворочаясь на полатях. Сон не брал меня, как окончательно запутавшегося преступника.

— Ты чего там елозишь? — хрипло спросила из темноты бабушка. — В речке, небось, опять бродил? Ноги, небось, опять болят?

— Не-е, — откликнулся я, — сон приснился...

— Спи с богом! Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко...

«А что, если разбудить ее и все-все рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание бабушки. Жалко ее будить, устала она. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу ей обо всем: и про туесок, и про домовниху с домовым, и про калачи, и про все, про все...

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, а потом замелькала земляника, завалила она и Саньку, и все на этом свете.

На полатях запахло сосняком, холодной таинственной пещерой...

* *

Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и полоска картошек.

О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши пока жили единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно как-то. Может, оттого, что дедушка никогда не шумел и даже работал неторопливо, но очень уемисто и податливо.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня были тогда огромным, непреодолимым расстоянием. И Алешки, моего братана, нет. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, где она работала.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не смог придумать, как податься к левонтьевским.

— Уплыла Петровна! — ухмыльнулся Санька и цыркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы страшно завидовали этой Санькиной дырке. Как он в нее плевал!

Санька собирался на рыбалку и распутывал леску. Малые левонтьевские ходили возле скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах. Санька раздавал затрещины направо и налево за то, что малые лезли под руки и путали леску.

— Крючка нету, — сердито сказал он, — проглотил, должно, который-то.

— Помрет?

— Ништяк, — успокоил меня Санька. — У тебя много крючков, дал бы. Я б тебя на рыбалку взял.

— Идет!

Я обрадовался и помчался домой, схватил удочки, хлеба, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей ниже села.

Старшего левонтьевского сегодня не было. Его взял с собой «на бадоги» отец, и Санька командовал напропалую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался почти и даже усмирял «народ», если тот принимался драться.

У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поплевал на них и закинул лески.

— Ша! — сказал Санька, и мы замерли.

Долго не клевало. Мы устали ждать, и Санька прогнал нас искать щавель, чеснок береговой и редьку дикую.

Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», все ели, что бог пошлет, ничем не брезговали и оттого были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом.

Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, Санька вытащил двух ершей, одного пескаря и белоглазого ельца.

Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб и начал их жарить.

Рыбки были съедены почти сырые, без соли. Хлеб мой ребятишки еще раньше смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок стрижей, «блинали» каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, и мы быстро выскочили из реки отогреваться у костра. Отогрелись и повалились в еще низкую траву.

День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины клонились к земле рябенькие кукушкины слезки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника, на обогретой земле, лежали полосатые цветки граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары. Боярка доцветала и сорила в воду. Сосняк был весь в синем куреве. Над Енисеем чуть мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Леса на скалах стояли неподвижно, и железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким

кружевцем, и, если долго смотреть на него, он истоньшался и кружевце рвалось.

Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет! И зачем я так сделал? Зачем послушался левонтьевских?

Вон как хорошо было жить! Ходи, бегай и ни о чем не думай. А теперь? Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет, уж лучше пусть не опрокидывается. Моя мать утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет, и все, а бабушка только кричит да нет-нет и поддаст — у нее не задержится. И дедушки нет. На заимке он, дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своих всю жизнь потакал, теперь этого!..»

«Дедушка ты, дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял меня с собою!»

— Ты чего нюнишь? — наклонился ко мне Санька с озабоченным видом.

— Ничего-о-о! — голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни.

— Ништяк! — утешил меня Санька. — Не ходи домой, и все! Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Боится — ты тоже утонешь. Вот она как запричитает: «Утону-у-ул мой дитятко, спокинул меня, сироточка», — ты тут и вылезешь!..

— Не буду так делать! — запротестовал я. — И слушаться тебя не буду!..

— Ну и лешак с тобой! Об тебе же стараются... Во! Клюнуло! У тебя клюнуло!

Я свалился с яра, переполошив стрижей в дырках, и рванул удочку. Попался окунь. Потом ерш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали.

— Не перешагивай через удилище! — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей и таскал, таскал рыбешек. Малыши надевали их на ивовый прут и опускали в воду.

Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты и из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по самые обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны.

Взмах шестов, перекидка рук, толчок — лодка вспрыгнула носом, ходко подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой давнул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки, крест-накрест завязаны

на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука только по случаю поездки в город или по большим праздникам...

Да это ж бабушка!

Рванул я от удочек прямо к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунул большой палец ноги в стрижиную норку. Подлетел стриж, тюкнул меня по голове, и я пал на комья глины. Соскочил и ударился бежать по берегу, прочь от лодки.

— Ты куда? Стой! Стой, говорю! — крикнула бабушка.

Я мчался во весь дух.

— Я-а-авишься, яа-а-авишься до́мой, мошенник! — неслся вслед мне голос бабушки.

А тут еще мужики подстегнули:

— Держи его! — крикнули, и я не заметил, как оказался на верхнем конце села.

Теперь только я обнаружил, что наступил уже вечер и волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кешке, дяди Ванину сыну, жившему здесь, на верхнем краю села.

Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты. Появилась тетя Феня, Кешкина мать, и спросила меня:

— Ты почему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя!

— Не-е, — ответил я как можно бодрей и беспечней. — Она в город уплыла. Может, ночует там.

Тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала.

А тонкошеий молчун Кешка попил вареного молока, и мать сказала ему:

— Все на молочке да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, и оттого крепок.

Я уж надеялся, что тетя Феня и ночевать меня оставит. Но она порасспрашивала, порасспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой.

В доме уже не было свету. Тетя Феня постучала в окно. Бабушка крикнула: «Не заперто!» Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух.

Тетя Феня оттеснила меня в сени и втолкнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах — на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке.

Я зарылся в половик, притих.

Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натыканной во все щели и под потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа и шероховата, вся заполненная запахом и тайной жизнью.

Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы и цветы под потолком, открывали коробочки и сорили во тьму семечки.

На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневною жарой собаки приходили в себя, вылазили из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что проложен через Малую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там, поет.

У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, дядя Левонтий принес чего-то на варево. У кого-то левонтьевские «сбодали» жердь? Скорее всего у нас. Есть им время сейчас промышлять дрова далеко!..

Ушла тетя Феня и плотно прикрыла дверь в сенках. Воровато прошмыгнул по крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала, должно быть. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и стал дышать себе на грудь.

Проснулся я от солнечного луча, пробившегося в мутное окошко кладовой. В луче мошкóй пыль мельтешила. Откуда-то наносило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло: на меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью! Красота!

На кухне бабушка громко, возмущенно рассказывала:

— ...Культурная дамочка, в шляпке. Говорит: «Я у вас эти вот ягодки все куплю». Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал...

Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог разобрать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы помереть скорее.

Но сделалось жарко, глухо, стало невмоготу дышать, и я открылся.

— ...Своих вечно потачил! — шумела бабушка. — Теперь этого! А он уж мошенничает! Чё потом из него будет? Каторжанец будет! Вечный арестант будет! Я вот еще левонтьевских в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор, от греха подальше. Бабушка вышла в сенки, заглянула в кладовку. Я крепко сомкнул веки.

— Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!

Но я не сдавался. Забежала в дом бабушкина племянница, спросила, как бабушка сплавала в город. Бабушка сказала, что слава тебе господи, и тут же принялась рассказывать:

— Мой-то, малой-то! Чего утворил!..

В это утро к нам приходило много людей, и всем бабушка говорила: «А мой-то, малой-то!»

Бабушка ходила взад-вперед, поила корову, выгоняла ее к пастуху, делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, кричала:

— Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!

Я знал, что она управится по дому и уйдет. Все равно уйдет поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, какие свершились без нее на селе. И каждому встречному бабушка будет твердить: «А мой-то, малой-то!»

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул: «Ничего, дескать, не робей!» Я заширкал носом.

Дед погладил меня по голове, и так долго копившиеся слезы хлынули безудержно из моих глаз.

— Ну, што ты, што ты? — успокаивал меня дед, обирая большой жесткой рукой слезы с моего лица. — Чего ж голодный-то лежишь? Попроси прощенья... Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед в спину.

Придерживая одной рукой штаны, я прижал другую к глазам, ступил в избу и завел:

— Я больше... Я больше... Я больше... — И ничего дальше сказать не мог.

— Ладно уж, умывайся да садись трескать! — все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов сказала бабушка.

Я покорно умылся. Долго и очень тщательно утирался рушником, то и дело содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, и присел к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку вожжи, еще чего-то делал. Чувствуя его незримую и надежную поддержку, я взял со стола краюху и стал есть всухомятку. Бабушка одним махом плеснула в бокал молока и со стуком поставила посудину передо мной.

— Ишь ведь какой смирненькай! Ишь ведь какой тихонькай! И молочка не попросит!..

Дед мне подморгнул — терпи. Я и без него знал: боже упаси сейчас перечить бабушке или сделать чего не так, не по ее усмотрению. Она должна разрядиться, должна высказать все, что у нее накопилось, душу отвести должна.

Долго бабушка обличала меня и срамила. Я еще раз раскаянно заревел. Она еще раз прикрикнула на меня.

Но вот выговорилась бабушка. Ушел куда-то дед. Я сидел, разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, как по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой.

— Бери, бери, чего смотришь? Глядишь, зато еще когда омманешь бабушку...

Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло! А я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой.

МОНАХ В НОВЫХ ШТАНАХ

Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму, или упряг, как назвала она. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека, и до брюкв этих все равно что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв, одному богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет!

В подвале земляная, могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, попадает за воротник и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и кадки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, а когда я гляжу вниз,

сердце мое кровью обливается и берет меня большая, большая тоска.

Кругом здесь картошки, картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагается кидать в плетеный короб, крупную — в мешки, а помельче — швырять в угол этого огромного, как двор, сусека, в котором я сижу, может, уж целый день, и бабушка забыла про меня, а может, сижу целый месяц и помру вот скоро, и тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще и сироту к тому же.

Конечно, я уж не ребенок и работаю не за зря. Картошка, что покрупнее, отбирается для продажи в город, и бабушка обещала на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом.

Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не вынимаю руку, а если что надо положить — биту-бабку либо деньгу, — я кладу только в карман, а из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утеряется.

Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз вон полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили, а он полинял потом и сделалось клетки видно. Засмеяли меня всего левонтьевские ребята. Им что, дай позубоскалить!

Интересно знать мне, какие они будут, штаны, синие или черные. И карман у них будет какой — наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка возиться с внутренним! Ей некогда все. Родню надо обойти. Указать всем. Генерал!

Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудись!

Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все мне казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. А потом я взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному

срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся: «У-у-а-ах!»

— Ага! — сказал я, — то-то, брат! Не больно у меня!..

Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол, в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантрапы.

Слово «шантрапа» в нашем селе завозное, и чего оно обозначает — я не знаю. Но оно мне нравится. «Шантрапа! Шантрапа!» Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены Бетехтиными, и не будь их, у нас даже и ругаться не умели бы.

Я уж съел три морковки, потер их о голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руку, выскреб холодной, упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это морковки, огурец, капуста и грибы ссорятся меж собой. Тесно им в одном брюхе.

Хоть бы живот расслабило или ноги бы заболели. Я выпрямляю ноги, слышу, как хрустит и пощелкивает в коленях, но ничего не больно. Прикинуться разве?

А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок и, возможно, даже с ремешком!

Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную — в зевасто открытый мешок, мелкую — в угол, гнилую — в короб. Трах-бах! Тарабах!

— Крути, верти, навертывай! — подбадриваю я сам себя и на весь подвал ору:

Судили девицу одну,
Она дитя была года-а-ами-и-и...

Песня эта новая, нездешняя. Ее, по всем видам, тоже Бетехтины затащили в село. Я запомнил из нее только эти вот слова, и они мне очень по душе пришлись. Я знаю, как судят девицу. Летом бабушка с другими старухами выйдет вечером на завалинку, и вот они судят, вот они судят: и дядю Левонтия, и тетку Васеню, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле!

Только в толк я не возьму: отчего бабушка и все старухи качают головами, плюются и сморкаются? Подарочек — что ли, плохо? Подарочек — это хорошо! Вот мне бабушка подарочек привезет. Штаны!

— Крути, верти, навертывай!

Судили девицу одну,
Она дитя была годами-и-и...

Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает. Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее! Нельзя надувать покупателя. С земляникой вон надул — чего хорошего получилось? Срам и стыд сплошной. И сейчас вот попадись гнилая картошка — он, покупатель, сбрындит! Не возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару, значит, штанов не получишь! А без штанов кто я? Без штанов я шантрапа. Без штанов пойди, так все равно как левонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому заду — такое уж у него назначение, раз голо — не удержишься, шлепнешь.

Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале. Пламя на лампе качается, вот-вот погаснет, и куржак от сотрясенья так и сыплется, так и сыплется.

Но ничего я не боюся, никакой шантрапы!

Шан-тра-па-а, шантра-па-а-а-а...

Пою, распахиваю створку и смотрю на ступеньки из подвала. Их двадцать восемь штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до ста, и считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта. Это бабушка приоткрыла, чтоб мне не так жутко здесь было. Хороший все же человек моя бабушка! Генерал, конечно, однако раз она такой уродилась — уж не переделаешь.

Над дверцей, к которой ведет белый от куржака тоннель, завешанный нитками белой бахромы, я замечаю сосульку. Махонькую сосульку, с мышиный хвостик величиной, но на сердце у меня сразу что-то шевельнулось мягким котенком.

Весна скоро. Будет тепло. Первый май будет! Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится восемь лет, и все станут гладить меня по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к Первому маю обязательно сошьет.

Шантрапа-а-а, шантрапа-а-а-а!..
Сошьют штаны с карманом мне в Первый май!
Попробуй тогда меня поймай!..

Батюшки, брюквы-то — вот они! Упряг-то я сделал! Правда, раза два я передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, и свеклу, и морковку, и все мне нипочем!

Судили девицу одну-у-у...

— Ну, как ты тут, работник?

Я аж вздрогнул и уронил из рук картошки. Бабушка пришла. Явилась старая!

— Ничего-о-о! Будь здоров работник! Могу всю овощь перешерстить — картошку, морковку, свеклу — все могу!

— Ты уж, батюшко, тишей на поворотах! Эк тебя заносит!

— Пускай заносит!

— Да ты никак запьянел от гнилого-то духу?

— Запьянел! — подтверждаю я. — В дрезину... Судили девицу одну-у-у-у...

— Матушки мои! А устряпался-то весь, как поросенок! — Бабушка выдавливает в передник мой нос, трет щеки. — Напасись вот на тебя мыла. — И подталкивает в спину: — Иди обедать. Дедушка ждет.

— Неужто обед еще только?

— Тебе, небось, показалось — три дня тут робил?

— Ага!

Я скачу через ступеньку вверх. Слышу, как пощелкивают во мне суставы, и чувствую, как навстречу мне плывет свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа.

— Вот ведь мошенник! — слышится внизу голос бабушки: — Вот ведь плут! И в кого только пошел? У нас в родове таких вроде нету... — Бабушка обнаружила, что брюквы передвинуты.

Я наддаю ходу и выныриваю из подвала на светлый день, на чистый воздух и как-то разом и отчетливо замечаю, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше и голубей в разводах, оно на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чириканье воробьев, схватившихся врукопашную середь двора, и в той еще негустой дымке, что возникла над дальними увалами и начала спускаться вниз, окутывать мерклой дремой леса, распадки и луговины в устье речек. И скоро-скоро вспухнут эти речки зеленовато-желтой наледью, зальют краснотал по берегам, смородинники и вербы, а потом на речках стает лед, съест снег на увалах, будет трава, подснежники, наступит Первый май, а в Первый май...

Нет, уж лучше и не думать о том, что будет в Первый май!

* *

Материю, или мануфактуру, как у нас швейный товар называется, бабушка купила, еще когда по санному пути ездила в город с картошкой. Материя была синего цвета, рубчиком и хорошо шуршала и потрескивала, если по ней пальцем провести. Она называлась треко. Сколько я потом на свете ни жил, сколько штанов ни износил, однако материи с таким названием мне не встречалось.

Очевидно, было это трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше мне и не повторялось, к сожалению.

Кусочек мануфактуры лежал на самом верху в сундуке, и всякий раз, когда бабушка открывала этот сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у ободверины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, как баржа, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку — она не замечала. Я кашлял сначала один раз — она не замечала. Я кашлял много раз, как будто вся грудь моя насквозь простудилась, — она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке — и все равно меня не замечала. Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру — треко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов с бородками и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:

— Что мне с этим дитем делать? — Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем видом, что она может оказаться немытой и запачкать треко, и продолжала: — Оно же видит, это дите, — кручусь я как белка в колесе! Оно же знает — сошью я к именинам штаны, будь они кляты! Так нет, оно, язвило бы его, так и лезет, так и лезет!..

С последними словами бабушка хватала меня за чуб или за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был печальный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий.

Бабушка открывала ма-ахоньким ключиком шкатулку китайскую, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике этом нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китаянки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше нравилась, чем моя мануфактура.

Я жду. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине называются монпансье, а у нас попроще — лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек! Их у нас и на куличи прилепляют, и на сладкие пироги, и просто сосут эти сладчайшие лампасейки, у кого они есть, конечно.

У бабушки есть! Для гостей. Я снова слышу тонкую и нежную музыку. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начи-

наю громче шмыгать носом и думаю, уж не подпустить ли голосу. Но тут раздаются бабушкины недовольные слова:

— На уж, окаянная твоя душа! — И в руку мне, давно уже выжидательно опущенную, бабушка сует шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатываю ее и отталкиваю бабушкину руку.

— Не-е-е...

— А чего ж тебе? Ремня?

— Штаны-ы-ы...

Я слышу, как бабушка сокрушенно хлопает себя по бедрам и обращается уже не к генералам, а к моей спине:

— Эт-то что же он, кровопивец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую — сошью! А он нате-ка! А он уросит! А? Возьмешь конфетки, или запру?

— Сама ешь!

— Сама? — Бабушка немеет на время, видно, не находит слов. — Сама? Я т-те дам — сама! Я т-те покажу — сама!

Сейчас поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет, и я веду снизу вверх:

— Э-э-э-э...

— Поори у меня, поори! — кричит бабушка, но я перекрываю ее своим ревом. Она постепенно сдается, принимается умасливать меня: — Ну, сошью, скоро сошью! Уж, батюшко, не плачь уж. На вот конфетки-то, помусли. Сла-а-денькие лампасеечки. Скоро уж, скоро в новых штанах будешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий...

Наговаривая, бабушка окончательно сламывает мое сопротивление, всовывает мне в ладонь лампасейки, штук пять, — не обсчитается! Вытирает передником мой нос, щеки и выпроваживает из горницы, утешенного и довольного.

* *

Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к Первому мая штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах и если уж свалилась, то надолго и всерьез.

Ее переселили в горницу, на чистую, мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось как в чужом доме — полутемно, прохладно, пахло там больницей, и люди ходили на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как

много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И, пожалуй, только теперь я, хотя и смутно, почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.

Бабушка громко и хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала:

— Покор... покормили ли ребенка-то?.. Там простокиша... калачи... в кладовке все... в ларе.

Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее, накормлен, мол, напоен твой ребенок и беспокоиться не надо, и, как доказательство, подводили меня самого к кровати и показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила:

— Помрет вот бабушка, что делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О господи, господи! — Она косила глаза на лампадку: — Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска... — звала она тетку Августу. — Корову доить будешь, так вымя-то теплой водой... Она... балованная у меня... А то ведь вам не скажи...

И снова бабушку успокаивали и требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы. Но она все равно все время говорила, беспокоилась и волновалась, потому что иначе, видно, жить не умела.

Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с нею про болезнь, а про штаны старался не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно.

— Что же за болезнь такая у тебя, бабушка? — как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели.

Она, худая, костистая, с тряпочками в посекшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе:

— Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была да своих десятину подняла... Это легко только сказать. А вырастить?!..

Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, а потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились — радость. Бо-

лели дети, но она их травками да кореньями спасала и не помер ни один — тоже радость. Обновка себе или детям — радость. Урожай на хлеб хороший — радость. Рыбалка была добычливой — радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила. Страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала, и косоручкой не сделалась — это ли не радость?

Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были папа и мама, глядел на ее большие, рабочие руки в жилках, на морщинистое с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, как вода в осеннем пруду, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки, в разные стороны — и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что тыкался я лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась.

— Видишь вот, и не сшила я тебе штаны к празднику, — гладила меня по голове и каялась бабушка. — Обнадежила и не сшила...

— Сошьешь еще, некуда спешить-то.

— Да уж дай только бог подняться...

И она сдержала свое слово. Только начала ходить и сразу же взялась кроить мне штаны. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове:

— О господи прости, что это со мною? Чисто с угару!

Но все-таки меряла хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня, раза два поддала уж, чтоб я не вертелся лишку, отчего мне весело сделалось. Ведь это ж верный признак возвращения бабушки к настоящей жизни и полного ее выздоровления.

Кроила штаны бабушка почти целый день, а шить их принялась назавтра.

Надо ли говорить о том, как я плохо спал ночь. Поднялся до свету, и бабушка, кряхтя и ругаясь, тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась, а перешла на свою походную постель, поближе к кухне и к русской печи.

Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными цветками на корпусе. Они проступали отдельными завитушками и напоминали гремучих огненных змей. Бабушка называла машинку «Зигнер» и уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с

удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменяла эту машинку у ссыльных на пристани городской за годовалую нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку эту, совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос — ссыльные ведь!

Стрекочет машинка «Зигнер». Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, и вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается — так крутится. И кажется мне — сейчас машинка все штаны сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит и остепенит машинку, укротит ее, а когда остановится машинка, зубом нитку перекусит, на грудь прикинет материю и внимательно посмотрит, так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получается.

Я в этот день не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все больше основы и нравились мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог, а на вопросы бабушки, не давит ли тут и не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенным голосом издавал:

— Н-не-е-е!

— Ты только не ври мне, потом поздно будет поправлять, — наставляла меня бабушка.

— Правда-правда, — подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась и не отложила бы работу.

Особенно сосредоточенна и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи, — все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить — штаны до срока сопреют и «петушок» на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе «петушка», и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по загривку.

Так без обеда мы с ней проработали до самых сумерек — это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда.

Когда солнце ушло за поскотину и коснулось верхних увалов, бабушка заторопилась — вот, мол, коров пригонят, а она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне желательней был бы карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, еще раз прикинула штаны себе на грудь, выдернула нитку, свернула их, огладила на животе рукою:

— Ну, слава богу. Пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью.

В это время на улице забренчали ботала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку и ничего бы не трогал.

Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать. А бабушка все не шла и не шла.

Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости.

На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стиранная беленькая рубашка в полоску, а рядом с кроватью распространяли запах горелой березы починенные сапожником Жеребцовым сапоги мои, намазанные дегтем, с желтыми, совершенно новыми союзками.

Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького, и я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя.

— Ну вот, — сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась: — Видела бы мать-то твоя, покойница....

Я хмуро потупился. Бабушка прекратила причитания, прижала меня к себе и перекрестила.

— Ешь и ступай к дедушке на заимку.

— Один, баба?

— Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой! Мужик!

— Ой, бабонька! — От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою.

— Ладно уж, ладно, — легонько отстранила меня бабушка. — Ишь, Лиса Патрикеевна, всегда бы такой был ласковый да хороший...

* *

Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие постряпушки для деда, я вышел со двора, когда солнце уже было высоко и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Первонаперво я завернул к соседям и поверг своим видом левонтьевское семейство в такое смятение, что в содомной избе вдруг наступила

небывалая тишина и он сделался, этот дом, сам на себя не похож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове которому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки, затутышкала, а сама не сводила с меня глаз.

Танька рядом со мной оказалась, все ребята окружили меня, щупали материю и восхищались, а Танька залезла в карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любуется и на какую недосягаемую высоту вознесся я.

Затискали меня, затормошили, и я вынужден был вырываться и следить, чтоб меня не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шаньги — гостинец дедушке. Тут ведь только зевни.

Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька левонтьевский на нашей заимке — помогал дедушке в пашенных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уж по два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя поначалу предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума и пути из него не будет, а после удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом.

Тетка Васеня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтоб слушался дедушку Илью и не утонул бы в Мане, если вздумает купаться.

К огорчению моему, в этот предполуденный час народу на улице было очень мало, деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на Ману промышлять маралов — панты у них сейчас в ценной поре, а уж надвигался сенокос и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку женщины и, конечно, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. Вот встречь семенит тетка Авдотья, бабушкина свояченица. Я иду, насвистываю. Мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она сворачивает на сторону, и вижу я ее изумление, вижу, как она разводит руками, и слышу слова, которые лучше всякой музыки:

— Тошно мне! Да это уж не Витька ли Катеринин?

«Конечно, я! Конечно, я!» — хочется надоумить мне тетку Авдотью, но я сдерживаю свой порыв и только замедляю шаги свои. Тут тетка Авдотья бьет себя по юбке, в три прыжка настигает меня, начинает ощупывать, оглаживать и говорит всякие хорошие слова. В домах распахиваются окна, выглядывают бабы и старухи деревен-

ские, и все меня хвалят и говорят про бабушку и про всех наших хвалебное, вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай бог иным родителям водить своих детей, и чтоб бабушку я почитал за это, слушался бы и, коли вырасту, так не забывал бы добра ее.

Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом, и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уж в поту был я, когда вышел за околицу.

Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся уж было этим занятием, да вовремя вспомнил, куда иду я, зачем и в каком виде! Да и путь не близок — пять верст! Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтоб не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким ходит всегда дедушка.

От займища начинался большой лес. Доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля которым выпала расти по соседству с селом и потому обломанные зимою на голики, остались уже позади.

Ровный осинник с полным уже, чуть буроватым листом густо взнимался по косогору. Ввысь вилась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены вешними потоками. Слева от дороги был распадок, и в нем темнел ельник, а в гуще его глухо шумел засыпающий на лето поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять уже начал, а вот выполз на дорогу камешков поклевать и теплой пылью выбить из себя вошей и блошек. Баня ему тут! Сидел бы смирно в чаще, а то на свету сожрет его, старого дурака, рысь.

У меня сбилось дыхание — уж больно бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал — много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой и бабушкой, и с Кольчей-младшим, и с разными другими людьми.

И все же видел и слышал я все будто заново, должно быть, оттого, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже и могутней, лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака, над горами плывущие.

Я вспомнил, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-

младший всегда запевал одну и ту же песню, и конь замедлял шаги и вроде бы осторожно ставил копыта, чтоб не помешать человеку петь. И сам наш конь уже там, на исходе горы, вдруг встревал в песню, пускал по всем горам и перевалам свое «и-го-го-о-о-о-о», но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку, дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог, очень уж все тут славно и седоки вы приятные — не хлещете меня и песни поете.

Затягиваю я песню Кольчи-младшего про природного пахаря и слышу, как по распадку мячиком катится и подпрыгивает меж каменных осыпей мой голос, смешно повторяя: «Ха-халь!»

Так, с песнею я одолел гору. Сделалось светлее. Солнца все прибавлялось и прибавлялось. Лес редел, и камней на дороге попадалось больше, и крупнее они были, а потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, то вся опушка палом горела, захлестнутая жарками.

Наверху, по горам, начались наши деревенские поля. Сначала они были рыжевато-черны, и лишь кое-где мышасто серели на них всходы картошек да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, широкие сибирские межи, оставленные людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли поля друг от друга и, как берега рек, не давали им слиться вместе и сделаться морем.

Дорога здесь взялась травою — гусиной лапкой, совсем неугнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтоб засветить свою серенькую свечку, и всякая травка тут зеленела и радовалась, не задыхаясь дорожной пылью. Обочь дороги, в чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, росло крупно, буйствовало яростно. Пучки-кулыри и морковники силились пойти в дудку, а жарки тут на солнцепеке уж сорили по ветру искрами лепестков, сморенно повисли водосборы-колокольчики в предчувствии летней, гибельной для них, жары. На смену этим цветкам из межевого чащобника взнялись саранки, стояли уже в продолговатых бутончиках, подернутых шерсткой, как инеем, и ждали своего часа, чтобы развесить по окраинам полей красные, лиловые и пестрые серьги.

Вот и Королев лог. В нем еще стояла грязная лужа, и я хотел было промчаться по ней так, чтобы брызнуло в разные стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину, испятнанную копытами скота, лапками птиц и зверушек.

Из лога вылетел я на рысях и, пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел.

Поле, ровно уходящее к горизонту, а середь поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, унывает дорога, быстро иссякает в нем, а над дорогой летит себе и чиликает ласточка...

А-а, вспомнил! Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я еще очень смотрел на эту картину, и учитель спросил: «Нравится?» Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал ее знаменитый русский художник Шишкин, и я подумал, что он, поди, много кедровых шишек съел.

Я подошел к одной, самой толстой лиственнице и задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и соколок, приютившийся на вершине дерева меж черных, словно обгорелых, прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было гнездо, свитое в развилке меж толстым суком и стволом. Однажды Санька хотел разорить это гнездо, долез до него, собрался уж широкозевых ястребят выкинуть, но тут ястребиха как закричала, как налетела, как начала хлопать Саньку крыльями, клювом долбить, когтями рвать — не удержался Санька, отпустился. Был бы Саньке карачун, да наделся он рубахой на сук, и ладно швы у холщовой рубахи крепкие оказались, удержали его. Сняли мужики Саньку, наподдавали, конечно, а у Саньки оттого красные глаза теперь, говорят — кровь налилась.

Дерево — это целый мир! В стволе его дырки, продолбленные дятлами, и в каждой дырке кто-нибудь живет и трюкает, то жук какой, то птичка, то ящерка. В травке и в сплетении корней позапрятаны гнезда. Мышиные и сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу. Есть тут шипица колючая, есть заморенная елочка, и круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным, соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать, да корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под нею огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно б давно уже умерло, а это еще живет, трудно, с маятою, но живет, добывает опаханными корнями пропитание из земли и еще дает приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности.

Я залезаю в угольное нутро лиственницы, сажусь на твердый, как камень, гриб-губу, выперший из прелого ствола. В дереве утробно гудит, поскрипывает. Чудится — жалуется оно мне деревян-

ным, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли. Я вылез из черного дупла и притронулся к стволу дерева, покрытому кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубами, зажившими и незаживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже сил и соков.

«Ой, сажа! Ну и растяпа!» Но гарь выветрилась, и дупло не марается. Чуть только на локте одном и на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно пошел к дороге.

Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в дупле лиственницы. Я теперь знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать нутряным, безутешным голосом.

От лиственницы этой до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я наддал шагу, и вот уж дорога пошла под уклон меж двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и в Ману. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно уж собирался посмотреть на все это с горы, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы.

Здесь, на гриве Манской горы, сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами. Как руки у старых людей, были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая. И все кустарники были сухи, ершисты и зацеписты. Но здесь же случались ровные березнички и осинники чистые, тонкие, наперегонки идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. К пеньям и валежинам жалась земляница с пупырышками зеленых, в налив идущих ягод, костяника, трава-резун и цветы. В одном месте я натакался на заросль темно-зеленых стародубов, напластал их беремя и вот иду и слышу, как пахнет от них прелью тайги, да еще пещерой, да еще сеном, да еще семенем полыни, да еще сказками пахнет, теми сказками, какие мне иной раз бабушка сказывает, если в хорошем она настроении и время у нее выкроится.

Над обрывом, где уже не было совсем деревьев, а только шипица росла, рыжий мох да выводки горной репы пятнали каменья, я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги, потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи, а змей боялся я больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, не моргал даже, только смотрел и смотрел, и сердце мое билось в груди гулко и часто.

Впервые видел я сверху слияние двух больших рек — Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а, встретившись, текут по отдельности и делают вид, что и не интересуются

одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светел тоже. Белесым швом, как волнорезом, все шире растекающимся, определена граница двух вод.

Енисей поплескивает, поталкивает Ману в бок, заигрывает будто и вдруг прижимает ее в угол Манского быка, как наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но уже поздно — бык отвесен и высок. Енисей напорист и силен — у него не забрыкаешься.

Еще одна река покорена. Сыто заурчав под быком, Енисей бежит к студеному морю-океану, бунтующий, неукротимый, все сметающий на пути. И что ему Мана? Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собою в студеные, полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется мне посмотреть родную реку совсем иную, разливисто-пойменную, утомленную долгой дорогою.

А пока я смотрю и смотрю на реки, на горы на леса. Стрелка на стыке Маны с Енисеем скалиста, обрывиста. Коренная вода еще не спала и бечевка осыпистого бережка еще затоплена. Скалы на той стороне в воде стоят, и где начинается скала, а где ее отражение, отсюда не разберешь. Под скалами полосы. Теребит, скручивает воду рыльями камней-опрядышей.

Но зато сколько простора наверху, над Маной-рекою! На стрелке каменное темечко, дальше вразброс кучатся останцы, а еще дальше уж порядок начинается. Увалисто, волнами уходят горы ввысь от бестолочи ущелий, шумных речек и ключей. Там, вверху, остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно-густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес.

Загадочно, недосягаемо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутковато. Меж ними петляет, ревет и гремит на порогах да на шиверах Мана-река.

Мана! О ней у нас говорят беспрестанно. Она — кормилица: пашни наши здесь, и промысел надежный тоже на этой реке. Много на Мане зверя, дичи, рыбы! Много порогов, россох, гор, речек с завлекательными названиями: Каракуш, Нагалка, Бежать, Миля, Кандынка, Тыхты, Негнет.

И как разумно поступила дикая река Мана! Перед устьем взяла и круто влево свалилась, к скалистой стрелке. Здесь вот, внизу подо мною, оставила пологий угол наносной земли. В этом углу пашни. Дома на берегу Маны, а поля здесь. Они упираются сзади в горы и справа, где я стою, тоже в горы, а точнее, в Манскую речку, которая ровно бы отчертила границу дозволенного и гору не пускает через себя, но и поля тоже. Дальше заимок, туда, к изгибу Маны, за которым белеет утес, уже холмисто, там лес растет и на

приволье много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубают леторосные всходы, оставляют только те деревья, с которыми совладать не могут. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни.

Упорные люди работают на этой земле!

Я отыскиваю взглядом нашу заимку. Найти ее не трудно. Она — дальняя. Каждая заимка — это повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Так же срублен дом, так же загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же, но все — и дом, и двор, и окна, и печь внутри — меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стаек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, а по хворосту соломой.

За нашей заимкой тропинка змеится по каменистому бычку, всегда мокрому от плесени, мхом покрытому. Из бычка в щель выбуривает ключ, а над ключом растет кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни дерев прищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом есть захотелось.

Но я никак не могу уйти, никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали, не могу пока еще постигнуть умом своим необъятность мира.

Не дальше как зимою вернется мой отец из краев не столь отдаленных, как ныне принято говорить, и увезет меня вверх по этой вот Мане-реке, в те заманчивые дали, с новою семьею своей; и хвачу я там такого лиха, хлебну столько мурцовки, этой несладкой, изгоняющей слабость еды, что уж никогда не забуду ни Ману, ни время, которое я жил с бабушкой и дедушкой.

Но ничего этого я пока еще не ведаю, пока я свободен и радостен, как благополучно перезимовавший воробей. И оттого я вдруг ору миру этому, земле этой, Мане-реке, Енисею. Чего ору, не понимаю. Затем почти кубарем скатываюсь с горы, и за мною с обвальным лязгом течет поток серого каменного плитняка. Обгоняя поток, подскакивают круглые булыжины и вместе со мною ухают в напуганно бегущую Манскую речку.

Поплыло беремя духовитых стародубов, узелок с постряпушками поплыл, но на меня резвость напала — я бегаю по холодной речке с хохотом, ловлю узелок, ловлю цветы и вдруг останавливаюсь:

— Сапоги-то!

Я еще стою и смотрю, как выше моих сапог бежит и завихряет-

ся речка и как мелькают в воде, ровно живые рыбки, желто-красные союзки на моих сапогах.

«Растяпа! Недоумок! Штаны замочил! Сапоги замочил! Новые штаны!»

Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда одежда моя, наряд мой высохнет.

* *

Долог, утомителен был путь из села. Мгновенно и совершенно незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше — смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем. Они сморщились и потеряли форс. Но я поплевал на руки, разгладил штаны, надел, еще разгладил, обулся и побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною.

Деда в избе не было, и Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол и отправился во двор.

Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корытце папухи табаку. Старенькая, латанная на локтях рубаха была выпущена у него из штанов и вздрагивала на спине. Шея у дедушки засмолена солнцем, ровно не шея это, а высохшая глина в трещинах. Сероватые от старости волосы спускались висюльками на коричневую шею, а на крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у коня, лопатки.

Я загладил ладошкой волосы набок, подтянул шелковый с кисточками поясок на животе и враз осипшим голосом позвал:

— Деда!

Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, а потом поднялся, вытер руки о подол рубахи, прижал меня к себе. Липкою от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутулился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанной табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и хотелось чихать. Будто котенка, дед оглаживал меня, и я не шевелился.

Приехал Санька верхом на коне, загорелый, подстриженный дедушкой, в заштопанных штанах и рубахе, как я догадался по размашистой стежке — тоже починенных дедушкой.

Санька есть Санька. Только загнал коня, еще и здравствуй не сказал, а уж огорошил меня ехидством:

— Монах в новых штанах! — Он и еще добавить чего-то хотел, да попридержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет. Потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке — сам-то сроду не нашивал новых штанов, а сапоги, да еще с такими союзками, и во сне ему не снились.

Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели драчену — мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харюзов и сорожек жареных — Санька вечером надергал. А потом пили чай с бабушкиными подмоченными постряпушками.

— Плавал на шаньгах-то? — полюбопытствовал Санька.

Дед ничего не спрашивал, и потому я сказал Саньке:

— Плавал!

После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил стародубы, и они, было уже никшие, скоро поднялись, закурчавились густой зеленью. Солнечными бликами сверкнули желтые, сорящие пыльцою, цветы стародубов.

— Хы! Как ровно девчонка! — снова взялся ехидничать Санька.

Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его:

— Не цепляй парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысел есть, значенье свое, нам непонятное. Вот.

Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся, а Санька примолк сразу. То-то, брат! Это тебе не с теткой Васеней зубатиться либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка!

Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил:

— Овод схлынет, пасти погоним. Сапоги-то и штаны сыми потом.

Мы вышли во двор, и я спросил у Саньки:

— Что-то сегодня деда такой разговорчивый?

— Не знаю, — пожал плечами Санька. — Обрадел, должно, при таком расфуфыренном внуке. — Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными, сорожьими глазами на меня, спросил: — Чё будем делать, монах в новых штанах?

— Додразнишься — уйду.

— Ладно-ладно, обидчивый какой! Понарошке ведь.

Мы побежали в поле, и Санька показывал мне, где он боронил, и сказал, что дедушка Илья учил его уже пахать, и еще добавил, что школу он бросит совсем и, как поднатореет пахать, станет зарабатывать деньги и купит себе штаны не трековые, а суконные.

Эти слова окончательно убедили меня — заело Саньку. Но что дальше последует, не догадывался, потому что простофилей был, простофилей и остался.

За полосою густо идущего в рост овса, возле дороги была продолговатая бочажина. В ней уж почти не осталось воды. По краям гладкая и черная, как вар, грязища паутиной трещин покрылась, а в середине возле лужицы, с ладошку величиной, сидела большая лягуша в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и в Манской речке вода быстрая — опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко — пропадешь, пока допрыгаешь.

Лягушка вдруг сиганула в сторону и шлепнулась у моих ног. Это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины о об лопух вытер ноги.

— А тебе слабо!

— Мне-е? Слабо-о? — запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду, и не перечесть, сколько имел через это неприятностей и бед со всякими последствиями. «Не-е, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше!»

— Цветочки только рвать! — зудил Санька.

«Цветочки! Ну и что! Что ли, это худо? Вон дед-то говорил как...»

Но тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые цветочки рвут и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелось — пропасть. На пашне старики, бабы да ребятишки управляются. А мужики все на Мане из ружей палят да рыбачат, еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки с базара привозят в подарок женам. Из стружек цветочки — синие, красные, белые — шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы богам цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать —этого мужики никогда не делают и детей своих сызмальства приучают звать придурками людей вроде Васи-поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцова и всяких других самоходов и приблудных людей, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла.

Вот и Санька туда же! Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, рабо-о-отник! А я, значит, так себе! Придурок, значит? Размазня?

Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины. В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуша, я разом, с отчетливой ясностью понял — снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз, другой, но увидел

Санькины разлапистые следы от лужицы вовсе в стороне — дрожь по мне пошла.

Съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, как у пьянчужки, глазами, я сказал:

— Гад!

Сказал и перестал бороться.

Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки:

— А-а-а, вляпался. А-га-га-а, дохвастался! А-га-га-а, монах в новых штанах! Штаны-то ха-ха-ха! Сапоги-то хо-хо-хо!..

Я сжимал кулаки и кусал губы, чтоб не заплакать. Знал я — Санька только того и ждет, чтоб я расклеился, расхныкался, и он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку.

Ногам было холодно, меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтоб Санька вытаскивал меня, и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием.

— Скажи: «Миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа!» Я, может, и выволоку тебя! — предложил Санька.

— Нет!

— Ах, нет? Сиди тоды до завтрева.

Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку какую-нибудь. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, дескать, последнее пристанище отбили, злыдни.

— Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди! Уйди! Уйди! — закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи.

Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажиной, на меже шевельнулись листья белены — Санька в них спрятался. Из ямины мне видно только белену эту, репейника вершинку, да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью, и никакой бочажины не знал, и никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду?

Санька вылез из бурьяна, видно, осы его выгнали, а может, терпенья не хватило. Жрет какую-то траву. Пучку, должно быть. Он всегда жует чего-нибудь — живоглот пузатый!

— Так и будем сидеть?

— Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели.

Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится.

— Но ты, падина! — прикрикивает он на меня и быстро стягивает с себя штаны: —Упади только!

Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода и качает от усталости.

— Безголовая кляча! — лезет в грязь и ругается Санька. — Сколько я его надувал! Как только ни надувал, а он все одно надувается! — Санька пробует подобраться ко мне с одной, с другой стороны — не получается. Вязко. Наконец приблизился, заорал: — Руку давай! Давай! Уйду ведь! Взаправду уйду. Пропадешь тут вместе со своими новыми штанами!..

Я не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул, но сам, как кол в мягкую землю, пошел в глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его быстро затягивало черной жижей, пузыри возникали в следах, но тут же с шипом и бульканьем лопались.

Санька на берегу. Глядит на меня, испуганно молчит. А я гляжу мимо него. Ноги мои совсем подламываются, грязь мне кажется мягкой постелью. Хочется опуститься в нее. Но я еще живой до пояса и маленько могу соображать — упаду, захлебнуться могу.

— Эй ты, чё молчишь? — спрашивает шепотом Санька.

Я ничего ему на это не отвечаю.

— Эй, дундук! У тя язык отнялся?

— Иди за дедушкой, гадина! — цежу я сквозь зубы. — Упаду ведь я сейчас.

Санька завыл, заругался, как пьяный мужик, матерно и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли. Дальше меня не засасывало. Я, должно быть, достиг ногами твердого каменистого грунта, а может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни силенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть.

— Иди за дедушкой, гад!

Санька, стуча зубами, надевал штаны прямо на грязные ноги.

— Миленький, не падай! — кричал он не своим голосом и помчался к заимке. — Не па-да-ай-ай, миленький... Не пада-а-а-да-ай!..

Слова у него с лаем вырывались, с гавканьем каким-то. Видно, заревел Санька с испуга. Так ему и надо! От злости во мне вроде сил прибавилось. Я поднял голову и увидел: с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальниками, в речке. Пьют, должно быть, или умываются. Там всегда и все умываются в жару. Такая уж речка — журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах.

А может, отдыхать сели? Тогда пропащее дело. Но из-за бугра появляется голова в белом платке, даже сначала один только бе-

лый платок, а потом лоб, а потом лицо, а потом уж и другого человека видно становится — это девчонка. Кто же это идет-то? Кто? Да идите же вы скорее!..

Я не свожу взгляда с двух людей, разморенно идущих по дороге. По походке ли, по платку ли, по жесту ли руки, указывающей девчонке прямо на меня, а скорее всего на поле за бочажиной, узнал я бабушку.

— Ба-абонька! Миленька-а-а!.. Ой, бабонька-а-а! — заревел я, повалился в грязь и больше уж ничего не видел.

Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белены не видно, даже и лягуха упрыгала куда-то.

— Ба-а-аба-а! Ба-абонька-а! Тону я! Ой, тону-у-у!

— Тошно мне, тошнехонько! Ой чуяло мое сердце! Как тебя, аспида, занесло туда? — услышал я над собой крик бабушки. — Ой не зря сосало под ложечкой!.. Да кто же это тебя надоумил-то? Ой скорее!

И еще дошли до меня слова, задумчиво и осудительно сказанные голосом Таньки левонтьевской:

— Ус не лесаки ли тебя туды затассили?!

Шлепнула доска, другая, и я почувствовал, как меня подхватили и, ровно бы ржавый гвоздь из бревна, медленно потянули. Я слышал, как с меня снимались сапоги, хотел крикнуть об этом бабушке, но не успел. Дед выдернул меня из сапог, из грязи. С трудом вытягивая ноги, он пятился к берегу.

— Обутки-то! Сапоги-то! — показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырях и плесневой зелени.

Безнадежно махнул рукой дед, поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. А бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь и торжествующе, ровно бы доказывая кому-то, кричала:

— Не-ет. Сердце мое не омманешь! Токо кровопивец этот за порог, а у меня уж так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куды смотрел? Где ты был? А если бы загинул ребенок?

— Не загинул же...

Я лежал, уткнувшись носом в траву и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ноги ладонями, а Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась вперебой с бабушкой:

— Ох, каторжанец Шанька! Я папке Левонтию вшо-о рашшкажу, — и грозила пальцем вдаль.

Я глянул, куда она грозила, и заметил клубящуюся уже возле заимки пыль — Санька чесал во все лопатки к заимке, к реке, чтобы укрыться где-нибудь до лучших времен.

* *

Четвертый день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза за ночь настоем ветреницы, муравьиным маслом и еще чем-то едучим и вонючим. Ноги мои жгло теперь и щипало так, что впору завыть, но бабушка уверяла, что так оно и должно быть, значит, вылечиваются ноги-то, раз жжение и боль чуют, и рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она и какие ей за это благодарствия были.

Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводит Саньку из-под намеченного бабушкой возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное пасти скотину, то отсылал в лес с задельем каким-нибудь. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные, и дед только кряхтел да пуще дымил цигаркою, а я похихикивал в подушку да перемигивался с дедом.

Штаны мои бабушка выстирала, а сапоги мои так и остались в бочажине. Жалко сапоги. Штаны тоже не те уж, что были. Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом поблекли, увяли, как цветы-стародубы в кринке. «Эх, Санька, Санька!» — вздохнул я. Но почему-то мне уже Саньку жалко сделалось.

— Опять ревматизня донимает? — поднялась на приступок печки бабушка, заслышав вздох мой.

— Жарко тут.

— Жар кости не ломит. Терпи. А то обезножеешь, — а сама к окну, приложила руку, выглядывает. — И куда он этого супостата спровадил? Ты погляди-ко, матушка ты моя, они на меня союзом идут! Ну погодите, ну погодите!..

А тут еще курицу дед проворонил. Курица эта пестрая вот уж лета три норовила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы, купала пеструшку в холодной воде, хлестала ее веником и принуждала нести яйца. Хохлатка ж проявила упрямую самостоятельность, где-то втихую нанесла яиц и, не глядя на бабушкин запрет, схоронилась и высиживала потомство.

Ищет Саньку бабушка, ищет курицу и никак не найдет, а нас с дедом ей ругать уже не интересно.

Вечером вдруг засветилось в окне, замелькало, затрещало — это за ключом, на берегу реки шалаш, сделанный по весне охотниками, вспыхнул. Из шалаша с паническим кудахтаньем выпорхнула наша хохлатка и, не задевая земли, взлетела на избу, вся взъерошенная, клохчущая.

Началось дознание, и скоро выяснилось — это Санька унес табачку из корыта деда, покуривал в шалашике и заронил искру.

— Он так и заимку спалит, не моргнет, — шумела бабушка, но шумела уж как-то не очень грозно, должно быть, из-за курицы смягчилась.

Сегодня она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома. После обеда бабушка унеслась в село, дел, говорит, у нее там много накопилось. Но она это так говорит для отвода глаз — дел у нее, конечно, всегда хватает. Однако ж главное в том, что без народу она обходиться не может. Без нее в селе, как без командира на войне, — разброд и отсутствие дисциплины.

От тишины ли, оттого ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся уж на закате дня, весь светлый и облегченный. Свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой кринке с отбитым краем полыхал огромный букет алых саранок с загнутыми лепестками.

Лето! Совсем уж полное лето пришло!

У притолоки Санька стоял, на меня поглядывал, на пол слюной цыркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много.

— Откусить серы?

— Откуси.

Санька откусил шматок коричневой серы. Я тоже принялся жевать ее с прищелком.

— Хорошая сера! Лиственницу со сплава к берегу прибило — я и наколупал. — Санька цыркнул слюной от печки и аж до окна. Я тоже цыркнул, но мне на грудь угодило.

— Болят ноги-то?

— Не-е. Совсем чуточку. Я уж завтра побегу.

— Харюз хорошо стал брать на паута и на таракана тоже. Скоро на кобылку пойдет.

— Возьмешь меня?

— Так и отпустила тебя Катерина Петровна!

— Ее ж нету!

— Припрется!

— Я отпрошусь.

— Ну, если отпросишься — другое дело. — Санька обернулся назад, ровно бы принюхался, затем подлез к моему уху: — Курить будешь? Вот! Я у дедушки твово утянул. — Он показывает горсть табаку, бумаги клок и обломок от спичечного коробка. — Курить мирово. Слышал — нет, как я вчерась салаш подпалил? Курица оттеда турманом летела! Умора! Катерина Петровна крестится: «Восподь, спаси! Христос, спаси!» Умора!

— Ох, Санька, Санька, — совсем уж все прощая ему, повторил я бабушкины слова. — Не сносить тебе головы отчаянной!..

— Ништя-ак! — с облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку.

Я смотрел на нежно алеющие кольца саранок, на тычинки их вроде молоточков, высунувшиеся из цветков, слушал, как на чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит-говорит и вскрикнет, как тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются.

Во дворе дедушка потюкивает топором да покашливает. За частоколом палисадника голубой лоскут реки виден. Я надеваю свои, теперь уже обжитые, привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться.

— Куда ты? — строго погрозил пальцем Санька. — Нельзя! Бабушка Катерина не велела!

Ничего я не ответил ему, а подошел к столу и дотронулся рукой до раскаленных, но не обжигающих руку, саранок.

— Мотри, бабушка зáругается. Ишь, поднялся! Храбёр! — бормотал Санька. Отвлекает меня Санька, зубы заговаривает. — Потом опять хворать будешь...

— Какой дедушка добрый, саранок мне нарвал, — помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный таким исходом дела.

Я медленно выбрался на улицу, на солнце. Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом отложил топор, которым обтесывал литовище. Он посмотрел на меня, как всегда, по-своему, мягко, ласково. Санька скребком чистил нашего Ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал кожей, дрыгал ногой.

— Н-но-о, ты, попляши у меня! — прикрикнул на мерина Санька и подмигнул мне покровительственно.

Как тепло вокруг, зелено, шумно и весело! Стрижи над речкой кружатся, падают встречь своей тени на воду. Плишки почиликивают, осы гудят, бревна вперегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться — Лидии-купальницы наступят. Может, и мне дозволят купаться, лихорадка-то не возвернулась, чуть-чуть только голову кружит да ноги малость ломит. Ну, а не разрешат, так я потихоньку выкупаюсь. С Санькой умотаю на реку и выкупаюсь.

Мы с Санькой повели Ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги скамейкой и тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздьем копытами. А в воду забрел сам, остановился, тронул дряблыми губами отражение

в воде, будто поцеловался с таким же старым, пегим конем, и отряхнулся.

Мы брызгали на него воду, скребли голиком прогнутую, трудовыми мозолями покрытую спину и загривок. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме и переступал ногами. В воде сновали стайками пескари, собравшиеся на муть.

На бычке стоял дед в выпущенной рубахе, босой, и ветерок трепал его волосы, шевелил бороду и полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой, раздвоенной груди. И напоминал дед богатыря российского, во времена похода сделавшего передышку — остановился посмотреть родную землю, подышать ее целительным воздухом. Хорошо-то как! Ястреб купается. Дед на каменном бычке стоит, забылся, лето в шуме, суете и нескучных хлопотах подкатило. Каждая пичуга, каждая мошка, блошка и муравьишко заняты делом. Ягоды вот-вот пойдут, потом грибы, потом картошка поспеет, хлеб, огородина всякая из гряд попрет — можно жить на этом свете! И шут с ними, со штанами, и с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.

НОЧЬ ТЕМНАЯ-ТЕМНАЯ

Рыбачить я начал рано, на пятом году. Возле реки всегда сидело полно ребятишек с удочками, и я глядел на них, завидовал. Иной раз мне давали подержать удочку, а то поручали уцепить на прут выуженного ерша, пескаришку или поплевать на червяка, вздетого на крючок.

Пристал я к бабушке, чтобы и мне удочку соорудили. Она сначала и слышать ничего не хотела, но я так прилип к ней, так ей надоел, что она плюнула, привязала к палке кудельную нитку, вместо грузила ржавый гвоздь на конец узлом прихватила червяка.

— На, отвяжись!

— А крючок где-е?

— Какой тебе крючок? У хорошего рыбака и так клюнет.

Бабушка вытолкала меня за ворота, наказала левонтьевским

ребятам, чтобы досматривали за мной, и я подался за деревню гордый и взволнованный.

Сидел я на яру, спустив ноги, и пяткой упирался в стрижиную норку. Стриж налетал на меня, просился домой и мешал мне рыбачить.

У ребят удочки длинные, лески длинней того, а моя удочка даже до дна не доставала. Смеялись надо мной ребята. «Тяни! — кричали, — дергай! Вон как клюет! Деребанит!»

Я терпел и ждал. И дождался. Леска моя задрожала, задрожала, а потом ее в сторону повело. Я сначала обомлел и подвижности лишился. Затем хватил удочку, и через голову на яр бросил. На конце лески мелькнуло что-то, в траве зашевелилось, запрыгало.

Сгреб я палку, леску, гвоздь и рыбину да дуй не стой по улице.

— Добыл! Добыл! — вопил я на всю деревню, а когда во двор ворвался, бабушка мчалась навстречу мне ни жива ни мертва.

Я слова не мог сказать. Смотрел на бабушку, смеялся и приплясывал.

— Тошно мне! Я уж думала: чего стряслось? Ну, чего добыл-то? — И протянула было руку, но тут же брезгливо скривилась лицом: — Батюшки мои! Пищуженец! Выбрось его, выбрось!

— Как выбрось? Рыба ж! Клевала ж! Вон как она леску-то...

Я разжал ладонь. В руке, еще живая, головастая скользкая пучеглазая рыбешка, ну прямо черт и черт водяной. Но меня это не удручало.

— Пищуженца поймал! Пищуженца поймал! — прыгал я и рассказывал всем подряд, как он клюнул, как я дернул...

Пищуженца, иначе говоря пищугу, в литературе подкаменщиком именуют, а вообще пресноводный бычок это. На Урале его зовут абакшей, а чаще и совсем непечатно. Рыбу эту, сколь мне известно, нигде по доброй воле не едят. Уж очень она отвратна на вид. Зато пищуженец ест что попало и когда попало. Вот и позарился он на моего червяка и заглотил вместе с узлом. А самого пищуженца отыскал во дворе бабушкин красный петух и «заклевал»... Потом он бегал по двору с леской во рту, пытался орать и волочил мою удочку. Петух затащил удочку в жалицу, порвал ее там, и я опять остался ни с чем.

Бабушка потешалась надо мной, разозлила меня, пробудила рыбацкое упрямство и предприимчивость. Я три дня подряд распутывал старый животник у рыбака Ксенофонта, полол гряды в его запущенном огороде, и за это он сотворил мне удочку с настоящим крючком, со свинцовым грузилом и даже с поплавком из пробки.

С этого началась моя рыбацкая жизнь и кончился бабушкин покой. Я норовил все дальше и дальше убредать от села, потому как думал — чем дальше, тем рыбы больше, и когда однажды потихоньку утянулся на мельницу и зарыбачил под плотиной пару хариусов, вышло у нас с бабушкой столкновение. Она хотела поломать мою удочку, а я не давал. Рев и вой был на весь двор. Удочку я спас, а Ксенофонта бабушка ходила проклинать. Он ухмылялся в бороду и сказал, как отрубил:

— Не ори! И не свирепствуй! Раз его заманула река, то уж обратно не доревешься.

Однако таскать пескарей, сорожин и ельчишек мне скоро прискучило. Захотелось на настоящую ночную рыбалку — поналимничать.

Налима на Енисее зовут поселенцем. Ничего оскорбительного в этом прозвище нет, скорее этакое усмешливое похлопывание по купецкому пузу поселенца.

Уха из налима в нашем селе почитается пуще всякой другой, хотя чалдоны в рыбе толк знают и чего с чем есть — очень даже хорошо разбираются. Говорят, что для налима в верховьях Енисея особый нагул. Уже в низовьях он не тот, суховат он там, тиной припахивает. В других же местностях России налим вовсе не в почете, им даже брезгуют и рассказывают об этом водяном буржуе всякую неприличность.

Зимою наши рыбаки ловили налима заездками — мордами, опущенными под лед среди зàгороди, а по весне — на уды и животники.

Какое это было счастье, когда брали меня мужики с собою налимничать! Да брали-то неохотно. Холодны еще весенние ночи, вода высокая — смоет малого рыбака с берега, унесет и отвечай потом за него перед бабушкой и дедушкой. Да и побаивались, кабы не сморился к утру рыбак, не захныкал бы от холода, домой бы не запросился в разгар утреннего клева.

Дядя Ваня, старший бабушкин сын, поступил работать на пикетный сплавной пост и стал брать меня и своего сына Кешу с собою на дежурство. Пикетный пост — рубленная из бревен будка с печкой и нарами располагалась на займище, верстах в полутора от села. На ночь дядя Ваня и Кеша ставили животники с берега, я помогал им, и за труды иной раз кидали они мне налимишка.

Дядя Ваня унюхал, что при мне налимы будто бы попадаются лучше, и впал в суеверие. А после того как брат дедушкин Ксенофонт взял меня с собою на рыбалку и добыл удачно стерляди, я пошел нарасхват. Северные народы делают деревянного идола и ставят его в нос лодки. Я был живым идолом и шибко гордился тем, что способствую каким-то образом рыбачьему фарту. Бабушка уверяла, будто происходит подобное оттого, что на мою сиротскую долю бог обращает особое внимание и потому милостиво шлет рыбу в ловушки.

Никогда не забыть мне весенние ночи у пикетного поста!

Гудит Енисей, хлещет, ударяясь чуть повыше пикета в Манский бык, цепляется вода за каменные бычки, и сплавные бревна гулко бухают о каменья и боны. На берегу костерок, и весь мир живой вместился в него, а дальше темень, ночь, грозный рев реки. С грохотом и лязгом катятся камни в воду. Из распадков вырываются рычащие, взбесившиеся весенние речки. Иногда хрустнет, сломается и ахнет с подмытого берега сосна или в горах закричит, запричитает ночная птица так, что спину мою скоробит страхом. Но я жду, когда дядя Ваня и Кешка примутся смотреть животники. Бодрюсь и от всех нечистых сил спасаюсь огнем, пошевеливаю его.

На рассвете из будки выходил дядя Ваня, ежился, выгребал уголек из костра, прикуривал.

— Ты так и не ложился? Вроде налима и сам сделался. Н-ну, посмотрим, поглядим, чего ты тут наколдовал.

Тянут животники. Мне к воде подходить не велено. Раз моя мать утонула, теперь всем родным блазнится, что я тоже утону — мать призовет.

Плеск, возня, хлопанье рыбы, и к моим ногам падает брюхатый налим.

— Лови поселенца!

Налим изгибается колесом, пружинит, катится к воде. Я падаю на него, хватаю. Локти и коленки поразобью о камни, а тут еще летит налим, еще...

— Лови-и-и-и!

— Ловлю-у-у! Ага, попался который кусался!.. Ага-а-а!..

Счастья-то сколько, радости! Аж сердце занимается и вот-вот разорвется от полноты чувств.

Когда я подрос, мне не очень уж хотелось быть на подхвате, возмечталось самому наворочать налимов, если не лодку, то хотя бы две корзины, и удивить всех наших, особенно бабушку, которая шибко недовольная была пробудившейся во мне страстью и считала, что ревматизм я добыл именно в те ранние свои рыбацкие годы.

Кроме того, бабушка склонна была думать, что из того, кто стреляет и удит, ничего не будет, иначе говоря, не получится хозяина, и останусь я, как Ксенофонт, вечным бобылем и пролетарьей.

Словом, раз я такой везучий, то нечего пользоваться этим благом другим людям, думал я, надо самому за ум браться.

И я взялся. Саньку дяди Левонтия не стоило большого труда увлечь. Он вольный казак. Потруднее пришлось с Алешкой — он боялся бабушки. Но и Алешка, после того как я ему втолковал насчет острова, где налимов, что грязи, — тоже сдался. Ему отставать от меня не хотелось. Со мною Алешке интересней, чем с бабушкой.

Потихоньку, еще когда на Енисее были забереги, я утянул у бабушки клубок кудельных ниток, и мы под видом ремонта скворечников забрались в сарай и сучили толстые тетивы для животников. Крючками мы запаслись еще с зимы — выменяли в кооперативе на крысиные шкурки, добытые своими руками.

Утром забереги курились дымком, и несмело плавилась в них рыбешка. Долго, очень долго не трогался в ту весну Енисей, и рыбешка стосковалась по вольной воде. Мы пуляли камни в забереги и ждали, ждали.

Но вот прилетели плишки — расклевывать берега, как у нас говорят, и Енисей тронулся. Льдом своротило баню у Ефима-хохла. Ее сворачивало и ломало каждый год, но Ефим упрямо ставил баню на прежнее место. Поломало, как всегда, огороды над рекой, понатолкало льду на гряды, и он потом лежал на огородах белыми заплатами, рассыпался со звоном, и мы хрумкали тонкие сосульки, будто сахар. По берегам высокие гряды льда, дряхлеющего под солнцем. Теперь надо ждать, чтобы поднялась вода и унесла рыхлый лед, тогда и лодки спустят на реку, и налим начнет брать, как шальной.

Вода наконец-то поднялась, собрала и подчистила лед по берегам, затопила ложки и луговину ниже плотины. Заревел и помчал мутную воду охмелевший от короткого водополья Енисей-батюшко.

Лодки спустили, привязали их к баням и огородным столбам.

Забравши удочки, мы с Алешкой сделали вид, будто отправились удить к поскотине, и бабушка отпустила нас, не подозревая никакого тайного умысла. Спросила, правда:

— Это куда же вы таку прорву червей накопали? Всю рыбу заудить удумали?

— Всю! — ответил я многозначительно и подмигнул Алешке, который вникал в разговор с тревожным лицом, опасался, как бы бабушка не разгадала наш заговор.

Лодку мы отвязали худую, чтобы не так скоро хватились ее и ответственности было поменьше.

Остров против деревни, но вода высокая, стремительная, и нужно было подниматься почти до дяди Ваниного пикета, чтоб прибиться к острову, а не угодить под Караульный бык, где так крутило и ревело, что оборони бог оказаться там, — перетонем. Долго скреблись мы на веслах, пока поднялись выше деревни. До пикета плыть не решились — там, чего доброго, дядя Ваня изловит нас и застопорит.

Отдохнули, приткнувшись к берегу, вычерпали воду. Алешка все поглядывал на уютный бережок, по которому, качая хвостиками, бегали и играли серенькие плишки. Бережок с соснячком, с травкой, с выводками подснежников, медуницы и хохлаток, судя по всему, глянулся Алешке больше, чем остров, утюжком темнеющий за бурной, горбом выгнувшейся рекой. Алешке уже не хотелось на остров. Но Санька решительно взял весло:

— Ну, осподи баслови, как говорит бабушка Катерина! — И оттолкнул лодку от берега.

Мы с Алешкой сели на лопашни. Работали враз, проворно, чтоб угодить в пролет между сплавных бон.

Вот в таком же пролете не удержалась лодка, споткнулась об обшитую головку боны, опрокинулась и... у меня не стало матери.

Скорей, скорей в пролет, а там уж не так страшно. Стукают уключины лопашней, хлопает Санькино кормовое весло. Хоть бы ничего не случилось!

Головка боны близко, рядом. Хрипит и бьется на ней вода. Одавило головку, захлестывает ее.

Хоть бы ничего не случилось. Не лопнуло бы весло, не вывалилась бы уключина, не подвернуло бы лодку льдинами или бревнами. «Господи помилуй! Господи помилуй!» — повторял я про себя.

Прежде бабушка силком не могла заставить меня молиться, а тут я сам, без понужденья молился — приперло!

— Не мажь, не мажь по воде! — закричал Санька. Он яростно бил своим веслом, чтоб удержать лодку носом наповерх.

— Пор-р-рядок на корабеле! — возликовал он, когда бона осталась за лодкой и нас подхватило и вынесло на речной простор.

Кружилась, вскипала под лодкой густая от мути вода, гнала редкие льдины, швыряла их на боны. Лодку качало, подбрасывало, норовило развернуть и хряснуть обо что-нибудь.

Первый раз пересекали мы Енисей в ту пору, когда переплывать его и взрослые не все решались.

Остров с реки казался совсем близким. Затопленные кусты по берегам его качались, били по воде, и напоминал остров птицу хло-

пунца: бежит-бежит вверх по воде лохматая птица и никак не может подняться на крыло.

Силенок наших не хватило. Выдохлись мы и за остров не поймались. От ухвостья острова так отбойно шла вода, что развернуло нашу лодку и поволокло к Караульному быку. Санька судорожно пытался развернуть лодку носом встречь течению, остепенить ее, утихомирить, но она мчалась, задравши нос, как норовистая лошадь, и слушаться не хотела. Много натекло в лодку воды, отяжелела она.

— Алешка, таба-ань! — заорал Санька.

Но Алешка не слышал его, он молотил и молотил веслом по воде. Рот его был открыт, лицо побелело. Я перехватил Алешкино весло и мотнул головой на старое ведро, плававшее среди лодки. Алешка бросился отчерпывать воду, лодка шатнулась, черпнула бортом.

— Тиш-ш-ша! — рявкнул Санька, и Алешка ровно бы услышал его, застыл, а затем начал быстро выхлестывать воду.

Внизу мощно ревел Караульный бык. Разъяренная вода кипела под ним, катила в унорыш-пещеру, закручивалась воронками. В воронках веретеньями кружились бревна и исчезали куда-то. Серые льдины, желтую пену, щепки, корье, вырванные с корнем сосенки гоняло под быком. Сверху отваливались камни и бултыхались в воду. Рев нарастал. Лодка закачалась как-то безвольно и обреченно. Бык приближался, словно он был живой и мчался на нас, чтобы подмять лодку, расхряпать ее о каменную грудь и выбросить в реку щепье, заглотить в каменную пасть унорыша.

— Чего раз-зявил? Р-реби! — завизжал Санька, и я уже не силой, а страхом поднимал и бросал весла. Алешка все выхлестывал и выхлестывал воду. Лодка сделалась легче, поворотливей, и мы выбили ее из стрежня, выгреблись в затишек, сделанный ухвостьем острова. Лодку подхватило и понесло обратным течением к острову.

Я сложил весла и обернулся. Еще сажен сто, и нам бы несдобровать, нас унесло бы, прижало к быку, и половили бы мы рыбки, поналимничали.

— Пор-рядок на корабеле! — вяло сказал Санька и в изнеможении опустил весло. Руки его дрожали. Он посмотрел на них, пошевелил пальцами и веселей прибавил: — Закуривай, курачи!

Санька и в самом деле закурил. Махру закурил, украденную у отца, и выпустил большой клуб дыма ртом и ноздрями. Мы с уважением глядели на него.

Ухвостье острова было затоплено. Тальники и черемухи стояли в воде. Мы протолкнули лодку в кусты, спугнули с них крысу и

чуть было не поймали щуренка, прикемарившего на мели, в травке. Покос, что был за кустами, залило по краям, и он казался бережком.

— Вот и все! А ты, дура, боялась! — подмигнул нам Санька, ступив на землю, и вальнулся вверх ногами. Мы на него. Возню подняли. Шум. Смех. Свобода!

— Хватит! — прервал веселую возню Санька. — Солнце на закат скоро. Самый клев. Алешка, ты костер спроворь, обсушиться надо к ночи. — И он передал Алешке спички. — Ты багаж перетаскай, — приказал он мне, — и разбрось на остожье, а я животники разматывать возьмуся.

В лодке Санька завопил:

— Кто червей опрокинул?

Черви плавали по всей лодке, позалезали в щели досок и под поперечины. Долго мы выбирали червей, ругались, кляли Алешку, но он ничего не слышал, мучился с костром, пытался из наносного сырья развести огонь.

Червей уцелела горсть, остальных Алешка выхлестал за борт с водою. Санька дал мимоходом подзатыльник Алешке, и тот было полез в драку, но ему показали банку с мокрыми червяками, и он отступился.

Костер исходил удушливым белым дымом, но огня не было. Санька раздувал его и ругался:

— Помощники! Толку от вас!..

В кустах я нашел скрученную бересту, и огонь мы все же развели. Хлеб и соль в мешке размокли. Телогрейка Санькина и наши с Алешкой тужурчонки хоть отжимай.

— Луком питаться будем! — буркнул Санька и набросился на Алешку: — Чего стоишь?! Червей-то сплавил! Так ищи давай теперича! — Алешка смотрел на Саньку внимательно, но понять, отчего тот ругается, не мог. Я показал Алешке: копать, мол, надо червяков, искать их на острове, и он послушно отправился куда велели, а Санька уже примирительно проговорил: — Стоит, чешется, а наживлять чё? Сопли? На них налим не клюет!..

Долго мы с Санькой распутывали животники, так долго, что завечерело совсем, когда мы управились с этим делом. Алешка принес горсть белых рахитных червяков, на которых и нам-то смотреть не хотелось, не то что налиму — рыбе, любящей червяка ядреного, наземного, и чем толще да змеистей, тем лучше.

Ставили животники в потемках. Казалось нам, чем больше груз на конце, тем дальше мы забросим животник. Санька раскачал груз, как било, и запустил поверх кустов. Я ждал, когда бухнется камень за кустами. Но вместо этого дурноматом заблажил Алешка.

Он тихонько подошел к Саньке и стоял сзади, чтоб посмотреть и поучиться ставить животники. Крючок вошел повыше Алешкиного колена. Кровища валила ручьем. Когда вынимали крючок при свете костра, Алешка орал сначала, но Санька ткнул ему кулак в нос, и он замолк, только кусал губы и вспотел.

Крючок не вынимался.

— Надрезать кожу придется, — решил Санька и стал калить над огнем кончик складного ножа. Где-то он слышал, что перед операцией инструмент обезвреживают, изничтожают микробов на нем. Голова Санька! Все знает!

Алешка не мигая, с ужасом смотрел на Санькины приготовления, но не протестовал, потому что сам виноват кругом.

Я сел верхом на братана, придавил его, а Санька полоснул ножом по Алешкиной ноге. Алешка брыкнулся, двинул меня коленом в спину, взвыл коротко и дико.

— Порядок на корабеле! — деловито произнес Санька. Крючок с кусочком Алешкиного мяса был у него в руке. — На мясо, говорят, поселенец-стерьвоза пуще всего берет. Попробуем!

Я вымыл Алешкину ногу, перевязал ее тряпицей из-под соли, и хотя он все еще дрожал, но уже не хныкал, смирно сидел возле костра. Смотреть, как ставят животники, он больше никогда не подходил.

С берега мы ни один животник так и не забросили — кусты мешали. Запутали только животники, порезали их, собрали кое-как один, крючков на двадцать, и закинули его с лодки, в улове за ухвостьем.

— Ништя-ак! И тут клюнет. Налима здесь пропасть, у острова-то, тятя говорил, — заверил Санька.

Мокрые, обессиленные явились мы к костру, возле которого неподвижно сидел Алешка и неотрывно глядел на другую сторону реки, на огни села.

— Ничего, Алеха, —хлопнул его по плечу Санька, — заживет до свадьбы. Я вон один раз на ржавый гвоздь наступил, всю пятку промзил. Засохло.

Алешка не понимал, чего говорит Санька. Он глянул на меня глазами, полными слез, и сказал жалким голосом единственное слово, которое умел говорить:

— Ба-ба...

Я аж вздрогнул. Что сейчас дома делается? Потеряли нас с Алешкой. Ищут по всей деревне. Думают — утонули. Бабушка, небось, плачет и кричит на всю улицу, зажав голову. Да-а, спроситься, пожалуй, надо было. Но тогда шиш отпустили бы налимничать. А мне так хотелось наворочать корзину или две поселенцев.

Я поглядел на другую сторону реки. В деревне светились огни. Меж деревней и нами мчалась, шумела уверенно и злобно река. Дальним высоким светом подравняло вершины гор, размыло их, и отблески падали на середину реки. Застрявшая в кустах, шипела вода, набатным колоколом били бревна в камень Караульного быка. Живой мир бушевал и бился вокруг. Он отделен был от нас, недружелюбен к нам. Остров подрагивал. С подмытых яров его осыпалась и шлепалась глина. Зыбко все было вокруг, непрочно.

Чем напряженней я вслушивался и всматривался, тем явственней ощущал, что остров уже стронулся с места, и до меня доносились голоса: бабушкин плач, мамин предсмертный крик и еще чьи-то, вроде бы звериные, а может, водяного. Я поежился и ближе придвинулся к огню. Но страх не проходил. Остров вот-вот...

— Ба-а-ба! — вдруг заорал я на Алешку. — Тебе бы все баба! Изнежился, зараза! Попой еще, так я тебе!..

— Не тронь ты его, — остепенил меня Санька, — он ранетый — сознавать надо. Крючки-то вон какие! Налимьи! Вопьется дак! Давайте-ка поедим, а?

Поели мокрого хлеба с печеными картошками и луком. Без соли. Соль размокла. Алешка тоскливо вздохнул. Не наелся он. И бабы нет — добавки дать.

Санька закурил, свалился на телогрейку и глядел в небо. Там, в глубокой темноте, будто искры в саже, вспыхивали и угасали мелкие звезды. И была там беспредельная, как сон, тишина. А вокруг нас совсем близко бесновалась река, и остров все подрагивал, подрагивал, будто от озноба или страха.

— Лаф-фа-а! — подбодрил себя и нас Санька и стал шевелить в костре и напевать негромко.

А я думал про бабушку и про налимов. Про налимов больше. Меня так и подмывало скорее смотреть животник. Я уверен был, что если не на каждом крючке, то уж через крючок непременно сидит по налиму.

— Са-анька, Сань! Давай животник смотреть, — начал искушать я друга.

— Ну, смотреть. Не успели поставить. — В голосе Саньки особой настойчивости не было, сопротивление его слабело, и я скоро сломил Саньку.

— Набулькаем только, рыбу распугаем. — Но я чувствовал, понимал — Саньке тоже не терпится посмотреть животник.

Мы оттолкнули лодку. Санька взял в руку тетиву животника, начал перебираться по ней.

— Не дергат? — пересохшим голосом спросил я.

Санька ответил не сразу, прислушался:

— Да вроде бы нет. Хотя постой! Во! Дернуло! Де-оо-рнуло. — Голос Саньки задребезжал, сорвался, и он начал быстро перебираться по тетиве, а я захлопал, забурлил веслом.

— Тиха! Крючки всадишь.

Но я не в силах был совладать с собой.

— Здорово дергат?

— Прямо из рук рвет! Таймень, должно, попался. Налим так не может...

— Тай-ме-ень!

Батюшки святы! Ну, не зря говорят на селе, что я фартовый, что колдун! Только вот закинули животник, и готово дело — таймень попался.

— Большой, Санька?

— Кто?

— Да таймень-то?

— Не знаю. Перестал дергать.

— Ты выше тетиву-то задирай! Выше! Отпустишь тайменя к едрене фене! Давай лучше я! Я — везучий!

— Сиди — не дрыгайся! Везучий... Мотырнет дак...

— Дергат?

— Ага, рвет! — опять задребезжал голосом Санька. — Из лодки прямо вытаскивает!..

— О-ой, Санечка!.. — Больше я ничего сказать не мог и закричал в темноту во всю глотку: — Алешка! Алешка! Таймень попался! Здорову-у-ущи-ий!.. — Как будто Алешка мог меня слышать.

— На последнем крючке, видать, у самого груза. Справимся ли?..

— Ос... осторожней, Са... Санька! — начал я вдруг заикаться, чего со мной сроду не бывало.

— Во! Близко! Иди сюда!

Я бросил весла и ринулся к Саньке, схватился за тетиву. Веревку дергало, тукало по ней так, будто она к моему сердцу прикреплена. Не помня себя, я начал отталкивать Саньку, тащить, и он кричал теперь уже мне:

— Тиха, миленький!.. Осторожней! Осторожней!..

Рыба вывалилась наверх, грохнула хвостом. Таймень! И в самом деле таймень! Ну не везучий ли я! Не колдун ли?

— Ой! — вскрикнул Санька.

— Чё?

— Уду в руку всадил! Во зверина! Пуда на полтора, не меньше! Хрен с ней, с удой! Вырежем! Я хоть чё стерплю! — Санька визжал, взрыдывал, а я боролся с рыбиной и никак не мог подвести ее к лодке.

— Это он в затишек со струи забрался! Пищуженец попался, он его и цапнул! — объяснял мне Санька рыдающим голосом, но я не слушал его. Мне сейчас не до Саньки было!

— Греби к берегу! Здесь не управиться! — прохрипел я.

Санька рванулся к веслам, запутался в животнике, забыв, что он ведь тоже на крючок попался, и тут в мои бродни вцепился крючок. Я тоже попался на животник.

— Уйде-от! — завопил я, когда почувствовал, что рыбина пошла под лодку. — Уйде-от!..

Санька упал на борт, сшиб меня, лодка черпнула бортом, медленно завалилась набок, и меня обожгло холодной водой. Я забултыхался. Рядом бился Санька. Его запутало животником.

— А-а-а-а! — взревел Санька и пошел ко дну. Я успел схватить его за рубаху.

— Санечка, не тони! Санечка!.. — Я хлебнул воды. Скребнуло в носу, в горле, но я не выпустил Саньку. Меня дергала за бродень рыбина, тянула вглубь, на струю. Рука моя стукнулась обо что-то твердое. Льдина! Я вцепился пальцами в ее источенную, ребристую твердь.

— Са... Льдина!..

— Ба-а-ба! — разнесся вопль на берегу. Алешка или углядел или почувствовал, что с нами стряслась беда.

— Палку, Алеш!..

И Алешка понял меня, но хорошо, что не услышал моих слов, не побежал за палкой — не успел бы. Он ухнул в воду, наклонил черемуху. Я отпустился ото льдины и схватился за куст одной рукой, а затем подтянул к себе Саньку.

Мы перебирались по гибкому кусту руками. Корень у него оказался крепкий, выдюжил. Алешка подхватил и выволок Саньку на берег, а я вылез сам. Без бродня. Рыбина сняла с меня обуток. Дедушкин бродень. И ушла с ним. Никто уже не дергал животник. Я весь был им опутан и услышал бы рыбину. Санька оторвал крючок вместе с коленцем и выпутался из животника.

Я упал на берег, стукнул кулаком по мокрой земле и завыл. Санька клацал зубами. Алешка все звал бабу.

— От... отпустили!.. Такого таймени отпустили-и-и! — жаловался я неизвестно кому.

— Ба-ба! Ба-ба! — кричал Алешка, глядя на редкие теперь уже огни в селе.

Я вскочил с земли и дал Алешке по уху. Он не ожидал этого, кувыркнулся на траву и сразу замолк.

— Обормот большеголовый! — орал я на Алешку. — Такой тайменище ушел! А он — баба! Ты чё сидишь? — взъелся я на Сань-

ку. — Завяжи руку, и станем животник распутывать... Расселись тут... Рыбаки! Другой раз свяжусь я с вами!

Первый раз в жизни возвысился я над Санькой, командовал им и он — куда чего делось? — подчинялся мне как миленький и даже несмело попытался утешить, когда помогал распутывать животник.

— Может, это и не таймень вовсе, а большой налим...

— Я не отличу вилку от бутылки! Лапоть от сапога не отличу? Сам ты налим!

Распутывали животник. Руки мои порезало льдом, сводило пальцы от стужи. Санька опять робко заговорил:

— Ты бы отжал лопоть, погрелся. Ноги у тебя рематизненные. Захвораешь...

— Не сдохну, не беспокойся! Ночь-то скоро пройдет! А рыба где? Плавает по дну, хрен достанешь хоть одну!..

Санька потом не раз мне говорил, будто в ту темную-темную ночь он понял, что характером я весь в бабушку свою Катерину Петровну.

Но тогда он ничего не говорил. Помалкивал и дело делал. Алешка после оплеухи дрова таскал, несмотря на боль и рану, и огонь поднял до небес.

Животник мало-мало наладили, наживили снова, я забрел в воду, привязал его к кусту и закинул недалеко. Санька ждал меня на берегу и к огню не уходил.

— Чего тут дрожишь? — прикрикнул я на него и пошел к стану. Санька потащился за мной.

Разделись, отжали рубахи, штаны. Нагишом прыгали у костра, пока сушилась одежда. Я помаячил Алешке, чтобы принес из старого остожья сена. Прелое было сено, охвостье. Кто же доброе оставит? Доброе зимой вывезли. И все же не на голой земле плясали теперь.

Сделалось совсем холодно. Мокрую травку на покосе подернуло изморозью. Напялили сырую одежонку. Алешка почернел от боли и знобкой стужи. Я оторвал от подола рубахи лоскут и перевязал еще раз ему ногу. Рана была мокрая, сочилась кровью. Санька грел у костра завязанную вместе с крючком руку, а то принимался дуть на нее, но не выл. И Алешка тоже не выл и бабу больше не звал.

— А ну, убирай костер! — скомандовал я, когда мочи уж никакой не стало от холода и зуб на зуб не попадал у всех нас.

Мы перенесли костер на другое место, замели угли в сторону, и на прогретую землю набросали веток, сена и тесно улеглись.

— Тепло?

— Маленько пригревает снизу, — отозвался Санька.

— Ксенофонт-рыбак всегда так делает, когда на берегу ночует.

— Надо было нам с ним попроситься налимничать. Может бы, взял?

— Ага, возьмет! И возьмет, так налимишка дохлого уделит потом...

— Мы и такого не добыли.

— Постони!.. Тайменища вон какого прокрякали! Ротозеи! Фартит таким лопухам! В роте рыбина была!..

Санька засыпал. Уже на отходе ко сну вяло и безразлично выдохнул:

— Попадет нам... и за лодку... и за все...

— Тайменя бы выволокли, тогда хоть сколько попадай...

Ребята заснули. А я ворочался и никак не мог забыться. Явственно видел я, до боли ощущал каждой жилочкой краснохвостого тайменя — на полтора пуда! В серебряных пятнах по скатам толстой спины, с пепельно-серыми боками, с белым нежным брюхом. Огромного, открывающего огненные жабры, хлестко бьющего хвостом по доскам лодки.

И еще толпу деревенского люда видел на берегу. Мужики, женщины, ребятишки смотрели, как я иду, согнувшись под тяжестью рыбины, а хвост ее волочится по камешнику! А люди говорят про меня, а люди говорят!.. Всякое хорошее: и что везучий я, и что колдун, и что такому удачливому человеку ничего не страшно в жизни...

Нет тайменя. Нет лодки. Ничего нет. Темная-темная ночь кругом. Ворчит река, плещется, буйствует пьяная от половодья. И где-то в ней ходит таймень с оторванным крючком и с броднем моим.

Ну что ему стоило? Ведь все равно, если запутается животником за корягу или камень, сдохнет. Так уж лучше бы...

А может, он зацепился крючком за куст? Ворочается там, бьется, а я лежу здесь колодой...

Быстро насунул я Санькины драные сапоги и поспешил к воде. Что-то шевелилось в кустах, поталкивало их. Льдины. Из подмытых яров острова все отваливалась, отваливалась земля.

Льдины заблудшие кружатся, шевелятся, а тайменя не слыхать. Ушел таймень! Скрылся. Вон какая она, река-то! Иди куда хочешь. Везде дом!

На всякий случай я обошел все ухвостье острова, может, лодку в кусты затащило? Вода пошла на убыль. Мокрые кусты поднимались из воды, распрямлялись, стряхивали с себя ил. В кустах позванивали рыхлые льдины, рассыпались тонкими карандашиками. Из-под ног моих снялся куличишка и как ни в чем не бывало запиликал звонким голосом и начал стричь крылышками над водою.

Тут же проснулся, запел другой куличок и пошел этому навстречу. И вот они уже соединили песню и унесли ее за протоку, на каменистый берег.

Беззаботные кулики, вольные птички. Куда захотят, туда и подадутся. А тут вот лодку унесло. Таймень ушел, и хоть вой, хоть кричи — никто не услышит.

Нет счастья на земле. И вовсе я не везучий. Никакой я не колдун. Если б колдун был, разве бы не приколдовал тайменя?

Не заметил, как обошел остров и очнулся лишь после того, как у моих ног заревела вода.

Я оказался у приверхи острова. Кусты измочалило и зачесало водою на обмысок, торчмя наставило под берегом бревна, вывороченные коряги, набило хлама и льда меж ними. Все это шевелилось под напором воды, хрустело, ломалось. Приверху острова одавливало, как головку боны, и казалось, вот-вот сорвет остров с якорей, закружит его, изломает на куски земляной каравай, и нас забьет, захлещет, как мышат.

Я попятился на покос и, повернувшись, быстро убежал от приверхи. Шум и гул воды отдалился. Я сел на подмытый яр, под которым в белых полосах пены ходила неспокойная вода, и стал глядеть на село. Возле дяди Ваниного пикета, будто неуверенный язычок свечи, попрыгивал и метался костерок. Знал бы, ведал дядя Ваня, как таймень обошелся с нами и что кукуем мы без лодки, от мира и от людей отрезанные...

В селе огней нет. Спит село. Если и горит в нашем доме лампа, отсюда не увидать, дом наш во втором посаде, почти на задах.

Бабушка молится сейчас, плачет, и дед горюет, молча. Мужики, небось, сети готовят, багры, невода и кошки — ловить нас. Утром весть об утопленниках облетит село и взбудоражит его. Явится к нам Митроха, председатель сельсовета, и будет у него с бабушкой крупный разговор.

Что мы наделали! Как я додумался башкой своей до всего этого? Заест Митроха бабушку. Он и без того на нее зуб имеет, как утверждала бабушка. Слышал я, что Митроха сватался в молодости к тетке Марии, но отчего-то дед и бабушка не согласились отдать за него дочь. Однажды я заблудился на увале. Ходил по грибы и заблудился. А Митроха нарезал там делянки дроворубам и услышал мой крик. Он взял меня за руку и привел домой. Конечно, я бы поорал, поорал и сам нашел бы дорогу домой. Не раз такое случалось. Но вот надо же было Митрохе оказаться в лесу.

Митроха сказал бабушке властно и строго:

— Безнадзорный парнишка. А безнадзорные дети должны жить в детском доме, догляженные и обихоженные.

— А он не догляжон? Он не обихожен? Да у него и рубахов, и штанов, может, больше, чем у других ребятишек, хоть они с матерями-отцами! Я вон ему сумку из свово фартука сшила. В школу еще осенесь пойдет, а я уж сшила, с ручками и с кармашком для чернильницы, как городскому...

Митроха не дослушал бабушку.

— Мне не переговорить и не перекричать тебя, несуразная старуха, но вот что запомни: если парнишка будет болтаться где попало, я меры приму!

С этими словами Митроха надел фуражку и вышел, а бабушка так и осталась посреди кутьи, расшибленная словами «меры приму!»

Во дворе Митроха нарвался на дедушку, который, видать, весь разговор слышал. Дед воткнул топор в чурбак и, как всегда, тихо, но увесисто сказал Митрохе:

— Вот что, Митрофан Фадеич! Ты мою старуху больше не пужай. Она и без того пуганая. Ребенок был при нас, при нас и останется. — Он помедлил и добавил: — Не ровен час, сосед наш Левонтий услышит, да пьяный ежели... Кто тебя отбирать будет?

Митроха знал — дяде Левонтию хоть бог, хоть царь, хоть какая власть — нипочем, если он напьется. К тому же дядя Левонтий меня любит так же, как я его, и он село в щепки разнесет, если потребуется.

И все же боюсь я Митрохи. И бабушку мне жалко. А ну как «примет меры» Митроха из-за нас с Алешкой?

— Бабушка! Ба-а-абонька-а! — задрожал я губами, но тут же вспомнил про Алешку и не позволил себе расклеиться. Мне было холодно, одиноко и жалко самого себя.

Вода засеребрилась от просвета, занявшегося в межгорье. В безостановочном, стремительном беге река. Но мне опять казалось — не вода это, а остров и я вместе с ним мчимся вдаль, мчимся среди ночи, средь реки, не имеющей берегов, и остров теряет кусты, сыплет комья земли, будто подбитая птица перья. И не убывает вода вокруг острова, а прибывает, прибывает. Скоро она подберется к покосу, смоет костерок наш, унесет нас к Караульному быку, закружит, торкнет о камень...

Я тряхнул головой. Огонек на той стороне, у дяди Ваниного пикета, почти погас.

Опять пришел на ум Митроха.

Рыбачил я как-то выше деревни и засиделся допоздна.

Было это в то же лето, когда привел меня Митроха из лесу. Теплое лето было, погожее. На реке межень, и Енисей не ревел, не свирепствовал, как сейчас, а катился легко, светлый, облегченный, молодой.

На закате солнца стала веселее брать рыбешка, а как солнце закатилось — бросила клевать, и я сидел на бревне просто так, глядел на реку, на привычные горы и не заметил, как наступила темень.

На реке показался огонек. Он приближался и приближался.

— Какая деревня-а-а-а? — спросили с плота.

Я сложил руки трубочкой и охотно откликнулся, потому что было мне радостно сообщить незнакомым людям о родном селе, о себе, о том, что есть мы на свете.

Огонек поплыл на мой голос, и скоро я услышал:

— Приветствую вас, милое дитя!

Дитем, да еще милым, меня никто и никогда не называл. И я от удивления не знал, что сказать человеку на плоту, а точнее, на салике из четырех бревен. Костерок шевелился на каменных плитах, выложенных очагом. А человек стоял с приподнятой шляпой, и свет играл в его глазах и морщинах. Он улыбался мне, как ближнему родственнику.

— Здравствуйте! — сказал я ему и принял веревку.

Человек сошел на берег, и мы учалили за камень салик. А пока учаливали, незнакомец успел меня расспросить обо всем: и о селе, и обо мне, и о дедушке с бабушкой. Словно бы ехал этот человек на праздник, так был оживлен, говорлив. И мне тоже передалось его настроение, хотелось разговаривать и разговаривать. Я помог незнакомцу перенести костерок и мешочек с плота.

— Сейчас мы будем варить кулеш. Вы знаете, милое дитя, что такое кулеш?

Я почти с восторгом признался, что не знаю.

— Жизнь состоит из сплошных открытий. И вы сейчас узнаете, милое дитя, что такое кулеш. — При этом незнакомец снял шляпу и обнажил редковолосую голову.

Я бегал по берегу, собирал дрова, подкладывал их в костер, и человек хвалил меня за усердие и все улыбался беззубым, широким ртом и говорил мне, как в песне: «милое дитя».

Кулеш сварился и оказался жиденькой пшенной кашей, приправленной береговым луком. Я нащипал луку в камнях. Незнакомец попробовал варево, зажмурился и тряхнул головой:

— Божественно!

Дал мне попробовать, и я сказал:

— Да-а-а!

Ложка была одна. Незнакомец складным ножиком быстро обстругал щепку, соорудил из нее черпачок, а ложку отдал мне. Я начал отказываться, но незнакомец погладил меня по плечу тонкой и гибкой рукой:

— Хозяину этого мира, — он обвел рукой вокруг, — почет, уважение и ложка. А я, милое дитя, могу употреблять еду какую угодно, где угодно и чем угодно. Научен уважать пищу! — Он важно и смешно приподнял палец, после чего отхлебнул из черпака пищу, пригодную для беззубых, и продолжал: — Великий Горький сказал: «Человек выше сытости!» Но годы прозябания перевернули в моих глазах многие слова, и понял я, что словами, даже великими, не пропитаешься, понял я, что без слов прожить можно, без пищи — нельзя! Годы учат мудрости!..

Он и еще много говорил мне непонятных слов, доверительно, просто, и понял я лишь одно — дяденьке этому долго пришлось молчать.

Мы дохлебали кулеш. Незнакомец вымыл котелок, ложку и убрал их в мешок, а потом свернул цигарку из казенной махорки и блаженно вытянулся на камнях.

В это время незаметно, как тень, возник у костра Митроха. Молча, сурово оглядел он дяденьку, меня, салик и потребовал документы. Незнакомец ответил: «Охотно!», засуетился, складничком подпорол подкладку шляпы и достал оттуда бумажку.

Митроха нагнулся к огню и стал шевелить губами. Читал он долго, а затем выпрямился и жестко отрубил:

— Так я и знал!

— Что вы знали, молодой человек? — Незнакомец уже оправился, не суетился больше, но и не улыбался. Лицо его сразу сделалось мятым и усталым.

— Что ты за птица!

— Справка по всей форме. Я освобожден досрочно и, значит, заслужил право, чтобы ко мне обращались на вы, так же, как я обращаюсь к вам.

Митроха смешался, переступил со здоровой ноги на хромую.

— Кем был до изолирования?

— Капельмейстером.

— А-а, оно и видно. У нас в партизанском отряде каптенармус из беляков был, тоже придурок и говорун.

— Простите! Капельмейстер и каптенармус, смею вам заметить, слова нисколько не идентичные.

— Чево-о-о?

— Не идентичные слова, говорю.

— Я б тебя раньше за такие слова!..

— О-о, в этом я не сомневаюсь. Верните мне справку. Она, как вы убедились, не поддельная.

— Куда путь держишь, говорун? — все еще грозно спросил Митроха и отдал старику бумажку.

— Видите ли, молодой человек, — все так же мягко, но уже с презрением в голосе заметил старик, убирая справку в шляпу, — я очень хорошо изучил вопросы, на которые обязан отвечать и на которые не обязан. Ваш последний вопрос я отношу к числу необязательных. — Старик нахлобучил шляпу и глянул прямо на Митроху: — В ответ на все ваши вопросы я позволю себе задать один-единственный: — Скажите, кто вас научил подозревать людей и допрашивать их?

— Никто. Я сам.

— Благодарю за откровенность. А сейчас, может быть, вы будете так любезны, что оставите нас? Вдвоем с мальчиком куда приятней.

— Этот мальчик! Этот мальчик дошляется! Я его спроважу в детдом!

Старик вдруг вскочил, сжал кулачишки и, вплотную придвинувшись к Митрохе, сразу севшим голосом прокричал:

— Детей-то, детей-то хотя бы оставили в покое! — Он тут же расслабился, плечи его опустились: — Уйдите, умоляю вас!

Митроха пошел, загребая хромой ногою, и уже с яра крикнул:

— Чтоб к утру духу не было! А ты чтоб сейчас же домой!

Я сидел у костра раздавленный, убитый. Мне еще никогда не было так стыдно и больно за себя, за село родное, за эту реку и землю, суровую, но приветную землю. Я не мог поднять глаза на старенького дяденьку, который уже не разговаривал больше, а, согбенный, глядел в живой огонь. Потом он перенес головешки на салик, мешок перенес, отвязал веревку и уплыл в темноту.

Долго еще колебался на реке светлый язычок огня. Мне хотелось побежать по берегу, догнать салик, сказать что-то незнакомому человеку, попросить у него прощения. Но огонек отдалялся, становился меньше, меньше и затонул в темной, безвестной дали.

Я не могу забыть ту ночь и незнакомца в шляпе по сей день, помню и огонек, приплывший ко мне из темноты. Теплом и болью отражается его свет в моей душе. Что-то родственное и тревожное пришло в мою жизнь тогда, и сам огонь с тех пор обрел в моем понятии какой-то особый смысл. Он уже не был просто пламенем из дров, а сделался живою человеческой душою, трепещущей на мирском ветру.

Я совсем продрог, встряхнулся и услышал голоса:

— ...Я-а-а-а-а! А-а-а!..

Метался по другому берегу огонек, и вроде бы на самом деле кто-то кричал.

Вот от огня большого отделился огонек поменьше и начал мотаться из стороны в сторону. Это махали нам, догадался я, и заорал:

— Санька! Алешка! Скоро приплывут! Наш костер увидели!.. О-эй! — Я замахал руками, будто мог кто-то меня увидеть.

— Э-э-эй! — закричал Санька, воспрянувший ото сна.

Алешка тоже проснулся и повел свое:

— Бу-у-у-у!

Но приплыть к нам скоро не смогли. С рассветом поднялся туман, затопил горы, реку, остров и остался наш только костерок на свете да мы вокруг него, тихие, забытые и покорные.

— Надо животник посмотреть.

— А, пропади он пропадом! — плюнул я. Не хотелось мне уходить от огня в белую сырую наволочь, не хотелось брести в воду. Воспоминания о старом путнике и Митрохе разбередили меня. Домой мне хотелось, к бабушке. Спать хотелось, и не было ни малейшего желания шевельнуть даже единым пальцем.

— Ладно, я посмотрю, — храбро сказал Санька, а сам не поднимался от костра.

— Валяй! — сонно кивнул я.

Санька поежился, со свистом втянул стылыми губами воздух и покорно побрел в туман.

— Один попался! — услышал я через какое-то время, но даже не обрадовался.

Сон и усталость отупили меня. Все было мне теперь нипочем, ничего я не боялся и ничему не радовался.

Сошел туман с реки. Проглянуло мутное солнце в небе. От села отплыла лодка. Санька с Алешкой побежали на берег и замахали руками, а я не поднялся от огня. Я сидел на мятом крошеве сена и смотрел, как затухают головни, обрастая дрожливым серым куржаком, как затягивает угли теменью и мраком. И еще раз вспомнил тот огонек, того дяденьку. Как мне его не хватало! Из-под сена, от прогретой земли все еще шло тепло, хотя уж и еле ощутимое. И от него морило, расслабляло.

— Эт-то что же вы удумали, разъязвило бы вас, а? Эт-то кто же вас надоумил, а? — еще с реки, из лодки закричала бабушка. Алешка заблажил бугаем, спрыгнул в воду и побрел встречь лодке, несмотря на рану. Бабушка подхватила его из воды, дала ему мимоходом затрещину. Не переставая ругаться, она первая соскочила на берег, схватила хворостину и погнала Саньку в лодку. — А вот тебе! А вот тебе! А вот тебе! Не сманивай! Не сманивай!

Я подошел к лодке. На корме сидел Ксенофонт, а в лопашнях Кеша, осудительно, с превосходством всегда правого человека, улыбающийся.

— Не трогай Саньку! Ему крючок в руку всадился. Это я сманил! Бей! — И с ненавистью посмотрел на ухмыляющегося Кешу.

— Т-ты-ы!? — Бабушка оцепенела на секунду. Санька воспользовался моментом и юркнул в лодку. — Так я тебе и поверила! Так я тебе и поверила!..

Бабушка порола меня прутом до тех пор, пока не выдохлась. Потом отбросила прут и запричитала:

— Да что же это за наказанье такое? Да за какие грехи на меня навязались эти кровопивцы?..

— В лодку идти, что ли?

Кеша уже не улыбался, а Ксенофонт подмигивал мне, маячил, дескать, прыгай ты скорее сюда, да ко мне поближе, тут не достанут... Но я стоял на берегу.

— Иди лучше в лодку, а то запорю до смерти! — затопала ногами бабушка. — Х-хосподи! Вот дедушко-то родимый! Забей его... Забей... — Она сцапала меня за ухо и повела в лодку.

Ксенофонт быстро оттолкнул лодку веслом, и бабушка качнулась, села, схватилась за борта. Развернулись. Кеша заработал лопашнями.

— Налим где, Санька?

— Ой, забыл! Вот гад, забыл!

— Поворачивай назад! — потребовал я.

— Я те поверну, разъязвило бы тебя! Так поверну!..

— Поворачивайте лучше, а то всех перетоплю! — сквозь зубы процедил я со всем злом, какое скопилось во мне за эту проклятую ночь, и шатнул лодку.

— Сенофонт! — взмолилась бабушка. — Поворачивай, батюшко, поворачивай. Он ведь обернет лодку-то! Обернет! Дедушко родимый, сатана сатаной, как рассердится...

Ксенофонт ухмыльнулся и развернул лодку. Он ведь дедушкин брат, значит, мне сродни.

В одном бродне, драной и грязной рубахе, в мокрых штанах, пошлепал я на берег.

— Красавец какой! — сказала бабушка. — Тебе еще за обуток будет! Новые почти бахилы уходил...

Налима я нашел в воде. Санька забил его палкой и продел ему в жабру ветку с сучком. Так на ветке я его и приволок.

— Налимище-то! — начал измываться Кеша. Я смазал его рыбиной по морде, и он заутирался рукавом: — Чего размахался-то? За ним еще приплыли, как за добрым!..

— Как поселенца делить будете — повдоль или поперек? — насмехалась бабушка.

— Разделим...

Переплыли реку в тягостном молчании. Вышли из лодки. Я затребовал у Саньки ножик, разрезал налима на три части. Голову

мне, поскольку я оказался в конце концов главным ответчиком за все. Середину — Саньке, раз он вытащил налима, а хвост Алешке — он только ныл, бабу звал и никакого от него толку не было.

Бабушка сварила уху из двух кусочков налима и, не знаю уж, нарочно или с расстройства, пересолила ее.

Но я все равно выхлебал уху и остатки выпил из чашки через край. Алешка несмело звал бабушку хлебать с нами уху, потому как в доме нашем не принято было есть что-то по отдельности. Но бабушка сердито махнула рукой:

— Понеси вас лешаки вместе с налимом вашим!

Вечером прибыл дедушка. Он пилил дрова в лесу. Все наши злодеяния были ему рассказаны с подробностями.

— Чего же это ты сводишь людей-то с ума? — укоризненно сказал дед. — Шутки разве с водой?

Я молчал. Дедушкины укорные слова тяжелей бабушкиной порки. Но ему, видать, жалко меня стало, и, когда бабушка скрылась с глаз, он участливо спросил:

— Лодку-то как отпустили?

— Таймень опрокинул.

— Так уж и таймень?

— Вот не сойти мне с этого места!..

— Ладно, ладно. Лодку вашу Левонтий поймал.

— А чего тогда бабушка говорит — платить за лодку?

— Пужает. Ты знай помалкивай.

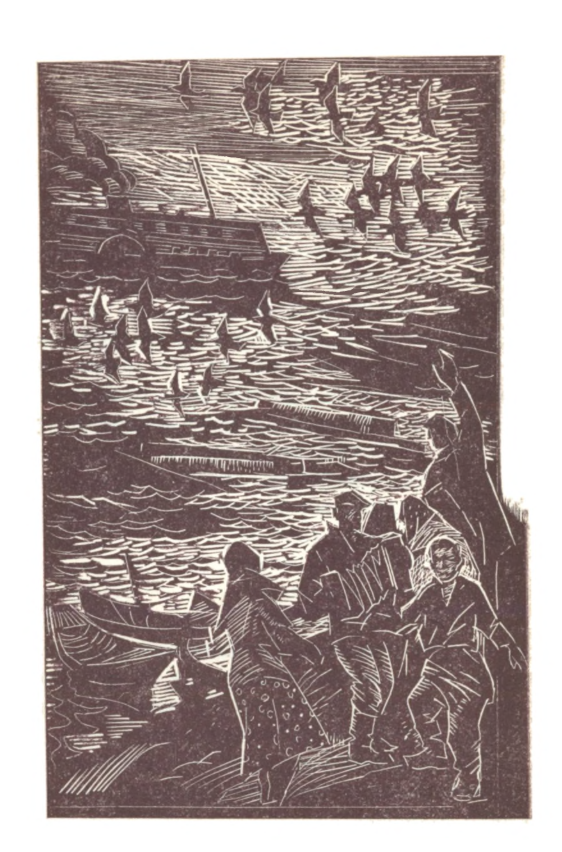
Дед потолковал со мной еще немножко о том о сем, подымил табаком, а потом протяжно вздохнул и повел меня в хибарку брата своего Ксенофонта.

— Вот тебе соловей-разбойник. Опекунствуй на рыбалке. До смерти он теперь пропащий человек. Пущай с тобой на реке болтается — хоть душа на месте будет...

Дед и Ксенофонт закурили и долго сидели молча. Старая, полутемная избушка быстро наполнялась махорочным дымом. Я примостился возле кособокой небеленой печки, смотрел на Енисей, поблескивающий за домами, и не верил своей счастливой участи. Уж с Ксенофонтом-то мы половим рыбки! Уж потаскаем налимчиков! А может, и тайменя того сыщем? Ну не его, так другого. Может, еще больше добудем?

Ах ты жизнь! Какая извилистая, а? И несчастья, и счастье — все в ней рядом...

ДЯДЯ ФИЛИПП — СУДОВОЙ МЕХАНИК



Из бабушкиных гостей мне особенно памятен дядя Филипп — судовой механик. Он был бабушкиным крестником и братом дяди Левонтия. Тот его «поднял» и пустил «на воду». Оставшись на суше, сам он вечно тосковал по морю. Однако из-за многодетства или из-за тетки Васени, которой негде было приютить гостя и потчевать нечем, дядя Филипп заезжал перво-наперво к нам. По окончании каждой путины, если не зимовал с судном на севере, он являлся гостить в село вместе со своей женой теткой Дуней.

Бабушка, всплеснув руками, выбегала на крыльцо, да так проворно, что забывала и дверь затворить. На крыльце раздавалось многократное чмоканье, охи, ахи и в момент возникшие женские всхлипы.

Затем в сенках стоном стонали старые половицы под сапогами

дяди Филиппа, проем двери заслонялся на секунду, и я взлетал к потолку с остановившимся сердцем.

— Растешь? — спрашивал меня дядя Филипп, держа под потолком, — и опускал на пол с разрешением: — Ну расти!

После этого он кидал на мою голову картуз с громадной «капустой», горящей невиданным золотоцветом, и поскольку картуза хватало до самых плеч, то я на секунду задыхался от спертого воздуха, в котором смешались пот, одеколон и запах головы.

Все смеялись. А я осторожно щупал «капусту» и почтительно возвращал великолепный картуз дяде Филиппу. Поскольку в чинах тогда ходили не многие мои односельчане, а с «капустой» был всего-навсего один человек — дядя Филипп, ему разрешались коекакие вольности, как личности выдающейся. Забывшись, он сидел иной раз в картузе под божницей, и бабушка очень переживала. После отъезда дяди Филиппа она замаливала «грех» и быстрым шепотом втолковывала святой деве, упрятанной в глубокую старую раму, что дядя Филипп — человек, от веры отрешенный, потому как работа у него умственная, ответственная и времени для бога у него не выкраивается, вот почему простить бы его надо, а заодно и ее, потому что сама она ни в каком картузе под божницей не сиживала и не сядет и к тому же строго блюдет великий пост.

Должно быть, святая дева была женщина сговорчивая, потому что до следующего приезда дяди Филиппа бабушка уже больше не напоминала ей о картузе, а обращалась по разным другим вопросам, и мне иногда казалось, что дева эта, засиженная мухами, как-нибудь рассердится, скривит тонкие губы и скажет: «И до чего ты докучливая старуха! Одолела, допекла, нечистый дух!»

В последний раз дядя Филипп приехал к нам отчего-то ранней осенью, а не зимой, и тетка Дуня держалась совсем смиренно, и глаза ее были переполнены грустью.

Прежде, бывало, дядя Филипп сидел, занявши почти всю скамью, а сбоку, на краешке, лепилась тетка Дуня со спущенным на плечи платком. Была она узенькая какая-то, тонкошеяя, нервная и все норовила показать характер и выглядеть строгой-престрогой женой. Но дядя Филипп будто и не замечал ее вовсе. Он протягивал руку, на тыльной стороне которой была синяя змея, обвившая кинжал, к граненой рюмке с водкой. Тетка Дуня шустро накрывала рюмку.

Дядя Филипп молча, сурово взглядывал на жену, и она, ровно обжегшись, отдергивала руку. Дядя Филипп выплескивал влагу в широкий рот, крякал и занюхивал хлебом так, что ломоть прогибался.

Бабушка пыталась угощать его. Стол ломился от снеди. Тут были и рыжики, и грузди соленые, и капуста, и огурцы, и малосольная сельдюшка «туруханская» — гостинец дяди Филиппа, — дивная рыбешка, ныне почти выведенная, как и многие ценные рыбы. Только черемшу соленую бабушка не ставила на стол. С черемшой этой происшествие было. Как-то бабушка все же настояла, чтобы дядя Филипп отведал хоть немножко. И, чтобы не обидеть крестную, дядя Филипп сунул вилку в первую подвернувшуюся тарелку. Потом еще несколько раз подцепил чего ни попало и жевал, нисколько не интересуясь, что он жует и зачем. Так вот рассеянно черпнул он черемшу из тарелки. А черемшу у нас солят с речной галькой, чтоб она не плесневела. Ну, жманул дядя Филипп черемшу зубами, хруст раздался такой, будто матица на потолке лопнула, и теперь у дяди Филиппа блестят два серебряных зуба.

Зубы эти сводят меня с ума. Если б хоть кто-нибудь знал, как мне хотелось иметь такие же зубы!

Меж соленьями и печеньями в наследственной бабушкиной вазе, хранимой до случая в сундуке, — черничное варенье. У нас в селе принято ставить варенье на стол, если у кого оно есть, сразу же, не дожидая, когда подадут чай. Пользуясь благостным моментом, я ложкою черпал варенье, обкапался. Бабушка, стесняясь гостей, не очурывала меня, а только с горестной безоружностью взглядывала на меня и молила глазами: «Ну будет, будет!» А я, будто ничего не понимал, возил себе и возил вареньице.

Меж тем в застолье все шло своим чередом. Бабушка подливала водочки в рюмки, пригубляла сама, пригубляла тетка Дуня, после чего успевала накрыть рюмку дяди Филиппа. Он снова разил ее взглядом, и она снова отдергивала руку, и снова, булькнув, укатывалась водка в широко растворенный рот дяди Филиппа. От рюмки к рюмке он накалялся, как самовар, и багровела его шея выше загривка, да, в отличие от своего брата Левонтия, мягчал взглядом дядя Филипп. Замечалось, что вот-вот он, не умеющий высказать свои чувства, всхлипнет, перецелует всех широкими губами, перетискает до хруста костей и спать отправится.

— Ты кушай, кушай, Филиппушка, — все понапрасну насылалась с закуской бабушка и пододвигала к нему тарелку за тарелкой.

— Что «кушай»? Что «кушай»? Я без кушанья...

Эти слова дяди Филиппа мы понимали так: «Не за кушаньем я приехал, и не в угощении дело! А в приглашении. И вообще я

тут всех сейчас очень даже люблю и стосковался я по тебе, крестная. И по брату стосковался. Не идет, горюн. Гордится. А я к нему пойду. Вот погостюю у тебя и пойду! Дунька пусть лучше не перечит и не докучает: ушибить могу. Кушать же мне совсем ни к чему, кушать я буду на судне, дома, а здесь я и так выпить могу, и ничего со мной не случится. Я человек не квелый, я речник-механик, плаваю не первый год. Зимовал, бывало, и на Крайнем Севере, да судно мое все одно в сроки пар пущало, хотя ни затону, ни притону там нету. Гайки к рукам зимою примерзали, когда судно к навигации готовили. А ты — «кушай»!..

Вот как мы со стороны понимали ничего не значащие слова дяди Филиппа. Бабушка даже слезу выжимала, оценивши глубину и смысл таких слов, и не раз советовала крестнику:

— Работал бы на берегу, отчаянная ты головушка! Порешишься либо утонешь. Шутка ли: утесы кругом, быки да каменья. Страсть — наш Енисей-то! Не река, а господь его ведает что.

— Хэ! — усмехался дядя Филипп и подмигивал мне — единственному мужчине за столом, и кивал в сторону бабушки: дескать, занятная у тебя старуха, но в нашем деле ни черта не понимает.

И я ему тоже подмигивал: мол, не обращай ты, дядя Филипп, внимания на такие советы. Я тоже, когда вырасту, в речники подамся, зуб хоть один, да вставлю и «капусту» попрошу. Возьмешь меня к себе? «Знамо, возьму. Куда тебя девать-то?» — отвечал мне взглядом дядя Филипп и опрокидывал рюмку. Но тетка Дуня раз от разу становилась смелее и строптивее:

— Филипп, хватит! Хочешь, как братец? Спиться хочешь?

— Не цепляй чего не надо!

Выведенный из терпения, дядя Филипп выразительно шмыгал носищем и смахивал со скамейки тетку Дуню.

— Э-э, крестничек! — грозила пальцем бабушка большеносому человеку в черном картузе. — Гляди у меня! Рукам волю не давай!

Дядя Филипп подхватывал тетку Дуню и шмякал рядом с собой на скамью. Он тут же выплескивал в себя рюмку водки, но уж как-то досадливо, без удовольствия и не занюхивал даже хлебом. А тетка Дуня принималась жаловаться и причитать:

— Вот так и живу, так и маюсь я, тетенька Катя. Изгаляется он надо мною дни-то и ноченьки. Ушла бы я от него, утопилась бы, дак ведь пропадет, краснорожий, без меня, пропьется весь до картуза...

Дядя Филипп втягивал воздух так протестующе, что нос его к уху загибался, а говорить ничего не говорил, и за эту гордость и невозмутимость уважал я его трепетно и благоговел перед ним. Вот это мужик! Сила!

Бабушка же, видя такое положение дяди Филиппа, сама урезонивала никак не унимающуюся тетку Дуню:

— Ну уж так уж и ушла бы... Какие вы ноне проворные! Эку волю вам дали! Я вон век отвековала, но таких речей не только сказывать, а и думать не смела. «Ушла бы!» Пробросаешься, милая! Ноне мужик-то какой пошел? То-то, девонька! Твоему ить картуз-то такой не зря даден. На картузе золото, а под картузом золотее того. А ты — «ушла бы»...

— Вот-вот. Это ты в точку, крестная. Я выпиваю, конечно. Нехорошо, конечно. Но я... — дядя Филипп сжимал кулачище и потрясал им под потолком, и мы все замирали, боялись за висячую лампу с абажуром. — Но я кординат не тер-р-ряю!

— Как же, как же не теряешь? А в Подтесове не терял будто? — вскидывалась тетка Дуня все еще обидчиво, но уже с нотками примирения в голосе — так действовала на нее бабушка.

— В Подтесове? — дядя Филипп бессильно ронял кулак. Был грех, видно, терял дядя Филипп «кординат» в Подтесове. — Так мы ж там на ремонте, не в рейсе ж...

— А в Дудинке? — наступала тетка Дуня, понимая, что дядя Филипп наполовину уже сражен и самое время добивать его.

— В Дудинке? — дядя Филипп краснел до самых бровей. — В Дудинке? Тьфу, трепло! — плевался он и уходил из избы, большой, сгорбившийся, ни чуточки не колеблющийся, в лихо сдвинутом на бровь картузе, со своим загадочным «кординатом», который мне казался вроде золотой капусты, но был спрятан где-то в нагрудном кармане, и если его потеряешь, то уж все — не человек ты...

И тетка Дуня подробно рассказывала, как потерял «кординат» в Дудинке дядя Филипп. Работал он тогда первый год на катере с дизельным пускачом. И набрался же на берегу до того, что ни тяти, ни мамы сказать не мог. А тут от причала гонят. Причал понадобился. Шумит начальство порта, штрафом грозится. Дядя ж Филипп не только мозгами, но и пальцем единым не владеет.

Чего только с ним не делали: и нашатырным спиртом терли, и водой обливали, и уши почти напрочь оторвали — не берет. Тогда капитан катера приказал волочь механика в машинное отделение и к дизелю его поставить.

Приволокли, поставили. Капитан как гаркнет: «Филипп, заводи!» Дядя Филипп раз-раз покрутил рычажки, колесики, ручки — и дизель завелся. Тогда капитан еще громче гаркнул: «Филипп, переводи на мотор!» И дядя Филипп выполнил команду точка в точку, не открывая глаз. А когда его отпустили, пал тут же, так и не проснувшись.

— А я что толкую? — поднимала палец бабушка, выслушав

этот рассказ. — Золотая голова! — Она собиралась обстоятельно вести разговор дальше, но тетка Дуня вдруг спохватилась:

— Ой, где же Филипп-то? Уж не к братцу ли ушел? Ой, матушки мои! Сойдутся — не растащишь! А та тетеря-то не досмотрит... — И, всполохнувшись, мчалась тетка Дуня искать дядю Филиппа, совершенно уверенная в том, что он без нее ни прожить, ни обойтись не может и что тетке Васене одной с братьями не совладать.

Но в последний раз все было не так. Тетка Дуня не накрывала рюмку дяди Филиппа, а только взглядывала на него с протяжной тоскою, длинно вздыхала и украдкой плакала. Дядя Филипп держался разухабисто, шумно, выкрикивал одну и ту же фразу из песни: «И н-на Ти-и-иххим океани-и свой зако-ончили по-оход!»

— Дунька, ты кого оплакиваешь? Меня? Ха-ха! Да я этих самураишек, во! — Он зажимал кулачище так, будто самураи были муравьями и он их давил в горсти.

Я потихоньку вылез из застолья и убрел на улицу.

Дядя же Филипп с теткой Дуней ушли «по родне» и появились у нас снова дня через три, усталые, осунувшиеся. Они отсыпались в широкой и чистой постели. Бабушка отпаивала дядю Филиппа огуречным рассолом и отводила душеньку, ругая его каким-то новым словом — некрут.

— Ну что, нагулялся, некрут? Наколобродил?

Дядя Филипп только кряхтел горестно и морщился. А бабушка:

— Когда вы с Левонтием все вино это проклятое выпьете? И когда вы, язвило бы вас, захвораете чем-нибудь, чтоб пить нельзя было, чтоб на сторону воротило?..

— И так воротит, крестная...

— Воротит? Как не поворотит! С ведро его выхлестал?

— Два наберется.

— Два?! — ужаснулась бабушка. — А та пигалица-то, — напустилась бабушка на тетку Дуню, таящуюся за спиной дяди Филиппа, — та кикимора-то нет чтоб мужика окоротить, норму ему определить, сама, холера, туда же! Ведь на чужу сторону уезжает... Совет да беседу бы мужу с женой провести, а они нате-ка...

Отпоив дядю Филиппа рассолом, бабушка послала его в баню, потом опохмелила, угощала стряпней. Полный мешок набила печенюшками, калачами, шаньгами, со слезами провожала супругов к лодке и там крестила дядю Филиппа при всем народе, и он смирено стоял под благословением, большой, сконфуженный и покорный.

Дядя Левонтий, не проспавшийся, с початой бутылкой в кармане, гремел на весь Енисей:

— Филипка, держи кардинат! Круши врагов на море и на суше! — и лез к брату обниматься.

— Да сокрушит, сокрушит, — уверяла Левонтия тетка Дуня, — не подавай только ему больше...

Дядю Филиппа и тетку Дуню выплавили на проходящий мимо села пароход. Пароход сбавил пар, взял супругов на борт. Дядя Левонтий плакал, бежал по берегу следом за пароходом, повторял слова, которые забыл сказать:

— Филипка, Филиппушка! Братан!..

Высыпавши на берег, деревенский люд почтительно говорил меж собою: «Шишка Филипп-то наш! Гляди, пароход застопорили. Выплыви бы кто из нас, так хоть заорись — не возьмет. Такой человек и в армии не затеряется. Его и в армии чином не обнесут...»

Потом я узнал — дядя Филипп оттого так рано нынче был в гостях, что «нибилизовали» его крушить «самураев». После нам приходило несколько писем с Дальнего Востока, затем из Финляндии.

Погиб дядя Филипп в сорок втором под Москвой, где командовал ротой сибирских лыжников.

А тетку Дуню я встретил совсем недавно на Красноярском речном вокзале. Стоял в очереди за билетом на пароход. Вдруг ко мне кинулась маленькая, узенькая старушонка и поцеловала шершавыми, как груздок, губами.

— Я гляжу, со щеки-то — вылитая бабушка-покойница. Ну чисто тетенька Катя!..

Слезы катились по ее усохшему лицу. И вся тетка Дуня сделалась как птичка, совсем махонькая, и носик у нее заострился.

— В Скиту живу, голубь, в Скиту, — рассказывала она о себе. — По-нонешнему-то в Дивном горске. Ну, это приезжие так зовут, а мы здешние все по-старому... Сошлась с одним уж лет десять как. Электриком состоит. — Она скорбно смолкла и отвернулась. — Что сделаешь? Жить надо. Не дождалась я Филиппушку с позиций. Помнишь ли его?

Я сказал, что помню. Тетка Дуня пальцем убрала со щеки слезу и уже буднично продолжала:

— Крутонравный покойничек был и пообидит, бывало, меня, а вот дня не проходит, чтоб не вспомнила я об нем. — Она еще помолчала, глаза ее остановились на каком-то далеком воспоминании. — Нонешний хозяин слова вкось не скажет, не то чтоб пальцем тронуть. А Филипп все одно с ума не идет. Так уж, видно, до гробовой доски и тосковать мне...

Я еще раз с тяжким сердцем вспомнил войну, еще раз подивился вековечной загадке — женской душе, еще раз восхитился великим и святым чувством, имя которому — любовь, и решил помянуть дядю Филиппа.

На пристани купил бутылку пятидесятиградусной водки — другой тут не было. Водку эту речники именовали тучей.

Пить одному мне не хотелось, и, когда погрузились в пароход, я зазвал к себе в каюту проходившего мимо матроса.

— Выпейте, пожалуйста, со мной, — предложил я и кивнул на налитый стакан. Матрос быстро взглянул на меня: не пьяный ли?

— За что выпить?

— За дядю Филиппа. До войны он механиком плавал на этом пароходе.

Матрос покрутил стакан в руке.

— Не помню. — Он еще посидел, еще повертел стакан в руке и стеснительно повторил: — Нет, не помню.

«Где уж тебе помнить, — подумал я. — Ты до войны-то еще босиком по берегу за пароходами гонялся».

Матрос выпил полстакана, закусил кусочком колбасы и поднялся:

— Извините, больше не могу. Скоро вахтить.

Он ушел. Пароход «Спартак» — единственный пассажирский пароход, уцелевший из «стариков», — развернулся и суетливо зашлепал плицами, оставляя позади город, шумы его, дымы его и мосты.

Народу на пароходе мало. Все ездят нынче на новеньких быстроходных кораблях. Это я решил потешить свою блажь.

«Спартак» миновал пригород, свистнул тоненько на Лалетинском шивере и пошел меж бакенов. Его старинный переливчатый и музыкальный гудок так ни разу за рейс и не оказал себя. Гудеть полным гудком запрещено. И что-то еще откололось и ушло из моей жизни вместе с этим гудком. Поговаривали, что и сам «Спартак» дохаживает последние навигации, что его скоро на дрова пустят либо приспособят под какое-нибудь полезное заведение.

Побухивали внизу подо мной колеса парохода, подрагивало стекло в раме, покачивалась подвешенная над палубой шлюпка. Весь пароход поскрипывал, позвякивал и тяжело, как конь на подъеме, дышал. На столе бился о бутылку стакан. Была водка, времени дополна, но не с кем было выпить за дядю Филиппа — судового механика, не с кем.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

В тридцать третьем году наше село придавило голодом. Замолкли песни, заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Шумные ватаги ребятишек не сыпались на санках с яра, скотина во дворах ревела под ножом, кони начали падать среди улиц. Сразу захмурели и словно бы состарились дома. Углы у них были, как челюсти у голодных людей, сухи и костлявы.

Кто как, кто чем добывал в эту пору пропитание. Охотники шастали по тайге, отыскивали диких коз, сохатых, маралов, медвежьи берлоги. Но снега в ту зиму были глубокие. Кроме того, есть поверье, будто людская беда чуется и зверьем, якобы отходит зверь дальше в тайгу и в неприступные горы.

Удачливый человек Александр Ярославцев все же добыл медве-

дя. Братья Бетехтины привезли трех коз. Поделились охотники с соседями чем могли, но у каждого своя семья, родни и друзей не перечесть. Какое это мясо! Червяка голодного заморить селу не хватит.

Город всегда был бедой и выручкой наших селян. Он потреблял деревенскую продукцию: дрова, молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды. Он одевал и спаивал. Он был гостеприимен, пока получал из деревни, что ему надо было. С пустыми руками и с порожними подводами город встречал мужиков неохотно. Он и сам был голоден, этот большой и теперь неприветливый город.

В тот год, именно в тот год, безлошадный и голодный, появились на зимнике — ледовой енисейской дороге — мужики и бабы с котомками, понесли барахло и золотишко, у кого оно было, на мену, в «Торгсин».

Наша семья, ведомая бабушкой, изворотливой в хозяйстве, предприимчивой в делах, не раз голодавшей и бедовавшей за свою жизнь, мало-мало перебивалась.

Бабушка усохла. Кость на ней выступила, а характер ее, крутой и шумный, заметно смягчился.

— Ничего, мужики, ничего. До весны дотянем, а там...

Мужики — дедушка, Кольча-младший и я — слушали бабушку и понимали, что с нею не пропадем, лишь бы не сдала она, не свалилась. Потом снова пришел жить еще один «мужик» — Алешка. Тетка Августа перешла с лесозаготовок на Усть-Манский сплавной участок. Заимки наши на Мане перестали существовать — сплавщики скупили многие дома, а на полях пошла работа другого порядка: катали и возили по ним лес, громоздились штабеля там, где росли картошки, рожь и пшеница. Дед без пашни как-то потерялся, не знал, куда себя девать и где хлеб сеять.

— Чего сделаешь, мужики? — толковала бабушка насчет Алешки. — Куда его денешь? Гуске паек выдавать на сплаву будут...

Она словно бы оправдывалась за Алешку. Но в нашей семье и раньше не принято было обсуждать бабушкины действия, а теперь и подавно.

Августа по воскресеньям приходила с Усть-Маны, приносила маленько муки, крупы. Один раз консерву принесла «поросенок в желе». Желе это самое, по-нашему студень, в банке было, а поро-

сенка мы там не нашли. От него в банку запечатали шкурку с косточкой.

На Августин паек надеяться нечего — поняли мы после «поросенка в желе». Бабушка затолкала в котомку вязаные праздничные скатерти, отнесла их в город и променяла на хлеб. Потом дедушкин новый полушубок отнесла, потом свою, бережно по деревенской традиции хранимую — для смертного часа — одежду: платье, чулки, платок, чувяки и нижнюю бязевую юбку.

Есть надо было каждый день, а барахло на рынке все падало и падало в цене. Да и сколько барахла в крестьянской семье, которая никогда не жила в больших достатках?

Бабушка несколько раз снимала самодельный фанерный чехол с машинки «Зингер», оглаживала рукой ее изношенное тело так, будто та была живая и теплая. Но машинка была так стара, так некорыстна с виду, что за нее ничего бы и не дали. Кроме того, работала эта машинка лишь потому, что бабушка до тонкостей знала ее характер. Заурусит, бывало, машинка — нитки рвать станет или вовсе шить откажется — бабушка поднимет ее корпус, обнажит с исподу сложные механизмы, поглядит, поговорит с машинкой, пальцем ткнет в одно, в другое место, где из масленки помажет, где сметаной, плюнет, дунет — и, глядишь, застрочила машинка пулеметом, ожила на радость нашего и всех ближних домов.

Машинка эта хотя и была бабушкина, но в то же время как бы принадлежала и многим другим людям. Бабушка обшивала на ней почти полсела. И хотя сейчас шить никто ничего не приносил, бабы все же с беспокойством заглядывали в нашу горницу — здесь ли машинка «Зигнер»? Видать, всем им, да и бабушке тоже, казалось, что пока есть машинка, стоит на своем месте — живы и надежды на то, что поработает еще она и будут люди шить обновы.

Из разговоров я понял, что бабушка уж и не прочь бы «оторвать от сердца машинку», но чтоб только не увозить ее из села, здесь бы кому променять, и потом либо выкупить ее обратно, либо знать, что тут она, машинка-то, поблизости, что всегда на нее посмотреть можно, даже пошить, и таким образом машинка как бы не совсем уйдет из бабушкиной жизни.

Но никто в деревне машинку не выменивал, а когда отказался от нее и заезжий ямщик из верховских, сказавши, что пока он ее довезет, так она и рассыплется по винтику, бабушка обрадованно успокоилась:

— Да я лучше пересолю и выхлебаю, чем машины решусь...

Но пересаливать и хлебать совсем сделалось нечего. Начали и мы есть картофельные очистки, неободранное просо пополам с мякиной, всякую дрянь стали есть.

Я всегда был в семье на особом положении. И мне всегда отделялся самый лучший, самый сладкий кусок. И никто против этого не возражал — так должно быть, так положено.

А после того как я переболел лихорадкой, да еще ревматизм меня донимал постоянно, все наши особенно заботились обо мне и отказывали себе во всем, только чтоб я был сыт, одет и не хворал.

Ослабел я скорее всех. Начал опухать. И ноги, худые мои ноги перестали меня слушаться, ходил я шатаясь, и голова у меня кружилась.

Тягостно и угрюмо сделалось в нашем доме.

Стойко державшаяся бабушка все чаще смахивала с лица слезы, и тревожный ее, иссушенный бедою взгляд все дольше задерживался на мне.

Однажды наелись мы мерзлых картошек. С молоком ели картошки, с солью, и вроде бы все довольны остались, но меня начало мутить и полоскало так, что бабушка еле отводилась со мною.

— Мужики!.. Надо что-то делать, мужики... — взревела она. — Пропадет парнишка. А он пропадет — и я не житель на этом свете. Я и дня не переживу...

Мужики тягостно молчали, думали. Дед и прежде-то говорил только в крайней необходимости, а теперь, лишившись заимки, вовсе замолк, и добиться от него разговора сделалось совсем невозможно. Бабушка глядела на Кольчу-младшего, тоже осунувшегося, посеревшего. А был он всегда румян, весел и деловит, как бабушка. Мне показалось, что бабушка смотрела на Кольчу-младшего не просто так, а с каким-то скрытым смыслом, ровно бы ждала от него какого-то решения или совета.

— Что ж, мама, — заговорил медленно Кольча-младший и опустил глаза. — Тут уж считаться не приходится... Тут уж из двух одно: или потерять парнишку или...

Бабушка не дослушала его, уронила голову на стол и разрыдалась. И не голосила она, не причитала, как обычно, а плакала, как-то загнанно, надсадно всхрапывая. Кости на ее большой, плоской спине ходуном ходили, а руки, выкинутые на стол, лежали мертво. Крупные, изношенные в работе руки с крапинками веснушек, с замытыми, переломанными ногтями лежали как бы отдельно от бабушки.

Кольча-младший достал кисет, начал лепить цигарку, но отвернулся, ровно бы поперхнувшись, закашлял и с недоделанной цигаркой, с кисетом в руке быстро ушел из избы, бухая половицами.

Дед крякнул скрипуче, длинно и вышел следом за Кольчеймладшим.

Состоялся какой-то важный и тягостный совет. Какой, я не знал,

а только смутно догадывался, что касался он меня. Почему-то взбрело мне в голову, будто хотят меня куда-то отправить, может, к тетке Марии и к ее мужу, Зырянову, у которых я уже гостил однажды, в год смерти мамы, но жить у бездетных и скопидомных людей мне не поглянулось, и я выпросился поскорее к бабушке.

— Бабонька, не отправляйте меня к Зырянову, — тихо сказал я. — Не отправляйте. Я хоть чего есть стану. И картошки голые научусь... Вон Санька сказал — сначала только с картошек лихотит, а потом ничего...

Бабушка резко подняла голову, взглянула на меня размытыми, глубоко ввалившимися глазами:

— Это кто же тебе про Зыряновых-то брякнул?

— Никто. Сам подумал.

Бабушка подобрала волосы, вытерла глаза ушком платка и прижала меня к себе.

— Дурачок ты мой, дурачок! Да куда же мы тебя отправим? Удумал, нечего сказать!

Она отстранила меня и ушла в горницу. Там запел, зазвенел замок старинного сундука, почти уже пустого, и я не поспешил на этот приманчивый звон — никаких лампасеек, никаких лакомств больше в сундуке бабушкином не хранилось.

Бабушки не было долго. Я заглянул в горницу и увидел ее на коленях перед открытым сундуком. Она не молилась, не плакала, а стояла неподвижно, ровно бы в забытьи. В руке ее было что-то зажато.

— Вот! — встряхнулась бабушка и разжала пальцы. — Вот, — повторила она, протягивая мне руку.

В глубине морщинистой темной ладони бабушки двумя цветками горели золотые сережки.

— Матери твоей, покойницы, — пошевелила спекшимися губами бабушка. — Все, что и осталось. Сама она их заработала к свадьбе. На известковом заводе бадоги с Левонтием всю зимушку ворочала. По праздникам надевала только. Она бережливая, уважительная была. Мастерица на все руки...

Бабушка смолкла, забылась, что-то вспоминая, а рука ее все так же была протянута ко мне, и в морщинах и трещинах ладони солнечно поигрывали круглые сережки.

Я потрогал сережки пальцем, и они катнулись на ладони, затинькали чуть слышно. Бабушка мгновенно зажала руку, будто испугалась.

— Тебе сберегчи хотела, — заговорила она. — Память о матери. Да наступил черный день...

Губы бабушки мелко-мелко задрожали, но она не позволила се-

бе ослабиться еще раз, не расплакалась, а захлопнула крышку сундука и пошла в кутью. Там бабушка завернула сережки в чистый носовой платок, затянула концы его зубами и велела позвать Кольчу-младшего.

— Собирайся в город, — сказала бабушка ему. — Я не могу...

Кольча-младший надел старый полушубок, подпоясался, убрал сверток за пазуху. Все он делал молча и прятал глаза от меня. Кольча-младший плыл в лодке вместе с моей мамой, был кормовым, а мама на лопашнях. Еще в той лодке была тетка Апроня и с ними семеро или восьмеро людей, но утонула одна моя мама. Когда лодка налетела на головку сплавной боны и опрокинулась, маму затянуло вихревым течением коренной воды по бону, и она зацепилась косой за проволочную перевязь.

Ее искали много дней. Нашли верстах в десяти ниже деревни, у Шалунина быка, с отопревшей косой и без пальца.

Я слышал, что палец вместе с обручальным кольцом отрезали сплавные пикетчики, поймавшие утопленницу багром, но горе было так велико, так оно всех раздавило, что бабушка и вся наша родня не пожаловались на пикетчиков в сельсовет. Бабушка лишь говорила потрясенно:

— Зачем же над мертвой-то галились? Ведь покарает господь за надругательство. А я бы и так отдала кольцо, все бы отдала, что есть у меня...

Мамы нет уже давно, а Кольча-младший не находит себе места, все старается лаской и добротой загладить какую-то вину свою, хотя он ни в чем не виноват. Смерть причину найдет — так говорят люди.

Каково-то идти ему в город, сдавать в «Торгсин» мамины сережки?

— Ну, с богом! — перекрестила бабушка Кольчу-младшего. — Хорошеньче смотри за платком-то. Жуликов да мазуриков в городе тучи развелись.

Ничего на это не сказал Кольча-младший. Он закурил, поднял воротник полушубка, надел собачьи лохмашки и с цигаркой в зубах вышел из избы.

— Ты тоже шел бы на улку, к дедушке, — отвернувшись, молвила бабушка пустым, ровно бы из осинового дупла идущим голосом.

Я собрался и отправился к дедушке, под навес, где он связывал метлы и смолил табак, заглушая голодную, сосущую нудь в животе.

Бабушке хотелось остаться одной. Всегда ее тянуло к людям, всегда она была среди них, всегда в гуще всех событий и в курсе всех деревенских дел, а сегодня ей надо быть одной.

И мы с дедом не тревожили ее. Осторожно, как воры, пробрались в избу уже под вечер.

В доме тихо, сумрачно. Бабушка пластом лежала на кровати. Лампу мы в этот вечер не зажигали и ужинать не садились. Керосин у нас кончился, и есть было совсем нечего.

* *

Кольча-младший принес из города пуд муки, бутылку конопляного масла и горсть сладких маковух — мне и Алешке гостинец. И еще немножко денег принес. Все это ему выдали в заведении под загадочным названием «Торгсин», которое произносилось в деревне с почтительностью и некоторым даже трепетом.

Бабушка завела квашню, намешала в муку мерзлых картошек, мякины, чтоб побольше хлеба получилось, и, когда отстряпалась, половину плоских караваев, не вытронувшихся из-за примеси, засунула в котомку. Туда же бросила она узелок с солью, горсть луковиц, и Кольча-младший снова отправился в дорогу. С обозом он отбыл в верховские, богатые села. Верховскими у нас называли села, расположенные в Дербинском, Минусинском районах и прихакасских степях, потому как все это находилось в верховьях Енисея. И люди тамошние, и обозы, идущие оттуда, большие, длинные обозы с кладью, тоже звались верховскими.

Кольча-младший уехал наниматься на молотьбу. Он умел обращаться с молотилкой, и, как утверждала бабушка, равных ему по ловкости и сноровке возле барабана не могло сыскаться.

Что это за барабан такой, я не знал. Мне был известен лишь один барабан, в который палками колотят. Но на барабане Кольча-младший намеревался заработать хлеба, и мы стали его ждать.

Дедушка нанялся пилить дрова в сельсовет, и в большом нашем доме, где дополна было когда-то народу, сделалось тихо, пустынно, и бабушка заколотила дверь в горницу, чтобы не жечь лишние дрова.

Мука из «Торгсина», как ее ни растягивала бабушка, как ни экономила, вся до пылинки исстряпалась, и надо было что-то снова есть.

Дедушка тем временем испилил дрова в сельсовете и получил деньги. Получил он их немного, всего на булку хлеба, как определила бабушка. Она отправилась в город с деньгами, заработанными на дровах ослабевшим от голода дедушкой.

Возвратилась бабушка вечером, с черемуховым бадожком в руке. Первый раз взяла она тогда бадожок и до смерти уж с ним

не расставалась в дальнем походе. В котомке бабушка принесла серый, в банный таз величиною, каравай.

— Отрежь скорее парнишке кусочек, — слабо сказала бабушка деду. — Замер вовсе парнишка. И себе отрежь...

Она сидела на скамейке не раздевшись, положив обе руки на черемуховую палку. И очень заметно бросилось мне в глаза, какая она стала старая и как согнулась в спине.

Дед вынул каравай из котомки, взвесил его на руке и оглядел. Заросшее, и без того хмурое, его лицо запасмурнело совсем.

— Чего ж не поела-то? Дорогой свалилась бы. Лучше, что ль?

— Да я отколупнула корочку, пососала и дотащилась вот, слава богу. Я что? Я — ломовой конь. Режь, режь! Ждет ребенок. Алешка-то где?

Я сказал, что Алешка ушел к матери на Усть-Ману, там столовку открыли и кормят сплавщиков казенной пищей. Августа Алешку возле себя теперь прокормит. Они теперь без горя проживут.

— Ну и ладно. И ладно. Ты чего, отец? Умер ли, чё ли? Прямо беда с тобой...

Дед стоял с ножом в руке над разрезанным караваем и не поворачивался к нам. Спина его, плечи, руки обвисали ниже, ниже, будто сделался он весь тряпичный, будто и кости смололись в нем сразу, и стал он меньше ростом.

— Ты чего? — тревожно повторила бабушка.

— Омманули тебя на базаре,— глухо вымолвил дед и воткнул ножик за настенную дощечку, за которой торчали вилки, ложки.

— К-как омманули? — Рот бабушки вдруг начал беззвучно шевелиться, сделался черным. Я закричал и прикрыл глаза руками.

Дедушка схватил меня и понес к рукомойнику.

— Ат жисть, мать твою! Ат чё деется! — бубнил он, умывая меня холодной водой. Деда всего трясло, и он все бормотал, бормотал, как в бреду. И, не слышавший от деда больше трех или пяти слов за день, я совсем испугался и попросил подсадить меня на печь.

Каравай оказался с начинкой, туфтой, как тогда говорилось. Он только сверху каравай, а в середине его запечена мякина.

Бабушка проклинала себя — где были у нее глаза?! — спрашивала. — Лучше бы ей в дороге помереть! — говорила. Счастьем бы она посчитала, если б не дожила до этих дней, не видела бы такого злодейства и жульничества.

Голосила и причитала бабушка долго. Причитая, она успела между прочим рассказать, как обрадовалась, когда узрела этот большой каравай, как ее насторожила спервоначала сходная цена, как она боялась, чтоб каравай не перехватили, и оттого не разло-

мила его, полоумная, и как выглядели продавцы — вполне хорошо выглядели, одеты в городское. Рассказала и о том, будто скоро все наладится, будто городским хлеб по карточкам начали выдавать, и драк больших на базаре уж нету из-за продуктов.

По мере того как выговаривалась бабушка, легче становилось у меня на душе и дома не так уж страшно было.

Вот когда рот бабушки беззвучно шевелился и когда сидела она неподвижно на скамье каменная, тогда страшно. А так ничего. Так все наладится. Сейчас бабушка поголосит, облегчится и что-нибудь сообразит.

И в самом деле бабушка скоро позвала меня в кутью.

— Гложи корочку-то. Корочка у каравая, будь он неладен, хлебная. Мякину-то выковыряй и гложи. Отец, ты тоже поешь маленько. Чё сделаешь? Им, супостатам, отольются наши слезы. Отольются. А гляди-ко, чего я принесла-а-а! — пропела бабушка, полезла за пазуху и вынула черненький, мохнатый комочек. Он сразу запищал и начал тыкаться носом в бабушкину ладонь. — Тоже жрать хочет, язвило бы его! — через силу улыбнулась бабушка и с непривычной, какой-то детской беспомощностью поглядела на меня, на деда. И было в этом взгляде: «Ну, дура я, старая дура! Можете судить меня, казнить, мне уж все едино. Только хотела я как лучше...»

Никто ее судить и казнить не собирался.

— Где это тебе такую чуду бог послал? — мирно прогудел дедушка. Он взял за загривок щенка двумя пальцами и поднял в воздух. Щенок разом замолк и только дрыгал задними лапками, отыскивая опору.

— Породистый, видать, холера! Не орет, — заключил дедушка. Дед сроду охотником не был, в собаках ничего не понимал, однако мы согласились с ним — щенок породистый, уж очень он лохмат и уши у него большие, вислые.

— Тащусь это я у домов отдыха, — рассказывала бабушка уже привычным, напевным голосом, — а он, горюшко, копошится в снегу, верещит. Выбросили его на мороз — околевать. До собак ли? Остановилась это я возле щенка, гляжу на него и плачу, про Витьку нашего думаю. Не будь нас, может, так же околевать бы его выбросили... — Бабушка вытерла платком уже легкие, жалостливые слезы и начала раздеваться. — Сейчас я, сейчас, мужики. Из коровенки вытяну молочка. Не надо бы доить ее. Теленок замрет во чреве. Ну да последний раз. А вы пока гложите корку-то, гложите. А щененку-то, Витька, палец дай. Он и уймется. Не омманешь — не проживешь, так выходит, — заключила бабушка и сердито покосилась на раскроенный каравай. — Я скоро. — Она схватила подойницу с полатей и поспешила во двор, а мы с дедом стали выдерги-

вать из корочек мякину. Самую большую, выпуклую, будто крышка черепа, корку мы отложили бабушке.

Щенок чмокал, шибко прижимал мой палец к ребристому нёбу, постанывал и дрожал от голодной истомы.

Вернулась бабушка, принесла на дне подойницы молока и первым делом плеснула щенку. Затем она вынула чугунок из печи, налила всем кипятку и забелила его молоком.

Мы макали корки в чай. Ел дедушка, ела бабушка, ел я, ел лохматый щенок. Он побрякивал банкой и захлебывался.

— Ишь ведь язва, жрет, жре-о-от! Жить хочет! — сказала бабушка, глядя на щенка, и тут же вздохнула: — Каждой божьей твари жить надобно. Ничего, мужики, ничего, выкарабкаемся. Вот коровенка, бог даст, скоро отелится. Кольча хлеба, может, заробит. Нам бы до весны токо, до травочки дотянуть... Наелся, место ищет, — добавила бабушка. Щенок дохлопал молоко язычишком и ходил крутами по кутье на расползающихся ногах. — Ты его с собой на печь возьми, заколел он так, что за всю жизнь теперь не отогреется.

И я забрал щенка с собой на печку. Он заполз мне под мышку, угнездился там и заснул, грея меня своим еле ощутимым дыханием. А я гладил его по кудрявой шерстке и размягченно думал о том, что «супостатам» отольются бабушкины слезы и что щенок вырастет, собакой сделается.

— Баб, а баб, а как мы его звать будем?

— Щененка-то? Да так и будем звать — Шариком. Он ведь ровно шарик. Так и будем. Дрыхнет?

— Спи-ит. Под мышку забрался и спит. Щекотно мне от него.

— Пусть спит. Добро человеческое, батюшко, никогда не пропадает. И человека, и животину жалеть надо, потому как у животной тоже душа есть. Памятливая душа. Добро животная пуще человека помнит. Мы вот Шарика отогрели, покормили. Множко ли ему и надо-то? А в дому сразу как-то легче сделалось. И помяни ты мое слово... — Бабушка прервалась, прислушалась к чему-то в темноте настороженно и разом снялась с кровати: — Ой, больше, Кольча приехал! Отец, ты ничего не слышал?

— Да навроде бы ворота скрипели.

— Кольча это, Кольча! — уверенным уже голосом подтвердила бабушка и зашуршала юбкой. — А я еще вечор думала... Вот! Вот он, Шарик-то! Знамение это мне вышло, в образе его ангел-спаситель явился...

Когда мы вышли с дедом на улицу, бабушка уже успела расцеловаться с Кольчей-младшим, что-то говорила ему торопливо и плакала одновременно.

— Витенька! Живой!.. — шагнул ко мне Кольча-младший, поднял на руки, прижал к небритой щеке. — Вот и ладно! Вот и ладно! А я тебе гостинец привез!..

* *

До весны, до травки мы дотянули, но с машинкой «Зигнер» пришлось все-таки разлучиться. Променяли ее за мешок картошек — садить было нечего. Первый раз в том году садили наши селяне разрезанную на две, а то и на четыре половинки картофелину и шибко сомневались в будущем урожае. В том году вообще много чего происходило и делалось в первый раз.

Когда выносили машинку верховские мужики, бабушка ушла из дому, а потом голосила, как по покойнику, и утешиться долго не могла.

Хотя от травки до свежего хлеба и овощей было еще далеко — и как далеко! — ведь каждый голодный месяц, да что там месяц, день! — это вечность, — все же легче жить сделалось.

Кольча-младший вступил в колхоз и женился. В нашем доме появилась песельница и хохотунья Нюра, беловолосая, легкая нравом, быстрая на ногу. Она пришлась мне по душе, и мы с нею сделались друзьями.

С бабушкой у них не ладилось. Бабушка, видите ли, самолично наметила Кольче-младшему невесту, степенную, смиреную, телом дебелую. Я и потом не раз замечал, что люди генеральского склада, вроде моей бабушки, души не чают в тех, у кого характер ангельски-тихий. Но времена, когда женили, а не женились, к великому огорчению бабушки, прошли. Как-никак город от нашего села находился всего в восемнадцати верстах, и хотя отгораживали его от нас утесы да скалы, все равно вольный безбожный его дух долетал к нам и переворачивал все вверх дном.

Бабушка кляла городское поветрие, сулила глад и мор, стращала людей тем, что будут по небу летать железные птицы и огненные змии, что льдом и холодом покроется земля, как сказано в каком-то писании, которого она не читала и читать не могла, потому как грамоты совсем не знала.

Но глад наступил. Мор, хоть и небольшой, тоже был, и железные птицы — аэропланы уже летали над горами. Все сбывалось по бабушкиному писанию. Напуганный жуткими предсказаниями, я забивался под крыльцо или на печку, когда аэропланы пролетали над селом.

Однако боялся железных птиц я да старухи и еще кое-какие ребятишки со слабым пупком. Орлы дяди Левонтия ничего не боя-

лись, и, когда аэроплан гудел над селом, они, голозадые, высыпали на улицу и кричали в небо:

> Ироплан, ироплан!
> Посади меня в карман!
> А в кармане пуста,
> Выросла капуста!..

Дела наши становились лучше и лучше. Корова благополучно отелилась, Кольча-младший и Нюра работали на посевной, и выдавали им помаленьку жита. Августа на сплавном участке вышла в ударники, и ей надбавили паек. Теперь она подсобляла и нам маленько — через день отправляла порцию каши из столовки.

Вместе с Августой работал на сплаве старший сын бабушки — дядя Ваня. За харчем к нему бегал Кеша. Через гору бегал, через ту самую, какую одолел я когда-то в новых штанах. Кеша и нам попутно кашу доставлял.

Ни один уважающий себя чалдон, будь он хоть какого возраста, никогда пешком не пойдет, если есть рядом вода и несет она бревна.

В летнюю пору все наши селяне плавали на саликах — двух, трех или четырех бревнах, сколоченных скобами или связанных проволокой. Чаще на двух. Четыре — это уж была роскошь. Приезжий люд зажмуривался от страха, узрев человека на двух бревнах посреди бешеной реки. Иной раз незнающие люди спасать выплывали наших и, обруганные, сконфуженные, возвращались назад и разводили руками.

Получив на сплавном участке пайку отца и Августы, Кеша обычно связывал или сколачивал два бревна, пристраивал на них кастрюлю с ухой, в кастрюлю — чашку с кашей, в кашу — горбушку хлеба. Затем выбирал доску, какую полегче, и с таким «веслом» отбывал к селу, где я, бабушка и Шарик уже ждали его.

А потому как за харчем бегал не один Кеша и плавать все любили, то скобы со сплавного участка уже перетаскали и проволоку добрую извели.

Один раз Кеша связал посередине два толстых бревна завалящим концом веревки. Сначала он плыл ладно. Песни пел. Салик шел ходко, бухал в боны да в бревна. А потом поволокло салик к Манскому быку. Бык этот выступает в реку, и вода бьет в его угол. Здесь, как у Караульного быка, есть пещера-унорыш, только глубже еще, провальней. В пещере вода клокочет, бурлит и потом, взлохмаченная, мятая, кругами выбрасывается оттуда и мчится под нависшим брюхом ржавого утеса.

Тут уж не зевай!

Кеша умел хорошо управляться с саликом и под Манским быком проплывал много раз. Но в тот день «весло» обломилось в са-

мый неподходящий момент. Обломком доски Кеша не урулил салик, и его затащило под бык. Затащило, стукнуло — и бревна разошлись: лопнула веревка. Но Кеша не о себе и не о салике хлопотал в эту гиблую минуту, а о кастрюле с пайкой. Кастрюлю он сграбастал, не дал ей утонуть. Меж тем ушла от него половина салика. Остался Кеша на одном бревне и, чтобы не сверзиться с него, сел верхом, спустил ноги в студеную воду — и понесло его дальше, без весла, с кастрюлей в руках.

Надо сказать, что все ребятишки в нашем селе страшно любят купаться, и не просто так купаться, а рискованно — вертеться на бревнах, подныривать под боны и вообще разнообразить это дело. За весну и лето пяток, а то и больше ребятишек тонут, но привычку играть со стихией это не останавливает.

И вот сидим мы на бережку: я, бабушка и Шарик. Я камни в воду бросаю, бабушка о чем-то думает, а Шарик умильно смотрит на нее и хвостиком по гальке колотит так, что шебаршит и рассыпается галька.

Вдали показался человек вроде бы и на салике, но без весла. И таскает этого человека, кружит, поворачивает то передом, то задом, о боны стукает, а он не гребется.

Бабушка руку ко лбу приложила. Смотрела, смотрела и давай ругаться:

— Опять какой-то сорванец на лесине катается! Опять, язвило бы его, балуется! Ну сорвиголовы! Ну сорвиголовы! И тонут, и гинут, а все неймется!..

У меня глаз поострее. Я вижу, что Кеша это, что авария у него случилась, а как сказать бабушке, не придумаю. Между прочим, шумела бабушка для вида и порядка. Сама тоже в город на салике плавает. Положит котомку на бревна, перекрестится на известковый завод, где утром солнце стоит, усядется на салик и скажет:

— Отталкивай, батюшко! Осподи, баслови! — И я оттолкну ее, и она поплывет себе, веселком погребая. А как увидит катер или пароход, закрестится, начнет махать веслом: «Ходу! Ходу сбавляй!» — чтоб не смыло ее с салика.

Бабушка все суровей смотрит на воду, а Кеша все ближе подплывает.

— Тошно мне! — хлопнула бабушка себя руками. — Да это, больше, Кешка наш? Это что же ты, каторжанец, плаваешь на одном бревне, а?..

— Вожжа-а-а-то лопнула-а-а! — заревел Кеша на всю реку. — Ловите меня-а, а то пайку утоплю-у-у-у!

Столкнули мы с берега чью-то лодку и поймали Кешу ниже села. Еле пальцы Кешины разжали — так крепко он держал кастрю-

лю за дужки. Бабушка и ругалась, и смеялась, а Кеша носом хлюпал и сушился на печке. Вечером бабушка лечила его и наказывала дяде Ване, чтобы он в кузне наковал скоб и сам бы делал Кеше салик, а не то Кеша пайку утопит и, не ровен час, сам себя порешит.

Спала коренная вода на Енисее. Жалица, щавель, редька дикая, медуницы, петушки и много чего выросло в лесу и на лугах. Скоро хлеб печь стали наподобие кирпичей, в церкви, приспособленной под пекарню, и выдавать понемногу на каждого едока.

Бабушка причитала и ругалась по этому случаю: изничтожение, мол, не только храма божьего, но и женской половины начинается. От печки баб устранили, значит, их на мыло переделывать надо. Зачем они? Хлеб этот, кирпичом который, она ни за что есть не станет, потому как машиной воняет и на хлеб вовсе не похож.

— Не блажи-ко ты, не блажи! — сказал ей дедушка.

Она зашумела на него, говорила, что он безбожник, что крестится только для блезиру — перед едой, чтоб не подавиться, да перед севом и сенокосом молится, чтоб удача была, и потому хлеб ему есть можно, а ей неподходяще «скоромиться».

Но хлеб кирпичом бабушка есть все же стала — голод-то не тетка!

— Любая пища от бога, а этот еще и в святом месте испеченный, значит, и вовсе он божий, — чуть смущенно уверяла бабушка. — Ись не будешь — прогневаешь его, милосердного...

Шарик, который упоминался уже не раз, выжил, вырос, и пришел черед о нем рассказать подробней, так как немалое место он занял в моем детстве и памяти о тех далеких днях.

Шарик ходил за бабушкой по пятам, и она звала его насмешливо ангелом-хранителем. Между Шариком и бабушкой шла постоянная, затяжная борьба, в которой победы чаще одерживал Шарик.

Главная цель в жизни Шарика — пробраться в избу, вылакать у кошки молоко и помочиться на веник под рукомойником.

Когда Шарик рос, его все как попало обзывали, тискали и чесали пузо. И теперь он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным и поперечным, и никто не мог пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его сытое и пыльное пузо.

— Чтоб ты сдох! — говорили Шарику. — Экая ты падла! Экая ты балованная тварь!

Шарик жмурился, высовывал кончик красного языка от блаженства и потешно дрыгал задней лапой.

Не думаю, чтоб Шарик понимал, чего ему говорили, но одно он усвоил твердо: чем глупее себя вести, тем выгодней и лучше прожить ему можно.

Однако в нашем селе одной глупостью обойтись нельзя. Нужна еще и осторожность. Она пришла к Шарику не сразу. Тот не охотник, тот не хозяин считался у нас, кто не держал свору собак. И каких собак! Во время голода поредел деревенский табун псов, но как только полегчало с едой, снова во дворах появились собаки и начали шляться по селу. Собак у нас держали только лаек. Они на людей не бросаются, зато меж собой грызутся постоянно.

Шарика деревенские псы, должно быть, принимали за какую-то диковинную зверушку и постоянно дежурили у наших ворот, чтоб скараулить эту зверушку и разорвать. В подворотне все время торчали три-четыре собачьих носа. Псы втягивали воздух, рычали угрожающе и скалились.

Шарик миролюбиво подергивал хвостиком и подползал на брюхе к воротам, чтобы поиметь знакомство и войти в собачью семью добрым другом и товарищем.

Кончилось это для него худо. Как-то поднялся за нашими воротами вой, визг, лай.

— Тошно мне! — закричала бабушка и помчалась из дому. Я за ней. — Шарика вертят! Шарика вертят!.. Цыть! Язвило бы вас! Цыть! Волки ободранные!..

Принесла бабушка Шарика из-за ворот на руках, почти бездыханного, слабо постанывающего.

Бабушка облепила Шарика опарой, листьями подорожника и завернула в старую шубу. Он несколько дней лежал на печи, больной и тихий.

— Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? — корила бабушка Шарика, точно как меня. — Не лезь за ворота, не лезь! Так ты, язвило бы тебя, послушаешь? Послушаешь?..

Шарик слабенько колотил хвостом в ответ, мол, что сделаешь, промашка вышла. Хотел по-доброму в коллектив войти, вон люди и те в колхоз для чего-то ж объединяются...

Вот тогда-то, во время болезни, изнеженный вконец Шарик и повадился есть у кошки молоко и ходить на веник. Страсть эта вошла в него навечно и оказалась неистребимой.

Уж как ни стерегла, как ни караулила бабушка Шарика, он все равно улавливал свой момент.

— Я те удозорю! Все едино удозорю и носом натычу! — грозилась бабушка, и, надо сказать, настойчивая она была в выслеживании Шарика.

Вот он вылез из-под кухонного стола, потянулся, а бабушка лукбутун в окрошку режет и на Шарика никакого внимания. Шарик ткнулся в кошачью посудину — нет там молока, он его уже подчистил. Шарик все же побренчал банкой и подался к рукомойнику.

Бабушка лук режет, но вся она напряжена до предела, вся настороже.

Шарик нюхает веник, отходит, со вздохом бухается на брюхо среди кутьи, лежит, дремлет, а потом тихонько поднимается и снова к венику.

Бабушка резко поворачивается. На лице ее гнев и торжество, а Шарик нюхает веник с невинной мордой. Повернувшись к бабушке, он подрыгивает хвостиком, что, мол, такого особенного, уж и веник понюхать нельзя?

Бабушка бессильно падает на скамейку:

— Ну не бес ли ты? Не выжига ли?

Шарик смело идет к бабушке и протягивает ей лапу.

— А подь ты к лешему! — отталкивает бабушка Шарика. — Ловок ты, ловок! Да и я, брат, не лопоуха! Я все одно тебя удозорю и натычу, натычу!..

Шарик слушает. Шарик полон внимания и в то же время поглядывает на жестяную банку — плеснула бы, дескать, молока, чем попусту болтать.

— Да на уж, на, о́близень! — ворчит бабушка и льет Шарику немножко молока.

Через какое-то время дверь избы распахивается настежь — это Шарик, разбежавшись, навалился на нее и был таков! Бабушка к венику.

— Напру́дил ведь! Напру́дил! — стонет она и бросается за Шариком вдогонку.

Бабушка ищет его под навесом, в амбаре, в стайке, под крыльцом. У бабушки в руке хворостина. Бабушка переполнена возмущением через край. Смиряя себя, она зовет Шарика нежно, воркующе:

— Шаря, Шаря! Иди-ко, миленький, я тебе молочка-а дам, молочка-а-а-а! — А сама сжимает хворостину за спиной.

Шарик ни мур-мур. Шарик умер. Шарик сквозь землю провалился.

— Тьфу! — плюется бабушка и отбрасывает хворостину. — Лучше домой не появляйся, нечистый дух! — грозит она пальцем в пространство.

Шарик является к той поре, когда бабушка уж вовсе остынет и гнев ее пойдет на окончательную убыль.

Шарик вежливо скребется лапой в дверь и попискивает.

— Не пущу я тебя, супостата, в избу! Не пущу! — кричит бабушка, и Шарик затихает, успокаивается. Ему главное сейчас — бабушкин голос услышать, почуять, до какой еще степени раскален человек и можно ли появляться на глаза.

Управившись с делами, бабушка берет свой бадог для обороны и следует по селу проведать своих многочисленных родичей, и где укажет чего, где в дела вмешается. Кого побранит, кого похвалит. В одном доме промолчат, в другом огрызнутся, а в третьем, глядишь, и отпушат бабушку, генералом обзовут, и она прибывает с причитаниями домой. Клянется бабушка, что ноги ее теперь не будет до скончания века в таком-то и в таком-то дому, у таких-то и у таких-то ее дочерей и зятьев.

— Отгостевала! — хмуро бурчит дедушка.

Следом за бабушкой из дома в дом тенью ходит Шарик, а следом за Шариком крадутся деревенские псы, храпят издали, пугают Шарика. Но у бабушки в руке бадог, и она не дает своего ангела-хранителя в обиду. А если какой отчаянный пес и выкатится из подворотни и, не взирая на бадог, сшибет Шарика на землю, бабушка хватает его в беремя и ходу в первый попавшийся двор.

Были живы и не затухли в Шарике охотничьи страсти. Он все время пытался подобраться к курицам, и хотя не изловил ни одной, все же поползновения свои не оставлял. Когда появились во дворе цыплята, у бабушки возник новый участок борьбы.

Длинный летний вечер. Двери избы распахнуты, окна в горнице открыты. Дед, как всегда, чего-то мастерит под навесом, а бабушка молится, стоя на коленях перед иконостасом в горнице. Я вижу сквозь листья гераней и завесы красных сережек, как голова ее то возникает за цветками, то опускается ниже окна.

— Мира заступница, мати всенежная, я пред тобою, грешница, мраком одетая. Ты меня благодатью покрой, если постигнет скорбь и страдание... — Все чаще и чаще мелькает бабушкина голова в окне, слышно, как она бухается лбом об пол и голос ее уже на взрыде. Мне кажется, бабушка знает, что дед слышит ее, и она прибавляет прыти в молитве, чтоб пронять его, доказать, какая она усердная в веровании, а он — грешник, но она по доброте своей и его грехи замолит. — Милосердия двери отверзи нам, благословенная богородица, надеющимся на тя. Да не погибнем мы, да избавимся от бед, ты бо еси спасение... Ша-а-арик, падла такая! Я вот тебе! — бренчит бабушка в раму и продолжает молиться. Она торопливо бормочет, часто в замешательстве крестится: — Сбил ведь, сбил, нечистый дух!.. — Бабушка шевелит губами, вспоминая молитву, и вот громко, обрадованно повела дальше, с пятого на десятое перескакивая. Она толкует молитвы на свой лад, приспосабливает их к своей жизни и нужде. — И рече ему пресвятая богородица: сыне мой и бог мой. Человеку, который аще похощет от чистого сердца... избавлю его вечные муки огня неугасимаго, червия неусыпнаго, ада преисподняго. Аще человек в дому своем в чистоте содер-

жит, то в том дому будет рабам здравие, скоту прибыток, к тому дому не прикоснется ни огонь, ни тать...

Молится бабушка самозабвенно, колотится лбом об пол гулко. При этом она одним глазом смотрит на мати божию, а другим следит за Шариком, который ползет меж срубом подвала и заплотом к цыпушкам, укрывшимся в жалице вместе с курицей-паруньей. Как только Шарик приблизится, парунья начинает топорщиться и клохтать, а то и налетит на Шарика, и он задаст стрекача.

Шарик устраивал спектакль — он не давал бабушке молиться. Он не мог долго быть без нее и любым способом выманивал бабушку на улицу. Не выдержав испытания, бабушка выскакивала на крыльцо, воздевала руки к небу, ругала Шарика распоследними словами, топала ногою, плевалась, а Шарик полз к ней на брюхе и колотил, мел землю хвостом: виноват, дескать, виноват, но ничего с собой поделать не могу. Уж больно ты долго молишься...

И если эта история, так горько и печально начавшаяся, заканчивается совсем по-другому, в этом тоже виноват Шарик — лукавая, глупая и преданная собака.

ОСЕННИЕ ГРУСТИ И РАДОСТИ

На исходе осени, когда голы уже леса, а горы по ту и другую сторону Енисея кажутся выше, громадней, и сам Енисей, в сентябре еще высветлившийся до донного камешка, со дна же возьмется сонною водой, и по пустым огородам проступит изморозь, в нашем селе наступает короткая, но бурная пора, пора рубки капусты.

Заготовка капусты на долгую сибирскую зиму, на большие чалдонские семьи — дело основательное, требующее каждогодной подготовки, потому и рассказ о рубке капусты поведу я тоже основательно, издалека.

Картошка на огородах выкопана, обсушена и ссыпана, на еду — в подполье, на семена — в подвал. Морковь, брюква, свекла тоже вырезаны, даже редьки, тупыми рылами прорывшие обочины гряд, выдернуты, и пегие дородные их тела покоятся в сумерках подва-

ла поверх всякой другой овощи. Спутанные плети гороха и сизые кусты бобов с черными, ровно обуглившимися стручками брошены возле крыльца для обтирки ног.

Возишь, бывало, по свитым нитям гороха обувкой и невольно прощупываешь глазами желтый, в мочалку превращенный ворох, и вдруг узреешь стручок, сморщенный, белый, с затвердевшими горошинами. Вытрешь стручок о штаны, разберешь его и с грустью высыплешь ядрышки в рот, и пока их жуешь, вспоминаешь, как совсем недавно пасся на огороде, в горохе, подпертом палками, и как вместе с тобою пчелы и шмели обследовали часто развешанные по стеблям сиреневые и белые цветочки гороха. И как Шарик, всеядная собака, шнырял в гороховых зарослях, зубами откусывал и, смачно чавкая, уминал сахаристые плюшки.

Сейчас Шарика на грязный, заброшенный огород и калачом не заманишь. Одна капуста на огороде осталась, развалила по грядам зеленую свою одежду. В пазухи вилков, меж листьев дождя и росы налило, а капуста уж так опилась, такие вилки закрутила, что больше ей ничего не хочется. В светлых брызгах, в лености и довольстве, не страшась малых заморозков, ждет она своего часа, ради которого люди из двух синеватых листочков рассады выходили ее, отпоили водою.

Среди огорода корова стоит и не то дремлет, не то длинно думает, тужась понять, почему люди так изменчивы в обращении с нею? Совсем еще недавно стоило попасть ей в огород, они, как врага-чужеземца, гнали ее вон и лупили чем попало по хребту. А сейчас вот распахнули ворота — ходи сколько хочешь.

Она сперва ходила, бегала даже, задравши хвост, ободрала два вилка капусты, съела зеленую траву под черемухой, пожевала вехотку в передбаннике, а затем остановилась и не знает, что дальше делать. От тоски ли, от озадаченности ли корова вдруг заухает, заблажит, и со всех огородов, из-за конопляных и крапивных меж ей откликаются такие же разведенные с коллективом, недоумевающие коровы.

Куры тоже днем с амбара в огород слетают, ходят по бороздам, лениво клюют и ворошат давно выполотую траву, а больше сидят, растопорщившись, и с досадою взирают на молодых петушков, которые пыжатся, привстают на цыпочки, пробуют голоса. Но получает-

ся у них срамота, а не милая куриному сердцу атаманская песня задиры петуха.

В такую вот предзимнюю пору пробудился я однажды утром от гула, грома, шипения и поначалу ничего разобрать и увидеть не мог — по избе клубился пар, в кутье, как черти в преисподней, с раскаленными каменьями метались человеки.

Поначалу мне даже и жутко сделалось. Я за трубу спросонья полез. Но тут же вспомнил, что на дворе поздняя осень и настало время бочки и кадушки выбучивать. Капусту рубить скоро будут! Красота!

Скатился с печки и в кутью:

— Баб, а, баб... — гонялся я за угорелой, потной бабушкой. — Баб, а баб?..

— Отвяжись! Видишь — не до тебя! И каку ты язву по мокрому полу шлендаешь босиком? Опять издыхать начнешь? Марш на печку!..

— Я только спросить хотел, когда убирать вилки? Ладно уж, жалко уж...

Я взобрался на печь. Под потолком душно и парно. Лицо обволакивало сыростью — дышать трудно. Бабушка мимоходом сунула мне на печь ломоть хлеба, кружку молока.

— Ешь и выметайся! — скомандовала она. — Капусту завтре убирать, благословесь, начнем.

В два жевка горбушку я съел, в три глотка молоко выпил, сапожишки на ноги, шапчонку на голову, пальтишко в беремя и долой из дому. По кутье пробирался ощупью. Везде тут кадки, бочонки, ушаты, накрытые половиками. В них отдаленно, рокотно гремит и бурлит. Горячие камни брошены в воду, запертые стихии бушуют в бочках. Тянет из них смородинником, вереском, травою мятой и банным жаром.

— Кто там дверь расхабарил? — крикнула бабушка от печки. В устье печки пошевеливалось, ворочалось пламя, бросая на лицо бабушки отблески, и она похожа на растрепанного черта.

На улице я аж захлебнулся воздухом. Стою на крыльце, отпыхиваюсь, рубаху трясу, чтоб холодком потную спину обдало. Под навесом дедушка в старых бахилах стоит у точила и одной рукой крутит колесо, а другой острит топор. Неловко так — крутить и точить. Это ж первейшая мальчишеская обязанность — крутить точило!

Я спешу под навес, и дед без разговоров передает мне железную кривую ручку. Сначала кручу я бойко, аж брызжет из-под камня точила рыжая вода. А потом пыл мой ослабевает, все чаще меняю я руку и с неудовольствием замечаю — точить сегодня много есть

чего: штук пять железных сечек, да еще ножи для резки капусты, и, конечно, дед не упустит случая и непременно подправит все топоры. Я уж каюсь, что высунулся крутить точило и надеюсь тайно на аварию с точилом или другое какое избавление от этой изнурительной работы.

Когда сил моих остается совсем мало и пар от меня начинает идти, и не я уж точило кручу, а точило меня крутит, звякает щеколда об железный зуб и во дворе появляется Санька. Санька этот, ну прямо как бог или бес, всегда является в тот миг, когда нужно меня выручить или погубить...

Насколько возможно, я бодро улыбаюсь ему и жду, чтоб он поскорее попросил ручку точила. Но Санька ж великая язва! Он сначала поздоровался с дедом, потолковал с ним о том о сем, как с ровней, и только после того как дед кивнул в мою сторону и буркнул: «Подмени работника», Санька небрежно перехватил у меня ручку и непринужденно, играючи завертел ее так, что зашипело точило, начало захлестывать воду, и дед остепенил Саньку, приподнял топор:

— Полегче, полегче! Видишь, жало вывожу.

Я сидел на чурбаке. Мне все это немножко обидно было видеть и слышать.

— А мы скоро капусту рубить будем, — сказал я.

— Знаю. Катерина Петровна и наши бочки выпаривает. Мы помогать званы.

Да, конечно, Саньку ничем не удивишь. Санька в курсе всех наших хозяйственных дел и готов трудиться где угодно, с кем угодно, только чтоб в школу не ходить. Ему теперь неуды за поведение ставят и записки учитель домой пишет. Прочитавши записку, тетка Васеня беспомощно хлопала глазами или гонялась с железной клюкой за Санькой. Дядя Левонтий, если трезвый, показывал сыну руки в очугунелых мозолях, пытался своим жизненным примером убедить, как тяжело приходится добывать хлеб малограмотному человеку. Пьяный же дядя Левонтий всегда таблицу умножения у Саньки спрашивал:

— Санька! — поднимал он палец, настраиваясь лицом на серьезное учительское выражение. — Сколько будет пятью пять? — И тут же сам себе с нескрываемым удовольствием отвечал: — Тридцать пять!

И бесполезно доказывать дяде Левонтию, что неправ он, что пятью пять совсем не тридцать пять. Дядя Левонтий обижался на какие-либо поправки и начинал убеждать, что он человек положительный, трудовой, моряком был, в разные земли хаживал, и захудал он маленько сейчас вот только, а прежде с ним капитан паро-

хода за ручку здоровкался и какой-то большой человек часы ему со звоном на премию выдал, за исправную службу. Правда, потом с парохода его списали и часы он с горя пропил. Но он все равно гордился собою.

Санька меж тем потихоньку уматывал из дому. Дядя Левонтий с претензиями к тетке Васене повертывался. А она к нему. И пока они шумели друг на дружку, то уж совсем забывали, с чего все возмущение вышло, и воспитание Саньки на этом заканчивалось.

Кого почитал и побаивался Санька в селе, так это моего дедушку, без которого Санька и дня прожить не мог. Санька всякую работу исполнял так, чтобы дедушка одобрительно кивнул или хоть взглянул на него. Санька гору мог своротить, чтоб только деду моему потрафить.

И когда мы начали убирать капусту, Санька такие мешки на себе таскал, что дед не выдержал и бабушку укорил:

— Ровно на коня валишь! Робенок все же!

Слово «робенок» по отношению к Саньке звучало неубедительно как-то, и бабушка, конечно же, дала деду ответ в том духе, что своих детей он сроду не жалел — чужие всегда ему были милее, и что каторжанца этого, Саньку, он балует больше внука родного — это меня, значит, — но вилков в мешок бросила поменьше. Санька потребовал добавить вилков, бабушка покосилась в сторону деда:

— Надсадишься! Робенок все же...

— Ништя-а-ак! — возразил Санька. — Добавляй! — И, нетерпеливо перебирая ногами, жевал с крепким хрустом белую кочерыжку. Бабушка добавила ему вилок-другой и подтолкнула в спину:

— Ступай, ступай! Будет.

Санька игогокнул, взлягнул и помчался с огорода во двор. На крыльцо он взлетел рысаком и, раскатившись в сенках, вывалил с грохотом вилки.

Я мчался следом за ним с двумя вилками под мышками, и мне тоже было весело. Шарик катался за нами следом, гавкал и хватал за штаны зубами, а курицы с кудахтаньем разлетались по сторонам.

Последние вилки мы вырубали уж за полдень и бросали их в передбанник. Бабушка убежала собирать на стол, а мы присели на травянистую завалинку бани отдохнуть и услышали в небе гусиный переклик. Все разом подняли головы и молча проводили глазами ниточку, наискось прошившую небо под Енисеем.

Гуси летели высоко, и мне почему-то казалось, что вижу я их во сне, а не наяву, и, ровно во сне, все невнятней, все мягче становился отдаляющийся гусиный клик, и ниточка тоньшала, пока вовсе не истлела в красной, ветреную погоду предвещавшей заре.

От прощального ли клика гусей, от того ли, что с огорода была

убрана последняя овощь, от ранних ли огней, затлевших в окнах близких изб, от мыка ли коровьего сделалось у меня печально на душе, да и у Саньки с дедом, должно быть, тоже. Дед докурил цигарку, смял ее бахилом, вздохнул виновато, как будто прощался не с отслужившим службу огородом, а покидал живого приболевшего друга: огород весь был зябкий, взъерошенный, в лоскутьях капустного листа, с редкими кучами картофельной ботвы, с уцелевшими кое-где растрепанными кустами осота и ястребинника, с прозористыми, смятыми межами, с сиротски чернеющей одинокой черемухой.

— Ну вот, скоро и зима, — тихо сказал дед, когда мы вышли из огорода, пустынно темнеющего среди прясел.

Он плотно закрыл створку ворот и замотал на деревянном штыре веревку. Забылся, видно, дед — нам ведь придется еще из передбанника капусту брать, пускать корову, которая снова будет часами стоять недвижно среди пустого огорода и время от времени орать на всю деревню — тосковать по зеленым лугам, по крепко организованному рогатому табуну.

Утром следующего дня я убежал в школу, с трудом дождался конца уроков и помчался домой. Я знал, что в нашем доме сейчас делается и как мне там быть необходимо.

Еще с улицы услышал я стук многих сечек, звон пестика о чугунную ступу и песню собравшихся на помочь женщин:

Злые люди, ненавистные
Да хочут с милым
ра-а-азлучить...

Ведет голос такой тонкий да звонкий, что от него аж в ушах сверлит. И вдруг, как обвал с горы:

Э-эх, из-за денег, из-за ревности
Брошу милова-а-а люби-и-ить...

Никакая помочь без выпивки не бывает. Оттого и поют так слаженно и громко женщины — подвыпили они маленько, чтоб радостней трудилось и пелось.

В два прыжка я на крыльце, распахиваю дверь в кутью. Батюшки-светы, чего тут делается! Народу полна изба! Стукоток стоит несообразный. Бабушка и женщины постарее мнут капусту руками на длинном кухонном столе. Скрипит капуста, как снег перемерзлый под сапогами. И руки все у этих женщин до локтей в капустном крошеве, в красном свекольном соку. На столе горкой лежат тугие белые пласты, здесь же морковка тонкими кружочками нарезана и свекла палочками. Под столом, под лавками, возле печи навалом капуста, на полу столько кочерыжек и листа, что и половиц не видно, а возле дверей уже стоит высокая капустная кадка,

прикрытая кружком, задавленная огромными камнями, и из-под кружка мутный свекольный сок выступил. В нем плавают семечки аниса и укропа — бабушка чуть-чуть добавляет того и другого для запаха.

Вязко сделалось во рту.

Я хотел взять щепотку капусты из кадки, да увидел меня Санька и поманил к себе. Он находился не среди ребятни, которая, знаю я, ходит сейчас на головах в середней и в горнице. Он среди женщин. Взгляд Саньки солов. Видать, подали Саньке маленькую женщины или он возбудился от общего веселья. Колотит он пестиком так, что ступа колоколом звенит на весь дом и разлетаются из нее камешки соли.

Витька-титька-королек,
Съел у бабушки пирог!
Бабушка ругается,
Витька отпирается!.. —

подыгрывая себе пестиком, грянул Санька.

Я так спешил домой, так возгорелся заранее той радостью, которая, я знал, была сегодня в нашей избе, а тут меня окатили песней этой насчет пирога, который я и в самом деле как-то утайкой съел. Но когда это было! Я уж давно раскаялся в содеянном, искупил вину свою. Но нет мне покоя от песни клятой ни зимой, ни летом.

Хотел я повернуться и уйти, но бабушка вытерла руки о передник, погрозила Саньке пальцем, а тетка Васеня смазала Саньку по ершистой макушке — и все обошлось.

Бабушка провела меня в середнюю, сдвинула на угол стола пустые тарелки, рюмки, дала поесть, затем вынула из-под лавки бутылку с вином, на ходу начала наливать в рюмку и протяжно, певуче приговаривать:

— А ну, бабоньки, а ну, подруженьки родимые, чтоб капуста не перекисла, чтоб на зубу хрустела, чтоб ядреной была...

Одна сечка перестала стучать, другая, третья, ухарски крякнула тетка моя Апроня:

— Мужику моему, Пашке Грязинскому, она чтобы костью в горле застревала, а у меня чтоб завсегда живьем катилось!..

Бабы все грохнули, и каждая из них, выпив рюмочку, сказала про своего мужика такое, чего в другой раз не только сказать, но и помыслить не посмела б.

Мужикам в эту избу доступа сегодня не было и быть не могло.

Правда, проник было сюда дядя Левонтий под тем видом, что не может он найти нужную позарез вещь в своем доме, но женщины так зашумели, с таким удальством поперли его, замахиваясь

сечками и ножами, что он быстренько, с криком «Сдурели, стервы!» выкатился вон. Однако бабушка моя, необыкновенно добрая в этот день, вынесла ему рюмашку водки на улицу, и он со двора крикнул треснутым басом:

— Эй, бабы! Чтоб капуста такая же скусная была!

Я наскоро пообедал и тоже включился в работу. Орудовал деревянной толкушкой, утрамбовывал в бочонке изрубленную капусту, обдирал зеленые листья с вилков, толок соль в ступе попеременно с Санькой, скользил на мокрых листьях и подпевал женщинам. А потом не удержался и сам затянул выученную в школе песню:

Распустила Дуня косы,
А за нею все матросы!
Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,
Дуня — ягодка моя!

— Тошно мнеченьки! — всплеснула бабушка руками: — Работник-то у меня чё выучил, а? Ну грамотей, ну грамотей!

Я от похвалы возликовал и горланил громче прежнего:

Нам свобода нипочем!
Мы в окошко кирпичом!
Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,
Дуня — ягодка моя!..

Меж тем в избе легко, как будто даже и шутейно, шла работа. Женщины, сидя в ряд, рубили капусту в длинных корытах, и, выбившись из лада, секанув по деревянному борту, та или иная изрубщиц заявляла с громким, наигранным ужасом:

— Тошно мне! Вот так уработалась! Ты больше не подавай мне, тетка Катерина!

— И мне хватит! А то я на листья свалюсь!

— И мне!

— Много ль нам надо, бабам, битым, топтанным да изработанным...

— Эй, подружки, на печаль не сворачивай! — вмешивалась бабушка в разговор. — Печали наши до гроба с нами дойдут. Давайте лучше попоем. Гуска, заводи!

И снова вонзался в сырое, пропитанное рассолом и запахом вина избяное пространство звонкий голос тетки Августы, и все бабы с каким-то радостным отчаянием, со слезливой растроганностью подхватывали и пели свои сплошь протяжные песни.

Бабушка пела со всеми вместе и в то же время обмакивала плотно спрессовавшиеся половинки вилков в соленую воду, укладывала их в бочку — толково, с расчетливостью, а затем наваливала слой мятого, отпотевшего крошева капусты — эту работу она делала всегда сама, никому ее не доверяла.

Многие женщины приходили потом к нам пробовать капусту и восхищались бабушкиным мастерством:

— А будь ты проклятая! Слово какое знаешь, Петровна? Ну чисто сахар!..

Взволнованная похвалой, бабушка ответствовала на это с оттенком скромной гордости:

— В любом деле не слово, а руки всему голова. Рук жалеть не надо. Руки, они всему скус и вид делают. Болят ночами рученьки мои, потому как не жалела я их никогда...

К вечеру работа затихает. Один по одному начинают вылезать из горницы и из середней ребятишки. Объевшиеся сладких кочерыжек, они сплошь мучаются животами, хныкают, просятся домой.

Женщины досадливо одевают их, хлопают нешибко по головам и говорят, чтоб вовсе они пропали, что нигде, мол, от них, окаянных, покоя нету!.. И с сожалением покидают наш дом, благодарят бабушку за угощение, приглашают к себе. И бабушка благодарит за помощь и обещает быть где и когда делу потребуется.

В сумерках выгребли из кухни лист, капустное крошево. На скорую руку тетки помыли полы в избе, бросили половики, и только работа завершилась, с заимки, где еще оставался наш сенокос, вернулись дедушка и Кольча-младший. Они там тоже все убрали к зиме.

Бабушка собрала на стол, налила дедушке и Кольче-младшему по рюмочке водки, ровно бы ненароком оставшейся в бутылке.

Все ужинают молча, устало.

Мужики интересуются, управились ли с капустой. Бабушка отвечает, что, слава тебе господи, управились, что капуста ноне уродилась соковитая, все как будто хорошо, но вот только соль ей не глянется, серая какая-то, несолкая и кабы она все дело не испортила. Ее успокаивают, вспоминают, что в девятнадцатом или двадцатом году соль уж вовсе никудышной была, однако ж капуста все равно удалась и шибко выручила тогда семью.

После ужина дед и Кольча-младший курят, а бабушка толкует им насчет подвала, в котором надо подремонтировать сусеки. Утомленно, до слез зевая, наказывает она Кольче-младшему чтоб он долго на вечорке не был, не шлялся бы до петухов со своей Нюрой-тулёной, потому как работы во дворе невпроворот и не выспится он опять.

Кольча-младший согласно слушает ее, однако ж и он, и бабушка доподлинно знают, что слова эти напрасны и не вонмет им никто. Кольча-младший уходит из избы, еще на крыльце запевает что-то.

— Эй, Мишка! Ты скоро там? — кричит он за воротами.

Безродный Мишка Коршуков, призретый теткой Авдотьей и определившийся на временное жительство в ее доме, коротко бросает: «Чичас! Году не пройдет, и я на воле!»

Скоро на улице начинает квакать Мишкина гармошка, и Мишка с Кольчей-младшим дерзко кричат под деревенскими окнами солоноватую частушку. А вслед парням в украдкой раздвинутые занавески смотрят тетки Авдотьины девки, которых тетка Авдотья строго держит, но часто удержать не может. Девки сбегают из дому, и тогда тетка Авдотья стремительно мчится по деревенским улицам, вылавливает своих девок в укромных уголках и таскает за волосья.

Бабушка хукает в стекло лампы и в темноте шепчет, слушая удаляющиеся голоса парней:

— Драться опять станут! И эта ни жена, ни невеста совецкая. Нет штабы дома посидеть, починяться, — на вечерку же прибежит! Хоть бы не подкололи. Народец-то ноне пошел... Господи, оборони.

Она неспокойно ворочается, вздыхает, бормочет, молится, и мне первый раз в голову приходит, что не об одном Кольче-младшем она вот так беспокоилась. Те дядья мои и тетки, которые определились и живут самостоятельно, так же гуляли когда-то ночами, и так же вот ворочалась, думала о них бабушка. И какое же должно быть здоровое, какое большое сердце бабушкино, коли обо всех, и обо мне тоже, болело и болит оно!

— Ах рученьки мои, рученьки! — тихонько причитает бабушка. — И куда же мне вас положить? И чем же мне вас натереть?

— Баб, а баб? Давай нашатырным спиртом? — Я не люблю нашатырный спирт — им щиплет глаза, дерет в носу, но ради бабушки готов стерпеть все.

— Ты еще не угомонился? — откликается бабушка. — Спи давай. Без соплей мокро! Фершал нашелся!..

Ставни сделали избу глухой, отгородили ее от мира и света. Из кутьи тянет закисающей капустой, и слышно, как она пузыриться там начинает, с кряхтеньем оседать под кружками, придавленными гнетом.

Тикают ходики. Бабушка умолкает, перестает метаться по кровати, видно, нашла место ноющим рукам, уложила их хорошо.

С первым утренним проблеском в щелях ставней она уже снова на ногах, управляется по дому, затем спешит на помочь, и теперь уже в другой избе разгорается сыр-бор, стучат сечки, взвиваются песни, и за другие сараи бегают ребятишки, объевшиеся капусты и кочерыжек.

Целую неделю, а иногда и две по всей деревне нашей стукоток рассыпался, шмыгали из потребиловки женщины, пряча под полу-

шалками шкалики, а мужики, вытесненные из изб, толклись у гумна или подле завозни, курили табак, зачерпнув щепотку друг у дружки из кисетов, солидно толковали о молотьбе, о промысле белки, о санной дороге, что вот-вот наступить должна.

Зима и в самом деле совсем незаметно приходила в село под стук сечек, под дружные и протяжные женские песни.

Пока женщины и ребятишки переходили из избы в избу, пока рубили капусту, забереги на Енисее намерзали, в борозды огородные снежку и крупы откуда-то насыпа̀ло, по реке шугу тащило, у Караульного быка — белый подбой, а ниже темнела полынья. Даже запоздалые косяки гусей к этой поре пролетали наши скалистые, не пригодные для гнездовий и отсидок места.

И однажды ночью выпадал снег, первый раз давали корове навильник пахучего сена, и она припадала к нему, зарываясь до рогов в шуршащую охапку.

Шарик по снегу катался, прыгал, гавкал, будто рехнулся.

Днем мужики выкатывали из кутьи бочонки и кадки с капустой, по гладким доскам спускали их в подвал. Сразу в кутье делалось просторно, бабушка подтирала пол и приносила в эмалированной чашке розоватый, мокрый пласт капусты. Она разрезала его ножиком на слоистые куски, доставала вилки, хлеб.

Но мы пробовали капусту без хлеба.

Кольча-младший хрустко жевал минуту-другую. Я жевал. Дедушка жевал. Бабушка напряженно стояла в отдалении, терпеливо ждала приговору.

— Закуска — я те дам! — заключал, наконец, Кольча-младший и, крякнув от удовольствия, цеплял на вилку еще капусты.

— Мировая! — показывал я большой палец.

А дед говорил просто:

— Ничего. Ести можно.

Бабушка облегченно бросала крестики на грудь, шептала: «Слава тебе, господи, слава тебе, господи! Теперь прозимуем. Картошек дивно накопали — и себе, и на продажу хватит. Кольче катанки справим, самому полушубчишко бы надо. Витьке бы чего из одежонки прикупить. Дерет, язвило бы его, пластат все...»

Весь день бабушка резво, будто молодая, суетилась по избе, наговаривала с собою, покрикивала на меня, топала на Шарика ногой.

Но ни Шарик, ни я даже и не собирались пугаться бабушки в такое время. Если бабушка и сердилась на кого в этот день, то сердилась понарошке, для виду.

Долгая, стойкая зима-прибериха снегами и морозом заклинивала деревенскую жизнь. И шла эта жизнь большей частью под крыша-

ми изб и во дворах. И если хозяева — старатели, запаслись овощью, ягодами, капустой, одолевали они зиму без нужды, пощелкивали кедровые орехи, говорили сказки вечерами, а с крещенских праздников в трескучие морозы гулять принимались.

И в каждой избе в центре стола, как главный фрукт, красовалась в тарелке, в чашке или глиняной латке беда и выручка чалдонская — квашеная капуста, то выгибаясь горбом розового пласта, то растопорщившись сочным и мокрым листом, то накрошенная сечками.

И какая уж такая сила была в этой капусте — знать мне не дано, однако смолачивали ее за зиму с картошкой, во щах, пареную, жареную и просто так целые бочонки и кадушки, и были здоровы, бодры, зубов до старости не теряли чалдоны, работали за двоих и пили под капустку за троих.

ФОТОГРАФИЯ, НА КОТОРОЙ МЕНЯ НЕТ

Глухой зимою, во времена тихие, сонные, нашу школу, помещавшуюся в бывшем кулацком доме, взбудоражило важное событие.

Из города на подводе приехал фотограф!

И не просто так приехал, а по делу — фотографировать.

И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся школы.

Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны. Учитель и учительница — муж с женою — стали думать, где поместить фотографа на ночевку.

Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка-ревун. Бабушка моя тайком от родителей, по слезной просьбе тетки

Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, уже три раза заговаривала пупок дитенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждала бабушка, наревел пуп в луковицу величиной.

Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, висел там пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спьяну или так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона.

Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмешалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в кутью и с напором, правда конфузливым напором, взялась убеждать:

— Им тама нельзя. Ямщиков набьется полна изба. Самогонку пить зачнут, луку, капусты да картошки напрутся и ночью себя некультурно вести станут. — Тетка Авдотья посчитала все эти доводы не особенно убедительными, подумала и прибавила: — Вшей ему напустют...

— Что же делать?

— Я чичас! Я мигом!.. — сказала тетка Авдотья, накинула полушалок и выкатилась на улицу.

Тетка Авдотья пристроила фотографа у десятника сплавконторы. Жил в нашем селе такой человек — грамотный и деловой. Происходил он из ссыльных. Ссыльными были не то его дед, не то отец. Сам же он давно женился на нашей деревенской молодице, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаву, на лесозаготовках, на выжиге известки.

Фотографу, конечно же, только в доме десятника и место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят.

Вздохнул учитель облегченно. Ученики вздохнули. Село вздохнуло — все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал.

Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках оказалось не в мою пользу.

Прилежные ученики сядут впереди, средние в середине, а плохие назад — так порешили ребята. Ни в ту зиму, ни во все последующие я не удивлял мир прилежанием и поведением, мне даже и на середину рассчитывать было трудно.

Нам с Санькой быть сзади. Мы полезли в драку, чтоб боем доказать — все, мол, равно люди мы пропащие... Но ребята не стали с нами драться, а прогнали нас из своей компании.

Тогда пошли мы с Санькой на увал и начали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался.

Мы ухарски гикали с Санькой, ругались похабно, разбили о каменья головки санок, коленки посносили, вывалялись, начерпали полные катанки снегу.

Бабушка моя уж затемно сыскала нас с Санькой на увале и наподдавала обоим.

Ночью наступила расплата за мой отчаянный разгул — у меня заболели ноги. Они всегда ныли от «рематизни», как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанки снегу — тотчас же нудь в ногах переходила в невыносимую боль.

В эту ночь я долго терпел, чтобы не завыть, очень долго. Я раскидал одежонку и прижимал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи. Я растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие ноги, засовывал их в теплый рукав полушубка — ничего не помогало.

И я завыл. Сначала тихонько, по-щенячьи, а потом уж в полный голос.

— Так я и знала! Так я и знала! — проснулась и заворчала бабушка. — Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студися, не студися!» — повысила она голос. — Так он ведь! Он бабушку послушает? Он бабушкиным словам воньмет? Загибат теперь! Загибат худа́ немочь! Мольчи лучше! Мольчи! — Бабушка поднимается, приседает, схватившись за поясницу, и собственная ее боль действует на нее усмиряюще: — И меня загибат...

Она зажигает лампу, уносит ее с собою в кутью и там звенит посудою и флакончиками в настенном шкафу. Она ищет подходящее лекарство, и я, припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданием, разом впадаю в усталую дрему.

— Где ты тутока?

— Зде-е-еся, — по возможности жалобно откликаюсь я и перестаю шевелиться.

— Зде-е-еся-а! — передразнивает бабушка. Она нашаривает меня в темноте и перво-наперво дает затрещину. Потом она долго натирает мои ноги нашатырным спиртом. Бабушка втирает спирт

основательно, досуха, и все шумит: — Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? — И одной рукой натирает, а другой поддает мне да поддает.

Я уж ни гу-гу, не огрызаюсь, не перечу бабушке. Лечит она меня.

Бабушка выдохлась, умолкла, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги дряхлой пуховой шалью, накрыла полушубком, вытерла слезы с моего лица щипучей от спирта ладонью.

— Христос с тобой, господь с тобой, спи, батюшко... — пробормотала она и спустилась с приступки.

Теперь бабушка заодно и свою поясницу, и свои руки-ноги натрет вонючим спиртом, опустится на скрипучую деревянную кровать, забормочет молитву пресвятой богородице, якобы охраняющей сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервется, вслушается, как я засыпаю, и где-то уж сквозь склеивающийся слух я слышу:

— И чего она к ребенку привязалася. Обутки у него починеты, догляд людской... Вон левонтьевские каторжанцы босиком по снегу носятся... А тут....

Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая, теплая, потому что она мамина, не принесли облегчения.

Я бился и кричал всю ночь. И бабушка уже не колотила меня, а, вконец напуганная, перепробовавши все свои лекарства, заплакала сама и напустилась на деда:

— Спишь! Дрыхнешь, старый одер!..

— Да не сплю я, не сплю. Чё делать-то?

— Баню затопляй!

— Середь ночи?

— Середь ночи! Экий барин! Робенок-то!.. — И тут же бабушка закрылась руками: — Да что же это за напасть такая! Да за что же это сиротиночку мою ломат, как тонку тали-и-инку... Ты долго кряхтеть будешь, толстодум! Чего ищешь? Вчерашний день ищешь? Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка!..

Утром бабушка унесла меня в баню — сам я идти уже не мог. Долго растирала мои ноги бабушка запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, сквозь тряпки парила меня всего, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же нашатырным спиртом натерла. Дома бабушка дала мне ложку противной водки, настоянной на борце, и брусники моченой дала. После всего этого напоила молоком, кипяченным с маковыми головками, — и я проспал до полудня.

Разбудился я от голосов. Санька перепирался или ругался с бабушкой в кутье.

— Не может он, не может... Я те русским языком толкую! — говорила бабушка. — Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила — все, худо ли, бедно ли, изладила. А он слег...

— Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина!.. — настаивал Санька.

— Не может, говорю... Постой-ка, это ведь ты его, каторжанец, сманил на увал-то! — осенило бабушку. — Сманил, а теперича?..

— Бабушка Катерина...

Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что я все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут.

— Все равно пойду! — кричал я на бабушку: — Давай рубаху! Штаны давай! Все равно пойду!

— Да куда пойдешь-то? С печки на полати, — покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмашку, чтоб Санька поскорее убирался.

— Санька, постой! Не уходи-и-и! — завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала:

— Ну куда пойдешь-то? Куда?

— Пойду-у-у! Давай рубаху! Шапку давай!..

Вид мой поверг, должно быть, и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался и начал скидывать с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования.

— Ладно! — решительно сказал Санька. — Ладно! — еще решительней повторил он. — Раз так, я тоже не пойду! Все! — И под одобрительным взглядом бабушки Катерины проследовал в середнюю. — Не последний день на свете живем! — солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. — Еще наснимаемся!.. Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне, а может, и на ахтомобиле заснимемся! Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку.

— Правда, Санька, правда. Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город, и к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то?

Санька Волкова не знал. И я тоже не знал.

— Самолучший это в городе фотограф! Он хоть на потрет, хоть на пачпорт, хоть на коне, хоть на ероплане, хоть на чем заснимет!

— А школа? Школу он сфотографирует?

— Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной. К полу привинченный, — приуныла бабушка.

— Вот! А ты...

— Чего я? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит!

— В ра-амку! Зачем мне твоя рамка?! Я без рамки хочу!

— Без рамки! Хочешь? Дак на! На! Отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся! — Бабушка покидала в меня одежонку: рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки — все покидала. — Ступай, ступай! Бабушка худа тебе хочет! Бабушка — враг тебе! Она коло него, аспида, вьюном вьется, а он, видали?

Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят?

* *

В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала мне варенья, брусницы и настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке и глядел на улицу, куда мне ходу пока не было.

Деревенское окно, заделанное на зиму, — это своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и какой обиход в избе.

Бабушка рамы вставляла на зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам бабушка валиком ложила вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками — и все. Никаких излишеств. В середней же и в кутье бабушка меж рам накладывала мох вперемежку с брусничником. На мох несколько березовых углей бросала, а меж углями ворохом рябину — уже без листьев.

Разницу в оформлении окон бабушка объясняла так:

— Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, с кутьи чад.

Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины. А много лет спустя, у писателя Александра Яшина, которому никогда не было надобности придумывать народные приметы, я прочел о том же: рябина от угара — первое средство.

Целую Европу, если не две, можно уместить между Вологодской землей, на которой вырос Александр Яшин, и Саянскими горами, где прошло мое детство, а вот поди ж ты — приметы одни. Видно, народная мудрость не знает границ и расстояний.

Но это к слову.

Бабушкины окна и соседские окна изучил я все за время болезни.

У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах целы не все — где фанерка прибита, где тряпками заткнуто.

У тетки Авдотьи — в доме наискосок — меж рам навалено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, а главное — цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла и безносая собака-копилка. И сама тетка Авдотья такая же: бурная, шумная, бегучая, все в ней навалом — и легкомыслие, и доброта, и сварливость бабья.

Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, чего в них — не знаю. Раньше не обращал внимания — некогда было, а теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю.

Какая тоска!

От нечего делать я отрываю листья у мятного цветка, мну в руках — воняет этот цветок, что нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает и пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза, но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, потом склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли — корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы! Люблю я смотреть на оживающие цветы. Вот сейчас почти все горшки с цветами — геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами — находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки.

Но так только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подпола старый чугунок с дыркою на дне и поставит его на теплое окно в кутье.

И через два-три дня из темной нежилой земли проткнутся два или четыре бледно-зеленых острых побега — и пойдут, пойдут они торопливо вверх, и на ходу будут они копить в себе темную зелень, разворачиваться в длинные листья, и однажды возникнет в пазухе этих листьев круглый пенек и проворно двинется в рост, опередит листья, породившие его, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо.

Я всегда караулил тот миг, то мгновение свершающегося таин-

ства и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, тайно от людского глаза, зацветала луковица.

Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, и вдруг бабушкин голос остановит:

— Гляди-ко, живунчик какой у нас народился!

На окне, в старом чугунке, возле замерзшего стекла над черной землею висел и улыбался мне яркогубый цветок с белой таинственно мерцающей сердцевиной и как бы говорил младенчески-радостным ртом: «Ну вот и я! Дождался?»

И к красному граммофончику его тянулась рука. Хотелось дотронуться до цветка и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника весны.

И после того как загоралась на окне луковица, заметней становился день, чаще и чаще плавились под солнцем обмерзлые окна.

Бабушка доставала из подполья все остальные цветки, и они тоже возникали из земли и тянулись к свету, обрызгивали окна и наш дом цветами, а луковица меж тем, исполнив свое дело, указав путь весне, сворачивала темные граммофончики, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими ремнями стеблей и, забытая уже всеми, ждала своего часа, чтобы снова порадовать людей.

Во дворе залился Шарик. Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась и побежала в кутью:

— Какой это там лешак ломится?.. Милости просим! Милости просим! — совсем другим, церковным голоском запела бабушка, и я понял, что к нам нагрянул важный гость.

Я поскорее на печку спрятался и увидел с высоты школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, пригласила учителя проходить, а одежду его бегом умчала в горницу, потому как считала, что в кутье учителевой одежде висеть неприлично.

Я притаился на печи. Учитель прошел в середнюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.

— Поправляется, поправляется, — ответила за меня бабушка и потребовала, чтоб я слезал с печки.

Боязливо и нехотя я спустился вниз и присел на бабушкину кровать.

Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо мне улыбался.

Я не помню его имени и отчества. Фамилию тоже не помню. А вот лицо, хотя и мало приметное, не забыл до сих пор. Лицо

учителя было бледновато по сравнению с деревенскими каленными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа у него под «политику» — волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне, конечно же, казался очень взрослым и очень солидным человеком.

— Я принес тебе фотографию, — сказал учитель и поискал глазами портфель.

Бабушка всплеснула руками и помчалась в кутью — портфель остался там.

И вот она, фотография, — на столе.

Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Сколько ребят и девчонок на фотографии! Что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, а узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии: вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня...

В середине, в гуще ребят, учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, а она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что. У них ноги не болят.

Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, надувает, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще и еще я перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня «худая немочь».

— Ничего, ничего, — успокаивал меня учитель. — Фотограф, может быть, еще приедет.

— А я что ему толкую? Я то же и толкую...

Я отвернулся, моргаю на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в середнюю, и губы мои дрожат. Что мне толковать. Зачем толковать? На этой фотографии меня нет. И не будет!

Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами:

— Как парнишечка? Грызь-то не унялася?

— Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Сегодня спокойней спал.

— И слава богу. И слава богу. Они, ребятишки, пока вырастут, ой сколько натерпишься с ними! Вон у меня их сколько, субчиков-то, было, а ничего, выросли. И ваш вырастет...

Самовар запел в кутье протяжную, тонкую песню. Разговор шел о том, о сем. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил. Учитель поинтересовался насчет деда.

— Сам-от? Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Какие наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами и живем.

— Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел.

— Какой же? — насторожилась бабушка.

— Вчера утром я обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил.

— А чего дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите — и все дела.

— Да как-то неудобно.

— Чего неудобного. Дров-то нету? Нету. Ждать, когда сельсовет привезет? А привезет, дак сырье осиновое. Околеете вместе с ребеночком. А ребеночек у вас хлибкий, и работа ваша умственная, в тепле ее делать надобно. Топите, топите.

Мне кажется, бабушка знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает, и никогда не узнает.

Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее и молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни поселенцев, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться можно на кого угодно: на сельсовет, на пьяного мужа, который буянит. На что уж дядя Левонтий, когда пьяный — лиходей из лиходеев делается, всю посуду прибьет, жене — тетке Васене фонарь привесит, ребятишек всех разгонит. А как побеседовал с ним учитель — исправился дядя Левонтий. Хоть и неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал:

— Ну чисто рукой снял! И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы... Да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!

Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока, а то сметанки, творогу или брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо, учительницу необидно отругают за неумелость в обиходе с ребенком. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать с Енисея. Один раз в школу учитель пришел в катанках, через край зашитых. Умыкнули бабы катанки вечером — и к сапожнику Жеребцову их снесли. Шкалик сапожнику поставили, чтоб с учителя, ни боже мой, копейки не взял и чтоб к утру, к школе, все было готово. Сапожник Жеребцов, человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, шкалик спрятала и не отдавала до тех пор, пока он катанки не подшил.

Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам молодежь учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять попов и буржуев в них, на свадьбах они бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ наш выпивкой их не неволить.

Очень мне жаль, что многое нынче утратилось из уважения к сельскому учителю, хотя и школы в деревне лучше и учителя грамотней, а нет уже того прежнего почтения к ним, нет!

В какой школе начали наши учителя!

В старом деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь наш первый класс и один красный карандаш. Мы принесли с собой из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, а потом он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках.

Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, а на двух других ящики со всевозможным добром.

На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырье». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра — старых самоваров, плугов, костей, тряпья.

Появились в школе карандаши, тетрадки, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, а женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.

Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых, а после один на двоих.

Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату. Учитель и фотографа сговорил к нам приехать. И тот заснял ребят и школу нашу. Это ли не радость! Это ли не достижение!

Учитель пил с бабушкой чай. И я пил чай, первый раз за одним столом с учителем! Бабушка застелила стол праздничной скатертью и наставила, наставила...

И варенье черничное, и брусница, и сушки, и лампасейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Чего тут только нет! И я очень рад, что учитель пьет у нас чай безо всяких церемоний, разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким гостем за угощение не приходится.

Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извинялась по деревенской привычке за бедное угощение, а учитель благодарил ее, говорил, что он всем премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья.

Когда он уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал: «Скоро ли опять фотограф приедет?»

— А, чтоб тебя приподняло да шлепнуло! — Бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя и недовольно нахмурилась.

— Думаю, скоро, — ответил учитель. — Выздоравливай и приходи в школу, а то отстанешь.

Он поклонился дому, и бабушка проводила его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене своей, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких краях.

Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать приходи скорее в школу, и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться, — вроде бы грустно и в то же время ласково и приветно.

Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе отчего-то щемливо и хотелось заплакать.

Бабушка убирала со стола богатую снедь.

— И не поел-то ничего, — сокрушалась она. — И чаю два стакана только выпил. Вот какой культурный человек! Вот грамота чего делает! — И увещевала меня: — Учись, Витька, хорошенько! В учителя, может, выйдешь либо в десятники...

Она еще много говорила умиротворенным голосом, не шумела в этот день ни на кого и хвасталась всем, кто заходил к нам, что был у нас учитель, чай пил, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал!..

Фотокарточку школьную бабушка всем показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась эту фотокарточку заключить в рамку, которую она купит у китайцев на базаре.

Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не свезла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков.

К весне тетрадки, выменянные на утильсырье, исписались, краски искрасились, карандаши исстрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.

Как он много знал! И что кольца у дерева — это годы жизни его, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечатся от нер-

вов, и что из березы фанеру делают, и что леса сохраняют влагу в почве, а значит, и жизнь речек.

Но и мы тоже по-своему знали лес. Учитель слушал нас и учился. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать лиственничную серу, различать по голосам птичек, зверьков и, если он заблудился в лесу, как выбраться, рассказали.

Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на каменья отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал:

— Ой, змея, змея!..

И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубатую пасть, злобно шипела.

Еще и подумать мы ничего не успели, как учитель оттолкнул нас, а сам схватил палку и принялся молотить по змее и по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки от подснежников. Змея кипела ключом и подбрасывалась на хвосте.

— Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! — кричали мы, но учитель не слышал нас. Он бил и бил змею, пока она не перестала шевелиться.

Потом он приткнул концом палки голову змеи и обернулся. Руки его дрожали. Весь он дрожал. Ноздри и глаза его расширились, и весь он был белый, а «политика» его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах.

Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку.

— Пойдемте, ребята, отсюда, — сказал учитель.

Мы посыпались с горы, а он шел за нами и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится следом.

Под горою учитель забрел в речку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил:

— А почему вы кричали, чтоб я не бил гадюку через плечо? Разве нельзя?

— Закинуть же на шею змею можно. Она, зараза, такая... Обовьется вокруг палки!.. — объяснили мы учителю, и кто-то неожиданно спросил: — Да вы раньше-то хоть видали змею?

— Нет. В первый раз, — виновато улыбнулся учитель. — Там, где я рос, никаких гадов не водится. Я же с Кубани. Там нет таких гор и тайги такой нет.

Мы стояли с открытыми ртами, слушали.

Вот тебе и на! Значит, нам надо было оборонять учителя. А мы!..

Прошли годы. Многие годы минули. А я таким вот и помню деревенского учителя, с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчи-

вого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь.

Та школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по уголкам. Но всех ребят я узнаю в ней.

Где они сейчас? Кто они?

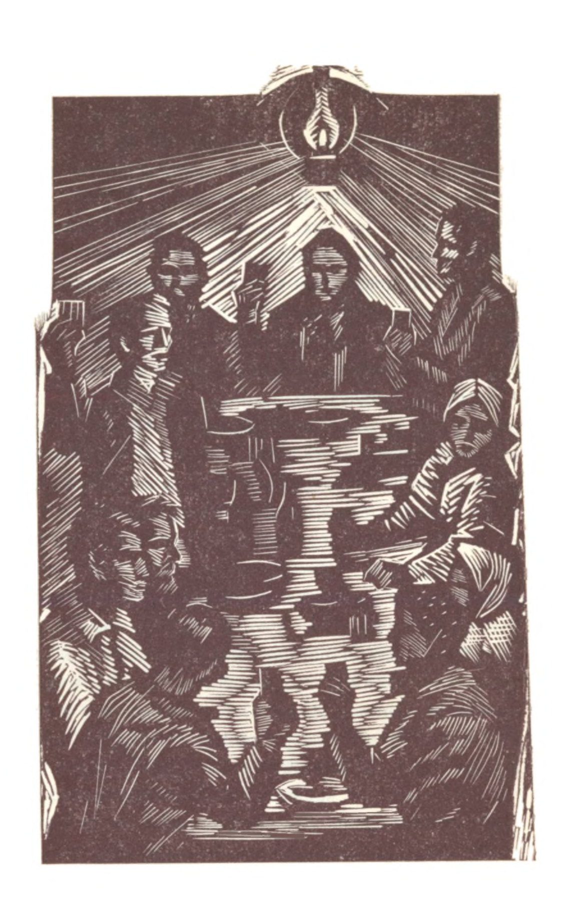
Половина из них, если не больше, полегла в войну. Всему миру известно их имя — сибиряки.

Иногда возьмешь в руки школьную фотографию, и снова нахлынет, нахлынет. Вспомнишь, как суетились наши бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки. И все равно бедновато, очень бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, иные сидят, иные стоят, а которые и на снегу лежат.

Смешная фотография! Но никогда я не смеюсь над деревенскими фотографиями. Солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях и начищенных сапогах — их-то всего больше и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться на карточку»; мои тетки или дядья в фанерном автомобиле; одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, а дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза; или казак, точнее мой сродный братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, где изображен казак с газырями и кинжалом; люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми напоказ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме.

Я все равно не смеюсь. Не могу смеяться.

Деревенская фотография — это своеобычная летопись нашего народа, настенная история его.



БАБУШКИН ПРАЗДНИК

Вскоре после сенокоса в наш дом собиралась вся многочисленная родня — гостевать, точнее, праздновать день бабушкиных именин. Случалось это раз в два-три года. Чаще-то накладно было. Никто не сговаривал бабушкиных сыновей, дочерей, внуков и других родичей съезжаться в этом именно году, об эту пору, но они сами по какому-то наитию знали, когда им надо быть у матери и отца.

Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята, и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и угостить уйму людей. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками, но все же главная тягость расходов ложилась на бабушку с дедушкой, и в доме нашем загодя, еще с зимы начинался великий

пост и всевозможный прижим по части расходов харчей и денег.

После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка — на закол. На базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку, с зимы же копили яйца, сбивали сметану на масло — и все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то, никому, кроме бабушки, не ведомым тайникам.

Лишь мне уделяла бабушка иной раз колотое яичко, снятого молока, огурчик кривой, ожелтевший или завалящую постряпушку.

Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напряженней шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла чего-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно кому: «Сдохнуть бы мне сегодня же! Легче бы мне было!»

И все же она входила в предпраздничную линию раньше и прочнее, чем дедушка и Кольча-младший. Тех сламывала напряженность, и они «закусывали удила», как говорила бабушка, и тогда уж сладить с ними было не просто.

Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до бунта, взбаламутив и без того неспокойное течение жизни в доме наскоками, подозрениями или излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и труде.

Перед тем праздником, который мне запомнился оттого, что был я уже в памятливых годах, дедушка взорвался в самый неподходящий момент. И довела его до крайности опять же бабушка, из-за хлопот и усталости не почувствовавшая той черты, за которой наступает предел дедушкиного терпения. Раньше она эту черту как-то чуяла и вовремя остепеняла себя.

Бобылю Ксенофонту надоедало сидеть одному в старой, наполовину засевшей в землю хибарке, и он вечерком, после дневного труда и забот приходил на нашу завалинку. Сидели два брата, курили табак, передавали друг дружке кисеты. Иной раз просидят вот так весь вечер, единого слова не скажут и разойдутся, друг другом довольные. А иногда курят-курят молча и молча же куда-то улизнут. И не ищи их тогда — не найдешь. Дед явится поздно, выпивший и виновато-тихий. Бабушка кинет ему подушку, одеяло, и он упокоится, определившись на высоком курятнике в кутье.

В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт, выполз за ворота дедушка в валяных опорках, в крашеных исподниках. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак, думали.

Бабушку, издерганную, усталую, зудила неприязнь: таких вот двое мужичищев табак переводят, а она крутится, крутится и дел своих никак не переделает. Ругалась во дворе бабушка, пнула Шарика, поймала курицу, усевшуюся спать в жалице, зашвырнула ее на сеновал, хватила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро укатилось к воротам, бухнуло в створку. Но дед даже и ухом не повел.

На беду дед с Ксенофонтом с завалинки ушли, как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисее прибывать вода — от летнего жара потекли беляки в горах, и лодку Ксенофонта, страшенного рыболова, могло унести. Бабушке же втемяшилось в голову, что они отправились выпивать, и она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Надо заметить — бабушка не трогала деда сразу после выпивки. Никогда деда вдрызг пьяным не видели и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку.

Но тут на нее нашло. Сначала она разорялась в избе, потом во дворе, потом на улице и, наконец, понеслась к тетке Авдотье, чтобы перебить у нее все окна, если дед там обнаружится.

Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра дедушки, — особая статья в нашей родове. Жизнь ее растрепана, как льняной сноп на неисправной мялке. Муж ее Терентий жил с нею набегами. И после каждого набега оставлял тетку Авдотью в тягостях. Рождались у нее только девки. По причине нервности тетки Авдотьи, неустойчивого достатка и обихода девки мерли одна за другой, но трое выжили на беду и радость матери. Девок она растила по-чудному: то, бывало, милует их, бантики из тряпочек в волосья приделывает, в баню чуть не каждый день таскает, в доме половики настелет, все приберет, выскоблит. То забросит и дом, и девок, не кормит их, не поит, а лупцует ухватом или клюкой, обзывает нехорошими словами. И сама она ходила в такую пору нечесаная, немытая, пьяная, матершинные частушки орала под нашими окнами, да еще и приплясывала.

Девки подросли, и старшая — Агашка — пригуляла ребеночка. Тетка Авдотья прогнала дочь из дому, с в.....ком, как она кричала, а сама побежала в Енисей бросаться, и бросилась даже, доплыла по-собачьи до сплавной боны, вылезла на нее мокрая, жалкая и выла среди реки протяжно, одиноко и жутко.

После этого тетка Авдотья вернула Агашку домой и стала жить смирно-тихо. И стариться начала быстро, обвисла, ссутулилась, поседела вся. Дом она содержала теперь обиходно, даже форточку в раме проделала, чтоб вольный дух помогал расти дитенку. Наряжалась тетка Авдотья мыть и белить избы, копать огороды, нянчилась за плату с ребенком учителей и разную всякую работу делала, волоча за собой везде и всюду любимого внука Костеньку. Потихоньку приторговывала тетка Авдотья винцом и самогонкой. С деда и Ксенофонта платы за вино не брала, и не по родственным соображениям, а потому, что они доглядывали ее хозяйство — привозили дрова, починяли домишко, ремонтировали печку.

Совсем наладилась жизнь тетки Авдотьи, но вдруг объявился Терентий.

Он приплыл с севера, откуда-то из-под Гольчихи, в резиновых сапогах, еще невиданных в нашей деревне, с длинными голенищами, в шляпе, при часах, и привез бочонок соленого омуля. Тетка Авдотья бочонок с омулем катнула на улицу, шляпу с Терентия содрала, затоптала ее ногами, ворота заложила на бастриг и занавески на окнах задернула.

Все село упивалось этой картиной. Все видели, как стоял седенький уже, коричневый, ровно орех, сухой от ветров и солнца Терентий среди улицы и не знал, что делать. Потом он сидел на бочонке с омулем, бил себя кулаками по голове:

— Куда я денуся теперь, сирота несчастная? Где найду дом-пристань свою?

— А вот не бродяжничай, не бродяжничай! Эт-то что же ты, матушки мои, за моду взял: наскочишь, бабу обрюхатишь и как вихорь унесешься? — корила Терентия моя бабушка. — А ты подумал бы башкой своей удалой, — бабушка согнутым перстом стучала по покаянной голове Терентия, будто по тыкве, — как твои детки тута? Пить-есть чего у них имеется? Как жена твоя родная, живая или мертвая? Загуляла или блюдет себя?.. Или тебе все едино? Гори все огнем-полымем!

— О-о-ой! — мотал головой доведенный до полного отчаяния Терентий. — Убить меня мало, подлеца такого, тетка Катерина!

Кончилось все это тем, что Терентий и бочонок с омулем оказались у нас, а через день, сломленная жалостью, бабушка за руку, словно школьницу, привела тетку Авдотью, и в присутствии дедушки, Ксенофонта и бабушки Терентий ползал на коленях перед женою, клялся на образа, что покончит с «прошлым», будет как «андел» — тише воды, ниже травы, вина в рот не возьмет и никуда больше не уедет, потому как «осознал ошибку жизни»...

Ничего Терентий не осознал. Недели через две он начал куролесить по селу, пропил часы, сапоги и шляпу, бил тетку Авдотью, и она его била, и однажды, будто печной угар, улетучился из дому и села Терентий, снова подался бродяжничать и «длинные, фартовые» рубли искать, а тетка Авдотья опять «налаживалась» и скоро наладилась, потому что на этот раз Терентий не оставил ей девку на память, да и внуков надо было кормить и растить. Девкам понравилось делать и сплавлять внуков бесхарактерной матери. Так до конца дней своих она и хороводилась с детьми, не знала скрёсу, по выражению бабушки, то есть роздыха и покоя.

Не встречал я больше людей на свете, кроме бабушки и тетки Авдотьи, которые бы так люто «считались», как у нас называют бабью перебранку, и все же так прочно дружили бы, жалели одна другую и подсобляли в трудные дни.

Вот к тетке-то Авдотье и подалась бабушка с намерением перебить все окна, битые не раз уже и не два разными другими людьми. А пока она бегала к тетке Авдотье, выясняла там обстановку, дед пришел с реки, забрался на свой курятник и преспокойно уснул.

Неизрасходованный заряд сжигал бабушку, и утром она выпалила его в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно, лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Не дослушав до конца бабушку — завелась она надолго, — дед пошел во двор, вывел коня Ястреба, вынул бастриг из ворот, забросил его в гущу крапивы, и я, смекнувши, к чему дело клонится, ринулся в избу:

— Баб, а баб! Дедушка уезжает!..

— И понеси лешак! — с прежним накалом в голосе крикнула бабушка, но тут же помчалась во двор.

Бунт деда дошел до такого накала, что он не запер ворота, оставил их распахнутыми и, более того, не поднял доску в подворотне, разнес ее телегою в щепье.

— И не запирай! И не запирай! — кричала бабушка с крыльца, размахивая руками. — И я не запру! И я не запру! Вот стыдобушка-то будет! Глядите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены! Глядите и дивуйтесь! Поло! Все кругом поло! У тебя поло-то! У тебя!..

Так кричала бабушка, а сама поднималась на цыпочки, вытягивала шею, должно быть, надеялась, что дедушка все это сгоряча натворил и одумается еще, воротится. Но за кладбищем телега загромыхала по камешнику Малой речки, с бряком и звяком пронеслась в гору и исчезла в сосняке. Ястреб, перепуганный тем, что смиреный такой человек хлестал его вожжами, не хуже любого же-

ребца мчался в гору, по направлению к заимке, где оставалась еще наша избушка, не занятая сплавщиками, потому как стояла далеко от запони. Кольча-младший заменил на сенокосе дедушку, чтобы высвободить его в помощь бабушке. А помощник-то, вон он, был и нету!

— Ха-рашо-о-о! Харр-ра-шо-о-о! Очень даже славно! — подбоченилась бабушка, когда звук телеги умолк в лесу. — Съедутся детки родимые, где тятя — спросят. Внуки, деточки малые — где наш дедушка родимый? — спросят. А я и скажу имя: милые мои деточки, ударила ему моча в голову и умчался ваш Илья-пророк ко всем лешакам, токо телега загремела! И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя жизнь была с таким человеком! Сколько мук и страданий приняла я, горемышна-а-а...

Попусту причитать и высказываться бабушке недосуг, и потому она все это говорила и напевала, управляясь по хозяйству, а ворота все же не закрывала и мне закрывать не велела. С уязвленностью и тайной болью она все повторяла, пусть, мол, люди посмотрят, пусть полюбуются и рассудят, какова ее жизнь и какие она страдания приняла на своем веку.

До самой ночи ворота были полыми, а когда стемнело, пришлось нам их все же закрыть. Надежд на возвращение дедушки больше не оставалось. Пока нашли мы бастриг в жалице, обстрекались оба с бабушкой. Она примачивала мои волдырями взявшиеся руки и уже вяло, на последнем накале грозилась:

— Посидишь вот голодом-то, посидишь!.. Ишь, сбрындил! Чего и сказала? Ну, не выпивал, так не выпивал. Я тоже нервенная, тоже могу лишнее брякнуть. Мало ли?.. Конишку-то, конишку забье-от! В ем ведь, в крехтуне, зла этого... Ой, забьет...

Почти весь следующий день бабушка крепилась, твердость сохраняла и все разговаривала так, будто дед — вот он, рядом. А потом сдалась, наладила заплечный мешок с харчами и снарядила меня на заимку:

— Кольчу мне жалко, Кольчу, — ровно бы оправдывалась передо мною она. — Сам-от хоть седни, хоть завтре с голоду окочурься — не охну. И ни единой слезы не уроню. Ни единой!.. — Бабушка ногой притопнула и кулаком в сторону заимки погрозила. Но за воротами начала переминаться, поправлять на мне мешок и конфузливо просить: — Созови дедушку-то, созови. Бычка колоть надо. Делов полон двор... Созови. Он ндравный, но тебя послушает... Созови, батюшко...

Легко сказать — созови, а как сделать? Положение мое было затруднительное. Даже маленькая моя оплошность могла обернуться еще большим отчуждением дедушки от дома.

Дед встретил меня на заимке хмуро, и перво-наперво надо было как-то ликвидировать эту его хмурость.

Как ни в чем не бывало включился я в дела, схватил ведро, зазвенел им и побежал к ключу. Затем развел огонь, намыл картошек и заорал:

Распроклятая картошка,
Что ж ты долго не кипишь?
Гости все исцеловались,
Ты холодная стоишь!..

Эть, клюнуло! Дедушка потянул воздух широкой ноздрей и в бороду ухмыльнулся.

— Где соль, деда?

Он воззрился на меня с досадою, дескать, и тут ему покоя нет, пристают к нему, не дают побыть в гордой уединенности.

— Где же ей быть? В избе...

Еще клюнуло! Выдавил из деда звук. Это не так уж мало! Еще Кольча-младший скорее бы с покоса вернулся, тогда мы совсем быстро деда одолеем. Кольче-младшему не с руки поститься вместе с дедом, в деревню ему охота.

Соль соленая-ядреная,
Тра-та-та-та-та-та... —

орал я громче прежнего и бухнул в картошку одну горсть соли, прицелился и другую бухнуть, но тут:

— Соль-то покупная...

Ага-а-а, дедушка-соседушка, все же о добре-то печешься! Не наплевать, значит, тебе на хозяйство. Думаешь, стало быть, заботишься.

Пока еще дед меня ни о чем не спрашивает, пока еще делает вид, мол, пусть все горит-полыхает — он и не охнет, и ни о каком празднике не горюет: освободился от оков... А я думаю совсем по-другому. Все равно я дедушку расшевелю и на село вывезу.

Картошки сварились. Я отлил воду, поставил чугунок на стол. Хлеб нарезал, шаньги картофельные из мешка вынул, простокваши две кринки выставил. Дед ни малейшего внимания. Дымит табаком, ничего больше не делает. Сидит на чурбаке, смотрит вдаль, за Ману, полный презренья к хозяйству и труду, и от него дым, как от парохода.

— Позвать Кольчу-то?

— Зови. Мне што.

Я помчался в поле и еще издали махал рукой и кричал:

— Дя-а-а Коля-а-а! Дя-а-а Ко-о-оля-а-а!

Кольча-младший огораживал стог сена, вязал прутьями колья, зарубал жерди. Рубаха у него навыпуск, расстегнута, в волнистом

чубе запутались сухие травинки и щепочки. Я упал в тенистое укрытие стога, а Кольча-младший быстрее доделывал огорожу, расспрашивал меня про бабушку, про дом и как у нас дела идут. В пути от зарода до заимки мы договорились с ним о дальнейших действиях.

Кольча-младший под видом неотложных дел уберется с заимки после обеда. Дед, надо полагать, долго не выдержит одиночества и тоже, глядишь, соберется в село.

— Только ничем ему тут не досаждай и не серди, — наказывал Кольча-младший. — Смотри, не сделай промашку!

Кольча-младший сполоснулся в реке, сел за стол и крикнул в открытую дверь:

— Тятя, ты чего ись-то не идешь? Ждем ведь!

— Бу-бу-бу, — слышно во дворе.

Дед бубнит в бороду, а чего — не поймешь. Наконец появился, строго и печально перекрестился на деревянную икону. Мы с Кольчей-младшим чистим картошки и на деда стараемся не глядеть. Он сначала нехотя, замученно ел, выбирая из чугунка кособокие, маленькие и поврежденные картохи, долго, с кряхтеньем чистил, круто их солил. Сплошная скорбь наш дедушка. Кольча-младший отворачивался к окну, будто на коней смотрел, а я держался из последних сил, чтобы не прыснуть. Все тогда пропало.

Постепенно дед разошелся в еде, и мы прикончили весь харч, привезенный из дому, — бабушка послала в обрез, чтоб раздразнить мужиков домашней снедью и выманить их с заимки. Кругом тонкая политика!

После обеда я забрался на полати, а Кольча-младший смотался с заимки в село.

Дед ходил по двору, бубнил, топором постукивал. Переломный сейчас момент. Дед может одолеть обиду, а может и окончательно раздумать возвращаться в село. Очень он характерный у нас.

Но вот звякнули удила оброти, дед перестал колесить по двору. Ушел за конем. Сломался лед!

Скоро по деревянному настилу застучали копыта. Слышно было, как дед заводил в оглобли и пятил к телеге неповоротливого Ястреба, затем он собирал шмутки, шарился в сенках, отыскивал замок и ключ.

— Спать, што ли, сюда явился? — недовольно, в пространство обронил он.

Я нехотя спустился с полатей, потянулся, зевнул, будто разоспался только.

В телеге свежее сено. Я плюхнулся на него брюхом и тронул со двора заимки. Дед закрывал ворота, я ждал его. Долго закры-

вал ворота дед. Не раздумал бы. Нет. Сморкается, закуривает основательно — на дорогу.

Всю дорогу я видел непоколебимую дедушкину спину. Он не разговаривал со мной и не понукал Ястреба, ехал домой словно бы по повинности, безо всякого желания. На полпути он, не оборачиваясь, мрачно спросил:

— Сама послала?

Я прикинул, что Королев лог уже проехали, что скоро спуск к селу начнется и возвращаться никакого резона нет, и ответил утвердительно:

— Сама.

— А-а-а!.. То-то!

Из этих звуков, выдавленных дедом в бороду, я сделал полное заключение, что дед насладился местью и торжествует. «А-а-а» — это значит, достукалися, довели человека до крайности, а теперь... «То-то!» значит: какой бы я ни был «толстодум» и «крехтун», а вот без меня не обойтись, потому что хозяин я в дому был и хозяином буду, и сколько бы вы там ни фордыбачили, все одно праздник без меня не праздник, да и в будни я еще пригожуся...

— Н-но, Ястреб! Н-но, Ястребушко! — шевелил вожжами оживившийся дед и к дому подкатил на рысях.

А тут уж бабушка ворота открывает, Ястреба под уздцы берет, и не ходит она по двору, а прямо летает, и на меня смотрит благодарно, а на деда заискивающе, и все разговаривает, разговаривает. Дед ни на что пока не реагирует ни положительно, ни отрицательно.

— Может, с устатку выпьешь? — за ужином предложила деду бабушка и примчала из горницы шкалик водки.

Дед вылил водку в фарфоровый бокал, опрокинул ее, крякнул одобрительно и принялся за щи.

В доме нашем наступил мир.

* *

Гости съезжались по-разному. Кольча-старший приехал из города с женой своей Натальей на сплавщицкой моторке. В город они смотались во время коллективизации и жили там крестьянским хозяйством. Жили по-чудному: работали день и ночь, торговали на базаре, рядились за каждую копейку, а потом все накопленные деньги бесшабашно и весело прогуливали и начинали снова копить.

Дядя Вася с тетей Любой пришли из Базаихи пешком, через горы. Люди они были очень похожие друг на друга — аккуратные,

добрые, — бабушка души в них не чаяла. Оба работали в Лалетинском опытном саду, тетя Люба садовницей, а дядя Вася рабочим. Они принесли с собой красных яблочков, еще терпких и горьковатых. Поскольку большинство ребят, в том числе и я, никогда не видели яблок, то страшно обрадовались такому гостинцу и горькие, вяжущие эти яблоки съели за милую душу.

Тетя Маня с мужем Зыряновым приплыли на лодке от Манского шивера, приплавили стерлядей и тайменешка на пирог. Зырянов работал бакенщиком, и у него была грыжа, которую он подвязывал красным ремнем. Детей у тети Мани и Зырянова не было, поэтому жили они прижимисто и богатенько. Бабушка недолюбливала Зырянова, звала его только по фамилии, а тетку Марию жалела, но в жизнь их не вмешивалась. «Муж да жена — одна сатана», — говорила бабушка.

Объявились, как всегда, новые родственники, и, как всегда, прибыл гость в пеленках — сын которой-то бабушкиной племянницы. Бабушка немедленно распеленала его, как бы между прочим осмотрела: пеленки чисты ли и не в рубцах ли. Провела рукой по грудке и по пузцу кривоногого сибиряка. Он в ответ на это действие блаженно потянулся, зажмурился и выдал крепкий звук, отчего все захохотали, а бабушка заворковала:

— Вот и еще новожитель! Нашего полку прибыло! Пупок узелком, ноги кругляшком, дух хлебнай — па-а-ахарь будет, па-а-ахарь! — И человечишко заулыбался вдруг, а молодая мама, наслышанная о том, что за характер у бабушки Катерины и каково ей потрафить, стоявшая до этого ни жива ни мертва, заткнула рот и нос платком. Бабушка, конечно же все до конца знающая, прикрикнула:

— Расклеви парня-то!

А во дворе кружатся мужики, вспоминают, что и как тут было прежде, радуются тому, что мало чего изменилось и, перешибая один другого, вспоминают: то, как он, Вася, свалился с крыши в загон и сел верхом на корову, отчего бабушка, доившая корову, едва умом не тронулась; то, как они лазили за огурцами с Иваном к Тимше Бетехтину и как он палил по ним из восьмикалиберного дробовика, заряженного дресвой; то, как укусил Васю уросливый Карька, а Вася обозлился и сам Карьку укусил, так после этого Карька лишь Васю к себе и подпускал, а больше никого за людей не считал; то, как купались в Енисее с утра до ночи, иной раз в заберегах еще начинали; то, как зорили птичьи гнезда (дураки же были, ей-богу!); то, как на заимке работали и как мать прибежит, бывало, на пашню, распушит и девок, и парней за нерадивость, возьмется показывать трудовой пример — свяжет снопик-другой на-

туго и тут же мчится с поля в село либо на соседнюю пашню, где тоже надо командовать и указания давать, а некому этим ответственным делом заниматься.

— А помнишь?

— А помнишь? — слышалось со всех сторон.

И седые мои дядья, тетки смеялись и молодели лицом. Были они почти все рыжеваты, конопаты и скуласты. Самые рыжие — Кольча-старший и дядя Ваня, а дальше, как утверждали дядья и тетки, краски на всех не хватило и пошел цвет пожиже. Кольча-младший вовсе рус, и конопатин на его долю осталось всего ничего — щепотка.

Ворота почти не затворяются, щеколда бренчит праздничным набатом — родня прибывает и прибывает. Да и соседи, друзья дядей и теток, давно не видевшиеся, заходят поздороваться, перемолвиться словом. Их не очень настойчиво приглашают завтра быть гостями. Праздник семейный, и всяк в селе знает, что в таком празднике чужим быть незачем.

Жители нашего села состояли в основном из четырех колен родственников, и четыре фамилии главенствовали в нем. Самая распространенная фамилия — Фокины, затем — Шахматовы, затем наша — Потылицыны, а затем уж негустая, но отчаянная фамилия — Бетехтины. Когда гуляла какая-нибудь из этих фамилий, ее никто не тревожил, хотя заведено у нас было гулять, перебираясь из дома в дом. Бывало, если человек слабоват, пока из одного конца села до другого доберется, то уж у него отпуск просрочен и ему зеленые чертики являлись. Тогда тащили его в баню, отмывали, отпаривали, брызгали с помела водою — чтобы чертей отогнать, — и таким образом возвращали семье и труду.

Драк в общих гулянках случалось шибко много, так много, что огороды, выходившие в улицу, за зиму бывали разгорожены до основания и жерди, колья употреблены как орудия битвы.

Буйное село, что и говорить. Но в семейных праздниках гуляли обстоятельно, спокойно и редко кто срывался, а если и срывался тот или иной родственник, вспомнивший какую-либо давнюю обиду, его или уговаривали, или дружно связывали, не давали войти в распал.

Пожалуй, только Бетехтины отличались неуемным буйством. Они почти все жили в одном переулке, гуляли обычно в троицу, и можно было слышать из бетехтинского переулка хруст ломаемого дерева, крики: «Караул!», «Мама!», «Пусти меня!» и так далее. Затем грохал восьмикалиберный дробовик, следом за этим слышался голос кривоногого Тимши Бетехтина, самого старшего в родове:

— Пер-рестреляю-у-у-у! Всех уложу-у-у-у!..

Никто в бетехтинский переулок об эту пору не совался, хотя узнать хотелось, чего и как там. И когда появлялся из переулка немой бетехтинский Кирила, его облепляли женщины и тормошили расспросами.

Кирила плакал, и по его носатому, большому лицу на вышитую плисовую рубаху катились слезы. Очень жалели все люди этого трудягу-мужика, угодившего в такую неподходящую для него родню.

— Па-па — пу-у-ух! — изображал Кирила, как из дробовика палил Тимша, его отец. — Мам-ма — ой-ой-ой!.. Я — у-у-у!

И он показывал, как растаскивал братьев, но они порвали на себе рубахи, побили в избе посуду и на нем хотели порвать рубаху, да он ушел, устал потому что, и глаза его не глядели бы на такую жизнь. Пожалуй, пойдет он сейчас и утопится.

Кирила отправлялся дальше и уносил утробный, протяжный звук, а бабенки, что побойчее, приближались к бетехтинскому переулку:

— Вот, достукалися! Кирила топиться пошел!..

Из-за бетехтинского заплота посылали всех подальше. Сама Бетехтина, собирая на груди изорванную кофту, с вечным синяком под глазом, выскакивала из ворот, спрашивала, в какую сторону ушел Кирила, отбегала на безопасное расстояние и кричала:

— Всех он вас, бандитов, обрабливает! Вы его мизинцу не стоите! Чтобы вы сегодня же поиздыхали! Чтобы вы все по тюрьмам поизгнивали!..

Так Бетехтина Федосья ругалась, и улица сочувственно расступалась перед нею. Бабушка моя, вечно недовольная дедом, мною, детьми своими, как-то изрекла признание:

— Нет, не скажу худого про своих ребят и про мужа свово. Синяка единого не нашивала. А эт-то что же, матушки вы мои, родну мать чуть чего и в кулаки! Да распоследнее ж это дело! В сельсовет надо на них жаловаться. В сельсове-ет.

Бабушка не раз говаривала, что ребят своих держала строго, даже излишне строго, зато имеет результат. Она и сейчас еще напускала на себя суровость, чтоб сыны ее и дочери — а иные из них уже и сами деды! — не забывали, кто она и что она. «Ребята» охотно доставляли ей удовольствие властвовать над ними и, должно быть, гнету не испытывали, попавши под эту, как бы уж и невзаправдашнюю, кратковременную власть.

В сбившемся на ухо платке бабушка выпорхнула во двор, прервала воспоминания и праздное времяпрепровождение:

— Ребята! Мужики! Вы какого же дьявола сидите, табак переводите?

— А чего нам делать-то, мама?

— Как это чего? В ночь поельцовали бы. Я бы вам такое жарево спроворила!..

— Да сети-то где ж, мама?

— Сети? У мамы все есть! Мама все сбережет! — ударила бабушка себя в грудь кулаком, и мужики полезли на сарай и повторяли громко, чтоб бабушка слышала: «Ну и мама! Ну до чего бережлива! Ну радость нам!..»

Слышно, как бренчали кибасья сетей на сарае, как там довольно и возбужденно переговаривались мужики, а женщины с безнадежностью требовали:

— Рубахи-то чистые хоть бы поскидывали! А тебя уж подхватит! — пеняли они бабушке сердито. — Перетонут еще...

Бабушка вознамерилась было вступить в спор, но тут раздался звонкий, бесшабашный голос тетки Августы:

— Много вас, не надо ль нас?

— Я-ави-ила-ась, голубушка, я-ави-илась! — обрушилась на нее бабушка. — Отчего ж не завтра, прямо к столу бы?

Тетка Августа больше всех Потылицыных обижена судьбой. Мужа убили, сын немой, дома своего нет — мается по чужим углам. Августа всегда помогала бабушке в будни и в праздники. Бабушка без тетки Августы жить не может, но бранит ее постоянно. Вот уж сколько дней от окна к окну бегала — не случилось ли чего с Августой на сплаве, а стоило ей появиться, и бабушка с укором.

— Я ж на производстве, мама, на сплаву. Не свое — не бросишь, — уронила с горечью Августа, и всем как-то неловко сделалось, и бабушка не знала, что дальше сказать. Но Августа сама же все и поправила.

— Тошно мне, Любанька! — протянула она руки, обняла и расцеловала Васину жену, ко всем одинаково ласковую, всеми нежно любимую. Затем тетка Августа обнялась с тетей Талей, с дядей Колей, чего-то там сказала, засмеялась — и опять стало весело, дружно в доме. Минут через десять Августа мчалась уже с подойницей под навес, потом муку сеяла и вся ушла в работу. А мы сидели на крыльце. Алешка, явившийся к бабушке еще вечером, показывал и толковал мне, как рвет водою цинки на сплаве и какой дают сладкий кисель в столовке. Я переводил нашей малой и старой родне. Люди дивовались на Алешку.

— Ат смышленыш! Ат тебе и безъязыкай! Другому и с языком очки вставит!

— Он еще в шахматы играть научился! — после долгих Алешкиных разъяснений вдруг понял я и заорал об этом на весь двор. Бабушка возникла тут же, перепуганная.

— Чего-о-о-о?

— Алешка в шахматы играет!

— Вот горе-то! Проиграет с себя и с Гуски все...

Дядя Вася пояснил бабушке, что такое шахматы. Не карты, мол, это, не очко.

— А-а, — успокоилась бабушка. — Все же не играл бы лучше. Мало ли чего.

Дяди Васи и тети Любина дочка Катенька, девочка с бантом, в матроске при якорях, скособочившись, почертила сандалией землю:

— Я штишок жнаю.

— Да ну? — удивилась бабушка и присела перед балованной девчушкой на корточки, сделала умильное лицо: — Ну-ко, ну-ко, милушка, скажи бабушке стишок. — И платок с уха сдвинула бабушка, чтоб все расслышать и ничего не пропустить.

Катенька взобралась на крыльцо, как на сцену, дядя Вася потребовал тишины, тетя Люба вся напряглась и покраснела от переживания. Она не спускала глаз с дочки, шевелила губами следом за нею.

Ты, шорока-белобока,
Науси меня летать.
Недалеко, невысоко,
Штабы бабушку ви-идать!

Подхалимский стишок произвел такое впечатление на всех собравшихся и особенно на бабушку, что я не могу этого описать. Бабушка тут же исчезла с глаз долой и примчала полную горсть лампасеек. Со щедрой отчаянностью она высыпала все до единой конфетки в карманчик Катенькиной матроски, всю ее исцеловала, а дядья и тетки так хвалили Катеньку, такие о ней хорошие слова говорили, что чуть было и меня не проняли. Я тоже хотел взобраться на крыльцо и громко, с выражением прочесть выученный в школе стих:

В бою схватились двое:
Чужой солдат и наш...

Но бабушка пустит слезу: «Послушала бы да поглядела бы мать-то, покойница...» — и посмотрит на дядьев и теток так, чтоб они тоже мне посочувствовали, а заодно и ее пожалели. У Кольчи-младшего и у крестной моей Апрони, которые были вместе с матерью в лодке, но спаслись, лица закаменеют, и весь праздник они будут молчать. Женщины дальнего роду станут расспрашивать бабушку, и она примется рассказывать с подробностями, как и что было, как искали в реке мою мать и как нашли уж такую, что она только и узнала ее, да как потом ее хоронили, во что

обрядили. Половина гостей загорюет, иные на кладбище реветь отправятся...

А я не хотел слез, потому как слезы все еще впереди. Нет плаксивей народа, чем сибиряки в гулянке. Вот почему я не стал читать, но ребятишкам, братанам своим двоюродным и троюродным, которых шибко много набралось, я все же пробормотал стих, и они очень этим остались довольны. Они тоже терпеть не могли, чтобы девчонки держали в чем-нибудь верх и пуще глянулись бабушке.

* *

Под вечер мужики с громким говором, возбужденные предчувствием рыбалки, требующей ловкости, сметки и быстроты, отправились на реку и отбыли в двух лодках к острову, чтобы от приверхи его сделать первый замет сетей.

Никого из ребят мужики с собой не взяли, и это было мне сильно огорчительно. Любил я участвовать в азартной и хитрой рыбалке плавными сетями.

Но горевал я недолго. Народу наезжего было много, бабушка меня домой не требовала, и мы играли до темноты во всякие игры: и в городки, и в догонялки, и в прятки, и в чехарду. Играли до тех пор, пока не изнемогли. Бабушка вместе с Августой, Апроней и теткой Марией уже затопили печь, выкатали на столе печенюшки, защипывали пироги, вязали калачи, резали орешки из теста и много чего они мастерили. Нас кормила тетя Люба и все потихоньку выспрашивала у меня:

— Дядя Вася не выпивший поплыл? Не утонут они?

— Любанька! — крикнула из кутьи бабушка. — Ты гвардии-то в горнице стели. Всем в лежку — не перепутаются. Да сама-то, сама поспи, голубушка. Мы-то ведь привычные, а ты нежная, из хорошего дому...

— Да что вы, мама, я тоже с вами буду. Как же я лягу? Вот постелю детям и присоединюсь.

— Нет уж, нет уж, Любанька, не перечь! Тут мой устав! Худой ли, какой ли, а мой! Штабы без разговору! И что это за дрожжи такие пошли? Раньше, бывало, на опаре заведешь, эва какие мягкие подымутся, а нынче на дрожжах чисто рахитные, разъязвило бы их! А может, и удаль уже не та? Глаз и рука, может, сдали?

Тетки заверяли бабушку, что все нормально, что ни о чем не надо убиваться, и рассказывали друг дружке о том, как жили и живут они, кого встречали за это время, чем хворали они и дети, какая заработка на сплаве и скоро ли Зырянову грыжу вырежут.

Где-то в середине ночи ударило по избе ароматом стряпни, первыми печенюшками, вынутыми из печи, и тут же в горнице появилась бабушка:

— Робятишки, вы не спите? — шепотом спросила она.

— Не-е.

— А, чтоб вам пусто было! Нате вот первеньких! Да легче, легче, горячие ведь! Малых-то поразбудите. Любанька, отведай и ты, милая моя, шанежку...

— Спасибо, мама. Ох, какая горячая!

— Ешь, ешь. — Бабушка присела на минутку к тете Любе. — Как живете-то с Васильем? Ладно ли?

— Ничего живем, не скандалим.

— Вот и слава богу, и слава богу. Он ведь хороший, шибко хороший. Из всех парней разумница... — Бабушка замолкла, потянула носом: — Ой, тошно мне! Заговорилась! Девки не досмотрят, завернут башку-то!.. — Бабушка выпорхнула из горницы и прикрыла обе створки дверей.

Когда приплыли мужики, мы не слышали. И тетя Люба тоже не слышала, проспала, отчего утром конфузилась, а дядя Вася поддразнивал ее, стращал, что в следующий раз с ельцовкой уплывет до города и такую там стерлядь заловит!..

— Будет уж болтать-то, будет! — крикнула из кладовки бабушка и протяжно, с подвывом зевнула. — Чего зарыбачили? Два тайменя: один с вошь, другой помене? — Она вышла из кладовой, где поспала часок или два на рассвете, глянула на две корзины, полные ельцов, удивилась: — Гляди-ка, попалось маленько!

— На твоего ангела закидывали, мама!

— Ничего ангел-то, рыбистый! — согласилась бабушка и приказала дяде Васе: — Не мылься коло Любы-то, не мылься, а ступай с мужиками на сеновал, поспи. Ночь-то пробулькались и с первой рюмки потом под стол уйдете — с родней видеться... Тебе, Любанька, наказ: всю гвардию накормить и удозорить, чтоб ни один в речку не упал и никуда не делся. Гуска, Апронька, Марея! Хватит дрыхнуть! Вставайте! Экие кобылищи! Солнце уж на обед скоро...

— Вот ведь нечистый дух! — заворчала в кладовке тетка Мария. — Поднимется ни свет ни заря и никому спать не даст.

— Ей чё! Ей дай покомандовать! — поддакнула Апроня.

— Гинерал! — вставила Августа.

Одна за другой тетки выходят во двор, потягиваются, зевают, бренчат рукомойником, и через короткое время они уже снова в ходу, в работе, и вялость слетает с них, мятые лица разглаживаются.

К полудню в горнице накрыты столы. Тетки и бабушка, исчезнувшие на время, явились немыслимо нарядные, важные. Правда, важничает бабушка да еще тетка Мария. Апроня же и Августа — просмешницы, зубоскалки, и хватает их серьезности ненадолго.

Дед распахнул одну створку двери, бабушка другую и напевно, с плохо скрытым волнением стала приглашать гостей:

— Милости прошу, гостеньки дорогие! Милости прошу отведать угощения нашего, небогатого. Уж не обессудьте, чего бог послал.

А дед сам себе в бороду:

— Проходите, будьте ласковы, проходите!..

Церемонность эта угнетала его, не по сердцу она ему, но не раз уж коренный бабушкой за то, что и людей-то он приветить не умеет и слова на них жалеет, дед выполнял обязанность до конца. Сыны проходили мимо деда и подмигивали ему, ободряли всячески и даже предлагали бросить пост и отправиться за стол. Но бабушка бдит — и дед умырнуть к столу не решался.

После шутливой возни, короткой шумной междоусобицы, стараясь не уронить чего и не облить наряд себе или соседу, расселось наше большое семейство — взрослые за двумя столами, а дети за третьим. К столам еще приделаны подставки, и они совсем как в сплавщицкой столовой, от стены до стены. В конце того стола, который торцом упирался под божницу, два свободных места — эти места дедушки и бабушки.

Столы накрыты по сибирскому закону: все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что скоплено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэтому все на столах крупно, нарядно, все ядрено, все зажарено и запечено с красотою, большим старанием и умением.

Студень — гордость бабушкина, чуть только жирком подернутый сверху, как колыхнулся при появлении гостей в горнице, так и дрожит. Прозрачен студень, легок на вид, а резать его ножом надо. Капуста в пластах, капуста крошевом. Соленые огурцы ломтиками. Петух отварной из чашки лапы выпростал. Рыжики с луком по всему столу на мелких тарелочках радужно улыбаются пестрыми губами. Рыжик у нас не моют перед засолкой, а протирают тряпками каждый по отдельности, и от этого рыжики не вянут, не темнеют и на зубу хрустят свежо. На двух больших чугунных сковородах зажаренные в русской печи ельцы. Они не пересохшие, но подрумяненные так, что есть их можно с головой — только похрумкивай знай. Перцу в них, листа лаврового впору, а жиров к ним не добавляют — что за елец, если он своего соку на себя не даст. Тут уж или елец плох, или стряпка никудышная. Рыбный пирог из тайменёнка, привезенного Зыряновым. У нас его

делают по величине рыбы — какая рыба, такой и пирог, лишь бы в печку влез. На этот раз пирог получился невелик, но запашист. Нет лучше пирога, чем из тайменя. Как и к ельцу, в пирог, кроме перца и лаврового листа, ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат.

К слову сказать, не стало хорошей рыбы в наших местах нынче, вывелась она, и когда я был недавно в родном селе, тетка завернула пирог из какой-то привозной рыбы, жесткой и пресной.

— Гляди, какая у нас рыба клюет в Енисее! — горько подшучивала моя тетка. — С большим глазом! Ране с маленьким клевала, а теперь с большим!

Однако я отвлекся. Вернусь к праздничному столу.

Шаньги, печенюшки, мясо так, мясо этак. Малосольная стерлядь, верещага-яичница, сладкие пироги, вазы с брусникой, еще прошлогодней, вазы с вареньем черничным, еще позапрошлогодним, хворост, печенье, сушки, орешки, из теста нажаренные!.. Все горой, всего много, все со стола валится.

Сейчас бы есть и пить начинать, а не тут-то было. В последний момент бабушка исчезла, и все сидели, ждали томительно. Дед потоптался, потоптался, буркнул что-то в бороду и определился под божницу, на свое место.

— Вечно выламывается!

Поднялся Кольча-старший и дядя Ваня. Они бережно ввели бабушку под локти. В горнице они подморгнули Августе и Апроне, чтоб те не прыснули и не нарушили бы церемониал. Дальним путем, мимо ребятишек, провели бабушку старшие сыновья в передний угол, отодвинули стул и сказали:

— Мама, тебе почет и место!

Бабушка знала, как трудно даются речи этим пятидесятилетним ребятам, и на большее не рассчитывала. Скромно так, застенчиво она опустила глаза и дрогнула губами:

— Спасибо, дети мои, спасибо за уважение и ласку.

Мимоходом она сразила деда взглядом за то, что нарушает он ритуал и цену себе не знает. Дед досадливо отвернулся, и борода его заходила вверх — вниз, вверх — вниз.

Это еще не все, далеко не все. Вот бабушка повернулась к божнице, однако позу выбрала такую, чтобы все застолье охватить взглядом можно было, и начала креститься. Все задвигали стульями, скамейками, уронили вилку со звоном, зашикали друг на дружку, и взрослые перекрестились на образа следом за бабушкой. А малыши и я вместе с ними, к неудовольствию бабушки, остались сидеть. Она ничего нам не сказала, поскольку тут все больше школьники.

Бабушка на месте. Ждет. В роль вступил дед. Из-под стола он выудил четверть с водкой и молча разлил ее по стаканам, а тетя Люба наливала в рюмочки, которые мы охотно и наперебой подставляли, брусничной настойки.

Четверти хватило лишь на один разлив. Дед поднял граненый стакан и негромко, стеснительно призвал:

— Ну, давайте, ребята, со свиданьицем, за здоровье старухи!

Он первым ударил стаканом о бабушкину рюмку. Над столом стеклянный звяк. Ребятишки тоже чокаются друг с другом. Пора бы уж выпить, но произошло замешательство. В горницу неслышно, робко втиснулся дядя Митрий, тот самый человек, о котором принято говорить: в семье не без урода. Дядя Митрий — бабушкино страдание, он горький пьяница. Незаметно ото всех бабушка переодела дядю Митрия в чистую дедушкину рубаху и штаны. Дядя Митрий меньше деда, и рубаха ему велика, порты висят у колен. Дядя Митрий наскоро умыт и причесан. Он одергивал рубаху суетливыми руками.

Дедушка ногой пододвинул к столу табуретку, а бабушка поправила на груди кружевной шелковый платок и с вызовом обвела застолье взглядом: «И позвала! Вы как хотите, а я позвала!»

Татьяны, жены дяди Митрия, нет. Она к нам не ходит. Опять же из-за бабушки. Татьяна — пролетарья, по выражению бабушки, она активист и организатор колхоза. Все время заседает, а дети и муж ее запущены до того, что видеть этого бабушка не может и срамит невестку везде и всюду, подрывает ее авторитет.

Однажды бабушку каким-то ветром занесло в клуб, где шло собрание и на сцене держала речь Татьяна. Надо сказать, что достаток людей в нашем селе определялся как-то по-чудному. Считалось, например: если у бабы какой нет штанов, то уж распоследняя это, никудышная баба, и грош ей цена!

В середине речи бабушка и крикнула от двери клуба:

— Хорошо высказываешься, Татьяна! А вот штаны-то есть ли на тебе?

Бабушка совершенно была уверена, что штанов на невестке нет. Но Татьяна подняла подол и показала всему народу штаны, холщовые, из мешка сшитые, но штаны.

Бабушка убралась из клуба под громкий хохот, а Татьяна с тех пор не знается с нею и в доме нашем не бывает.

Дядя Митрий определился в стороне на табуретке. Все переминались, ждали чего-то с посудой в руках, покашливали. Августа нашлась первая, расшибла напряжение:

— Ну, подняли, подняли! Рука-то не казенная! Мама, за твое здоровье! Тятя, с именинницей тебя!

Истомившиеся мужики быстренько опрокинули водку, и пока женщины еще жеманились, пригубляли чуть-чуть, совестясь друг дружки, они принялись за дело: потащили со сковороды ельцов, студень, и никто, кроме бабушки, не замечал, что дядя Митрий спрятал руки под столом и не отпил даже глотка.

Возникла вторая четверть. Теперь уже сыны приняли ее от деда, хватит, мол, поработал на них, пора самим за ум браться. После второй застолье колыхнуло смехом, говором, и вскорости нас, ребятишек, спросили, наелись ли мы, дали орехов, конфет и с гостинцами выдворили из-за стола, а приставку убрали, чтоб посвободней было в горнице.

Бабушкин праздник начался!

Мы залезли на полати, оттуда все видно. Алешка представлял из себя вдребезги пьяного человека, и такой он был потешный, что все мы покатывались со смеху.

В горнице раздался властный и насмешливый голос Августы. Подражая Таньке-активистке, она стучала вилкой по пустой четверти и требовала:

— Мужичье! Тих-ха! Мама, заводи!

— Да где уж мне, девки? Я уж обезголосела.

— Помогнем!

— Ну уж, ладно уж, будь по-вашему, — смягчилась бабушка, и голос у нее такой, будто она век всем уступала.

Тее-че-от ре-е-еченька-а-а-а,
Те-ече-от бы-ы-ыстрая-а-а-а...

Бабушка запевала стоя, негромко, чуть хрипловато, и сама себе помахивала рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу россыпью колючек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Чем ближе подводила бабушка запев к общеголосью, чем напряженней становился ее голос и бледней лицо, тем гуще вонзались в меня иглы, и казалось мне, кровь густела и останавливалась в жилах.

Ой, да как по то-о-ой
По реке-е-е-е-е....

Сильными, еще не испетыми, не перетруженными голосами грянуло застолье, и не песню, а бабушку, думалось мне, с трудом дошедшую до сынов своих и дочерей, подхватили они, подняли и понесли легко, восторженно, сокрушая все худое на пути своем, гордясь собою и тем человеком, который произвел их на свет, выстрадал и наделил трудолюбивой песенной душой.

Песня про реченьку протяжная, величественная. Бабушка все увереннней выводит ее, удобней делает для подхвата. И в песне она

заботится о том, чтобы детям было хорошо, чтоб все пришлось им впору и песня будила бы только добрые чувства друг к другу, и навсегда оставляла бы неизгладимую память о родном доме, о гнезде, из которого они вылетели, но лучше которого нет и не будет.

Вот и слезы уж потекли по бабушкиному лицу, а там уж и по Августиному, по тети Марииному. Дядя Митрий, так и не притронувшийся к вину и к закуске, закрылся рукавом и сотрясался весь, а ворот дедушкиной рубахи хомутом подскакивал на его шее.

Бабушка хоть и плачет, однако не губит песню, а ведет ее дальше к концу, и когда, звякнув стеклами, в распахнутые створки окон улетели последние слова «Реченьки» и повторились эхом над Енисеем-рекой, над темными утесами, в избе нашей началось повальное целование, объяснения в вечной любви, заглушаемые шмыганьем потылицынских носов, зацепившись за которые, и большой ветер остановится.

— Мама! Мамо-о-онька-а-а!

— А где тятя-то? Тятя-то где? Тя-атенька-а-а!..

— Брат ведь ты нам, бра-а-ат! — обнимал дядю Митрия Кольча-младший.

Дядя Митрий согласно тряс головой и испуганно поглядывал по сторонам. Он совершенно трезв, потерян, одинок тут. Жалко дядю Митрия. Я тоже плачу, затаившись в уголке, но негромко плачу, для себя, утираю со своего, тоже потылицынского носа слезы кулаком.

В какой момент, какими путями появляются в нашем доме и оказываются за столом Левонтий и его напарник по бадогам Мишка Коршуков, объяснить я не могу. Мишка Коршуков с гармошкой, клеенной по дереву и мехам разным лоскутьем, а дядя Левонтий со своей вечной улыбкой от уха до уха.

— Мир честной компании!

— Левонтий! Мишка! Едрит-вою! А ну зыграй чего-нибудь.

— Дай обопнуться людям! — остановила бабушка наседающих на Левонтия и Мишку Коршукова сынов и налила гостям сразу по полному стакану, поскольку рюмки и прочая подобная посуда для них никакая не тара.

Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с бабушкой и дедушкой:

— С ангелом, Катерина Петровна! С праздничком! Со свиданьицем!

— Кушайте, гости, кушайте, дорогие!

Бабушка притронулась губами к рюмочке и отставила ее.

Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удало, согласованно,

будто бадоги кололи, и кадыки у них громко, натренированно двигались и булькали.

— Хороша совецка власть, да горьковата! — возгласил Мишка и сплюнул под стол. Он поднял с пола гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами. Ребятишки столпились в дверях горницы, ждали музыки с замиранием сердца.

И вот пошла она, музыка! Мишка Коршуков широко развел гармошку и тут же загнул ее в крендель немыслимый. Оттуда, из заплатного этого кренделя, чуть гнусавая и ушибленная, потому что Мишка не раз уж разрывал гармонь пополам, вынеслась мелодия, на что-то похожая, но узнать ее и тонкому уху не просто. Тогда Мишка дал направление:

Раз полоску Маша жала,
За-ла-ты снопы вязала-а-а,
Мо-ло-да-а-я-а-а...

И все радостно подхватили:

Э-эх, мо-ло-да-а-я-а-а-а...

Как это сразу не догадались, не узнали песню! Мишка сделал начин и наяривал, подпрыгивал на скамейке, как на лошади. Ему сунули в руку стакан с водкой. Он выждал момент, когда можно отойти на второй план, а песельники справятся без него, подыгрывал одной рукой на басах, а другой дернул водчонку.

— Ты бы закусил, Мишка! — предлагала бабушка, но Мишка мотал головой, погоди, дескать, некогда. Августа поднесла гармонисту кружок огурца на вилке. Он снял его губами и подмигнул Августе, а она ему — и они ровно бы о чем-то уговорились. Мишка перекинул пальцы, и пока мужики, не разобравши, что к чему, вели:

Мо-о-олада-а-я-а-а-а! —

бабенки уже тряслись вокруг стола под барыню, выплескивались из горницы в простор середней. Гармошка со всхлипом, надрывом и шипом выдавала из дыроватых мехов отчаянную плясовую.

Гулянка вошла в самый накал, и народ распалялся от пляски, прибавлял шуму, визгу и топоту. Теперь уж всяк по себе и все вместе. За столом остались дедушка, старухи, тетя Люба-скромница и трезвый, все так же пеньком торчащий дядя Митрий, который боится вынуть руки из-под стола потому, что грязны они, покарябаны, и как бы руки не схватили стакан, и не наделал бы он позора.

Объявилась тетка Васеня, сурово посмотрела на мужа, дескать, ты уж затесался, не обошлось и тут без тебя. Дядя Левонтий уже на крепком взводе.

— А вот и жена моя, Васеня, Василиса Семеновна! — закричал он. — Хар-роший человек! Ну, чё ты, чё ты уставилась? Судишь меня? А за что судишь? Я ж тут свой! Еще свой-то какой! Правда, тетка Катерина? — За этим последовал крепкий поцелуй и объятие такое, что бабушка взмолилась:

— Тошно мне! Задавил, нечистый дух! Эко силищи-то в тебе!

— Оттого, что люблю потылицынских пуще всякой родни! Из всего села, может, выделяю!..

Тетку Васеню втащили за стол, усадили рядом с дядей Левонтием к уже разгромленному столу. Тетка Васеня церемонилась для приличия, двинула локтем в бок своего мужа. Он дурашливо подскочил, ойкнул. Все захохотали. Засмеялась и Васеня.

А бабье плясало и выкрикивало под Мишкину гармонь, которую он рвал лихо и нещадно.

Дошли в пляске до полного изнеможения. Бабье и мужики валились за стол, обмахивались платками, беседовали разнобойно, всяк о своем.

— Да-а, Катерина Петровна, беда учит человека хитрости и разумлению. До голодного года скажи садить резаную картошку — изматерились бы, исплевались все.

— И не говори, сват. Темность наша.

— А назем взять? Морговали?

— Я первая дурела. «Овощь с дерьмом ись не буду!» — орала.

— Во-от. А назем-от дороже золота вышел! Какой от него прибыток в урожае!..

— Тятя, закури городскую.

— Не в коня корм, Вася. Кашляю я с паперёс. Ну да одну изведу, пожалуй.

— Я ему — шешнадцать, а он — десять! Я шешнадцать! А он десять! — рубил кулаком Кольча-старший.

— На чем сошлися?

— На двенадцати.

— Вот тут и поторгуй! Жизня пошла, так ее!

— ...И завались сохатый в берлогу! — рассказывал дядя Ваня, давно уже забросивший охоту, потому как конюхом он в конторе состоит. — А он, хозяин-то, и всплыл оттуда! Я тресь из левого ствола! Идет! Тр-ресь из правого! Идет!

— Иде-о-от?

— Идет! Вся пасть в кровище, а он идет. Я цап-царап за патронташ, а там ни одного патрона! Вывалились, пока сохатого гнал...

— Биллитристика все это! — ехидно заметил грамотей Зырянов. — Со-чи-ни-тельство!

— Вякай больше! Чего ты в охоте понимаешь? Сидел бы уж с грыжей со своей и не мыркал...

Бабушка вклинилась меж Зыряновым и дядей Ваней — сцепятся за грудки, чего доброго.

— Не пьют, Митрей, двое: кому не подают и у кого денег нету. Но чур надо знать! Норму.

— И только поп за порог — клад искать, — а русский солдат шу-урк к попадье-е-э, под одеяло-о-о!... — напевал Мишка Коршуков Августе в ухо.

— Руки зачем суешь, куда не следует? Убери! Вон она, мама-то... Все зрит!

— Вот рыба-таймень, так? — спрашивал у близсидящих бабенок дядя Левонтий, уминая рыбный пирог. — А я когда в морях ходил, спрута жареного ел!

— Ково-о-о?

— Спрута. Чуда это морская! Змей не змей, но вроде. Скусная, гада, спасу нет!

— Тьфу, страмина! — плевались бабы. — И как токо Васеня с тобой цалуется?

— Кто про чё, а вшивый все про баню! — махнул Левонтий.

— И что за девки пошли! Твои-то закидали тебя ребятишками, закидали! Распустила ты их, Авдотья, ей распустила!

— Дакыть и мы не анделицами росли, Марея. Нас рано замуж выталкивали. Тем и спасались, а то бы... Да ну их всех, и девок, и мужиков! Споем лучше, бабы?

И тонкий голос тетки Авдотьи накрыл и, как пирог, разрезал разговоры:

Люби меня, детка, покуль я на воле.
Покуль я на воле — я твой.
Судьба нас разлучит, я буду жить в неволе,
Тобой завладеет другой...

Тетка Авдотья вкладывала в эту песню свой, особенный смысл. Родичи понимали этот смысл и сочувствовали тетке Авдотье, разжалобились снова. Припев хватанули так, что стекла в рамах задребезжали, качнулся табачный дым и казалось, вот-вот поднимется вверх потолок и рухнет на людей.

Пели надрывно, с отчаянностью. Даже дедушка шевелил ртом, хотя никогда никто не слышал, как он поет. Гудел басом вдовый, бездетный Ксенофонт. Остро вонзался в песню голос Августы. На наивысшем дребезге и слезе шел голос тетки Апрони, битой и топтанной мужем своим Пашкой Грязинским, который уже упился и спал в сарае. Сыто, но тоже тоскливо вела тетка Мария. С улыбкой и чуть заметным превосходством над всей этой публикой под-

вывал Зырянов. Ладно вела песню жена Кольчи-младшего Нюра. Она вовремя направляла хор в русло и прихватывала тех, кто норовил откачнуться и вывалиться из песни, как из лодки. Ухом приложившись к гармошке, чтоб хоть самому слышать звук, с подтрясом, как артист, пел Мишка Коршуков.

Пели все, старые и молодые. Не пела лишь тетя Люба, городской человек, она не знала наших песен. Прижалась она к груди дяди Васи уже безо всякого стеснения, и по ее нежному, девчоночьему лицу разлилась бледность, а в глазах стояла жалость, любовь и сознание счастья от того, что она попала в такую семью, к таким людям, которые умеют так петь и почитать друг друга.

Тетку Авдотью, захлебнувшуюся рыданиями среди песни, повели отпаивать водой. Однако песня жила и без нее. Тетка Авдотья скоро вернулась с мокрым лицом и, подбирая волосы, снова вошла в хор. Все было хорошо, переживательно, но когда накатили слова:

Я — вор! Я — бандит! Я преступник всего мира!
Я — вор! Меня трудно любить... —

дядя Левонтий застучал себе кулачищем в грудь — давал всем понять, что это он и есть вор, и бандит, и преступник всего мира. Еще в молодости, когда служил он во флоте, двинул там кому-то из старших по уху или за борт кого выбросил, точно неизвестно, и за это отсидел год в тюрьме. Ничего особенного. Сидевших в тюрьме, ссыльных и всяких других людей с запутанной биографией немало водилось в селе, но переживал из-за тюрьмы один дядя Левонтий. Да и тетка Васеня добавляла горечи в его раненую душу, обзывала под горячую руку «рестантом».

— Да будет тебе, будет! — увещевала сейчас тетка Васеня залитого с головы до ног слезами мужа. — Ну мало ли чего...

Дядя Левонтий безутешен. Он катал лохматую голову по столу среди тарелок. Вдруг поднял лицо с рыбьей костью, впившейся в щеку, и разом у всех спросил:

— Что такое жисть? — и стукнул кулаком по столу.

— Тошно мне! С Левонтием начинается! — всполошилась бабушка и начала убирать со стола вазы и другую посуду поценней.

— Левонтий! Левонтий! — как глухому, кричали со всех сторон. — Уймись! Ты чего это? Компания ведь!

Тетка Васеня повисла на муже. Кости на его лице твердели, скулы и челюсти натянули кожу, а зубы скрежетали, как тракторные гусеницы.

— Нет! Я вас спрашиваю, что такое жисть? — повторил дядя Левонтий.

— Мы вот тебя вожжами свяжем, под скамейку поместим, и ты узнаешь, что такое жись, — спокойно заявил Ксенофонт.

— Меня-а-а? Вожжами?

— Левонтий, послушай-ко ты меня! Послушай! — трясла за плечо дядю Левонтия бабушка. — Ты забыл, об чем с тобой учитель разговаривал? Забыл? Ты ведь исправился!..

— С... я на вашего учителя! Меня, каторжанца, могила исправит! Одна могила горькая!

Дядя Левонтий залился слезами пуще прежнего, смахнул с себя, как муху, тетку Васеню и поволок со стола скатерть. Зазвенели тарелки, чашки, вилки. Женщины и ребятишки сыпанули из избы. Но разойтись дяде Левонтию не дали. Мужики у Потылицыных тоже не робкого десятка и силой не обделены. Они навалились на дядю Левонтия, придавили к стене, и после короткого, бесполезного сопротивления он лежал в середней, под скамейкой, и грыз зубами ножку так, что летело щепье.

— Вот! Вот, рестант бесстыжий! — стояла над дядей Левонтием тетка Васеня и показывала пальцем: — Тут твое место! Все люди, как люди... Какая жизня с тобой, фулюганом, пускай люди посмотрят...

На столе быстро прибрали, поправили скатерть, добыли новую четверть из подвала, и гулянка пошла дальше. О дяде Левонтии сразу забыли. Он уснул, спеленатый вожжами, будто младенец, и жевал щепку, застрявшую во рту.

В то время когда угомоняли дядю Левонтия и все были заняты и взбудоражены, бабушка потихоньку поставила стакан перед дядей Митрием, все так же безучастно и тоскливо сидевшим в сторонке.

— На, выпей, не майся!..

Дядя Митрий воровато выплеснул в себя водку и опять убрал руки под стол.

— Да поешь, поешь...

Но дядя Митрий ничего не ел, а когда бабушка отвлеклась, цапнул чей-то недопитый стакан, затем еще один, еще. Его шатнуло и повело с табуретки. Бабушка подхватила дядю Митрия, тихого и покорного, увела и спрятала в кладовку, под замок. Затем она наведалась на сеновал. Там вразброс спали и набирались сил несколько мужиков. Когда-то успела оказаться здесь и тетка Авдотья. Она судорожно билась на сене, каталась по нему, порвала на груди кофту. Ей не хватало воздуха, и она мучалась.

Постепенно затихала гулянка, шла на убыль. Поздней ночью самых стойких мужиков развели по углам да по домам дедушка с бабушкой. Затем бабушка обрядилась в фартук, убрала столы, подмела в избе, проверила еще раз, кто как спит, не худо ли кому, и, перекрестившись, сказала: «Ну, слава те господи!...»

Она посидела у стола на скамье, затем помолилась, облегченно сняла праздничную одежду и легла отдыхать.

Люди спали тяжело, с храпом, стонами и бормотаньем. Иногда кто-нибудь затягивал песню и тут же зажевывал ее сонными губами.

Не спал лишь я. Караулил дядю Левонтия, обожаемого мною человека. Он ровно бы знал, что я нахожусь на вахте, и под утро сиплым голосом позвал:

— Ви-итя-а-а! Ви-итенька-а-а!

Я мигом оказался у скамьи. Дядя Левонтий лежал на подушке, подсунутой бабушкой, слабо постанывал.

— Развяжи меня, брат...

Узлы дядя Левонтий стянул, и я долго возился, где зубами, где ногтями, где вилкой растягивал веревку. Дядя Левонтий кряхтел и тихо подавал мне советы.

Он встал, качнулся и спросил:

— Я чего-то наделал?

— Не успел. Связали тебя.

— Вот и хорошо. Порядок на корабле. Опохмелиться не найдешь чего? Башка прямо разваливается...

Я подал дяде Левонтию стакан с водкой, ровно бы ненароком оставленный на подоконнике бабушкой. Дядя Левонтий трудно, с отвращением выпил, утерся рукавом, посидел какое-то время и приложил палец ко рту:

— Ш-ша! Я пош-шел!... Бабушке Катерине не сказывай...

— Ладно, ладно.

Дядя Левонтий отправился, неуклюже загребая ногами, будто на шатком корабле, старался идти так, чтобы ноги были осторожные, но бухнулся лбом в матицу дверей и сам себе пригрозил: «Ш-ша!» Во дворе Шарик на него напал, и он подал голос:

— Шаря! Шаря! Ш-ша, брат! Ти-ха!..

Утром бабушка нашла под скамейкой вожжи, а дяди Левонтия след простыл.

— Это кто же его, супостата, развязал-то? — и глядела на меня.

Я пожал плечами: не знаю, мол.

— Вовремя, вовремя умотал соседушко! Я бы ему задала! Я б его пропесочила!..

Мужики хмуро опохмелялись. Бабушка сжалилась, велела позвать дядю Левонтия. Но тот хитер. Он еще до свету, минуя дом, уплыл на известковый завод, а на той стороне Енисея его не вдруг достанешь! Дядя Левонтий, когда виноват, всегда так делает. Появится он дома к той поре, когда тетка Васеня остынет и бабушка в делах забудется.

Днем начались проводины. Собрались плыть в Базанку дядя Вася, тетя Люба и Катенька. Слезы, поцелуи, посошок на дорогу. Убежала на работу Августа. Ушли в своей лодке на шестах Зырянов с теткой Марией. Кольча-старший отправился по тети Талиной родне, к шахматовским, и другие родичи тоже разошлись, кто на кладбище попроведать своих, кто к знакомым.

Отголоски нашей гулянки несколько дней пробивались очагами то в одном, то в другом месте села.

А у нас в избе тетка Авдотья, тихая, осунувшаяся лицом, вымыла полы, дед прибрался во дворе и на сеновале, бабушка спрятала в сундук наряды и снова хлопотала по хозяйству.

Праздник кончился. Наступили будни.

И никто еще не знал, что праздник этот во всеобщем сборе был последний. Этим летом навсегда покинул нас дедушка, Илья Евграфович, и дом наш осиротел.

В том же году сгорел от вина дядя Митрий и поместился в одной ограде с дедушкой. С такого тихого, ничем не приметного лета тридцать пятого года оградка эта все пополняется и пополняется. Покоятся, кроме мамы моей, дедушки и дяди Митрия, Ксенофонт-рыбак и Татьяна-активистка, тетя Мария и Кольча-старший, дядя Ваня и его жена, тетя Феня, их сын и мой двоюродный брат Миша, дочка Кольчи-младшего Лидочка.

Старые и малые все вместе опять, в тишине, единстве и согласии — «там, где нет ни болезней, ни печали, ни стонов, но жизнь бесконечная»...

Зимою отделился и ушел в другой дом Кольча-младший с Нюрой, а к весне вернулся из заключения мой отец, обзавелся молодой женой и забрал меня от бабушки.

Мы уехали жить в Игарку, где отец мой, ухватками и характером похожий на тетки Авдотьиного Терентия, окончательно запутал свою, мою и мачехину жизнь. Так запутал и так ее осложнил, что и рассказывать о ней не хочется, поэтому перенесусь я через несколько лет и расскажу о том, как снова побывал в родном селе и как в одну ночь кончилось мое детство, да и юность тоже...

ГДЕ-ТО ГРЕМИТ ВОЙНА

В первую военную зиму я учился в железнодорожной школе фэзэо на станции Енисей. Группу и профессию я не выбирал — они сами меня выбрали. Было это так: всех ребят и девчонок, поступивших в школу, выстроили возле центрального барака и велели подровняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально оглядело нас и тем парням, что покрупнее да покрепче, велело сделать шаг вперед, сомкнуться и слушать. Когда мы все это проделали, нам объявили: «Будете учиться на составителей поездов».

Никто нам не говорил, что это необходимо, что идет война и Родина ждет... Нам только объявили, на кого мы будем учиться, и все. Из этого всего да еще из того, что в группе нашей не

оказалось девчонок, мы заключили, что работа нас ждет не шуточная, и кто-то из ребят высказал даже догадку: не глядя на военное время, нам выдадут суконную форму и поставят на особое питание.

И хотя предсказание не сбылось, мы все же склонны были считать и считали себя людьми в желшколе особенными и постепенно приучили к тому, чтобы нас таковыми считали ребята и девчонки из других групп и не протестовали бы, когда нам перепадали поблажки в виде внеочередного дежурства на кухне, в хлеборезке или поездки домой, и опасались нарушать внутренний режим, если в корпусах стояли наши дневальные.

Незадолго до Нового года получил я из родного села от тетки Августы письмо в несколько строчек, которым слезно молила она навестить ее.

За время учебы ни разу не получал я ни от кого писем, никуда не отлучался, и когда показал письмо мастеру группы, Виктору Ивановичу Плохих, который, напротив фамилии своей, был человеком хорошим, не без оснований назначенным дирекцией в самую трудную группу, то он посображал о чем-то хмуро и отпустил меня.

Мастер раздумывал, прежде чем отпустить меня к тетке, потому, что учились мы скороспешно. Железнодорожный транспорт был оголен военкомами в сумятице первых военных месяцев до того, что даже с фронта скоро начали отзывать железнодорожников.

Нас никуда не отпускали, выходных нам не давали, держали строго, почти по-военному.

Мы сами выискивали возможности и способы прятать друг друга на поверках и подменяться во время практики и, сколь мне помнится, Виктора Ивановича Плохих, давшего возможность распоряжаться нам собою, не подводили. Все теоретические, а больше практические занятия оценивались в группе нашей только на пятерки, и горе было тупицам, с которыми занимались мы сами, вколачивали в них науку и доводили до уровня. Они и по сей час, наверное, не могут забыть того труда и пота, который потратили в ту военную зиму, чтобы заучить пэтээ — правила техники эксплуатации, железнодорожной сигнализации, грузоподъемность вагонов, паровозов и прочие транспортные премудрости.

В длиннополом пальто, отяжеленном двумя пайками хлеба, упрятанными в карманы, вышел я из общежития под вечер. Никаких паек, конечно, не полагалось выдавать. Но Виктор Иванович Плохих и староста нашей группы Юра Мельников были руководителями, которые брали и не такие крепости, как хлеборезка Васеева Наталья. Она сказала: «Будь вы прокляты! До смерти надоели!» — но пайку за вечер и за утро все же отдала.

Я выдрал листы из тетрадки по теории пэтээ, завернул в них хлеб и отправился.

Ботинки фэзэошные издавали на морозе технический звук. Они всхлипывали, постанывали, взвизгивали, как давно не мазанный кузнечный молот или подработанный клапан паровоза. Ботинки такие для сибирской зимы — не обувка, но про пальто ничего не скажешь. Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне было, однако красивое и с особенными запахами.

В каждом порядочном колхозе есть тулуп или доха общего пользования, а у нас в группе вместо дохи вот это пальто с каракулевым воротником. Пальто грубошерстное, колкое, каракуль, что шлак металлический, но все же это не фэзэошная телогрейка длиной до пупка. Чужевато мне пальто, но я постепенно обживал его, обнюхался. Очень оно тяжелое и пахнет по-всякому: табаком, мочалом, тлеющим сукном, но больше всего вагонной карболкой.

Совсем отдаленно, чуть ощутимо, как вздох о мирных временах, доносился из недр пальто запах нафталина.

Пальто прибыло в школу фэзэо из города Канска. Прибыло оно на Юре Мельникове. Были на Юре еще голубое кашне, старая кожаная шапка тоже с каракулем. Мы выбрали Юру старостой группы, и, думаю, в выборе этом первеющую роль сыграл Юрин наряд, как потом выяснилось, Юре не принадлежавший. Все добро, надетое на него, было дедушкино. Бабка до поры хранила его в сундуке. Но бабка умерла вслед за дедом. Юра вынул добро из сундука, надел на себя, а свою одежонку загнал на базаре и поехал куда глаза глядят.

Поезд остановился на станции Енисей.

Юра пошел посмекать насчет еды, и пока уминал соленую черемшу, поезд ушел, а Юра, чтобы скоротать время, читал разные объявления и наткнулся на призыв поступать во вновь открытую школу фэзэо № 1. Поскольку оказалась она рядом со станцией, Юра отправился в желшколу, принят был без промедлений и к обеду оформлен на довольствие.

Кашне и шапку мы проели в честь знакомства, а пальто оставили.

В группе хотя и молодой, но очень смекалистый народ. На-

роду этому надо было выжить в такое тяжелое время, и не только выжить, но и обучиться профессии.

Повизгивали мои ботинки, постукивали, побрякивали, и под их разнообразное звучание хорошо думалось о ребятах, о дороге, о надвигающихся сумерках.

О том, что ждет меня в селе, я старался не думать, потому что не хотелось мне думать о тревожном. Тревоги и без того много вокруг: в зиме, в улице, в машинах, хрипло гудящих, в скрежете поездов, в заводских трубах, в небе и в душе моей.

Я миновал Базайский деревообделочный комбинат, что был за железнодорожной линией, круто поворачивающей к реке и двум мостам через нее. По взвозу, заваленному древесной крошкой, опилками и корой, где катом, где бегом спустился я вниз, на лед, и сразу почувствовал, что мороза здесь больше и по реке тянет колкий ветерок.

Ботинки мои чэтэзэ запели еще громче и техничней на тропе, твердо утоптанной, остекленелой от мороза.

Мимо железнодорожных мостов, мерзло и гулко звякавших под эшелонами, я спешил на другую сторону Енисея, где спускался от города санный путь к нашему селу. На базайской стороне такого пути прежде не было. Все дороги кончались за Лалетинским опытным садом.

Там, в саду, все еще жила и работала тетя Люба с Катенькой. А дяди Васи уже нет. Его убили на войне. Я как-то был у тети Любы. Она поила меня чаем с вареньем из маленьких горьковатых яблок. Катенька училась во втором классе, и когда пришла домой, я ей напомнил песенку, какую она пела, когда еще совсем-совсем маленькой приезжала с дядей Васей и с тетей Любой к бабушке в гости:

Ты, сорока-белобока,
Научи меня летать.
Невысоко, недалеко...

Катенька устало поглядела на меня, а тетя Люба, мягкая, угодливая душа, попыталась за нее улыбнуться, дескать, помним, помним...

Больше я к ним не заходил.

Бабушка моя, Екатерина Петровна, эту зиму ходила по людям, правда, не по чужим, по своим, но все же я знаю, что это такое.

Она всегда называла себя ломовым конем, потому что работала всю жизнь, как ломовой конь, но и ела она по работе, основательно, питалась крестьянской здоровой пищей. А тут ей дали карточку на двести пятьдесят граммов хлеба. Она недоедала, замерла, как сама жаловалась мне осенью, смирила гордость свою и пошла сначала к Зырянову, а потом к Кольче-младшему. Зырянов работал

бакенщиком у Манского шивера, и Кольча-младший тоже бакенщиком пошел, верст пять выше Зырянова был его пост, у речки Минжуль. Бабушка кочевала от одной избы бакенщика к другой, потому что тут только и могли ее покормить, а остальные сыновья и дочери сами жили голодно, на карточки военной поры.

Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда. Только беда. Такое уж время наступило.

Что делается вокруг? Зима. Голодуха. Драки на базарах. Втиснутые в далекий сибирский город эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые. И, как нарочно, как на грех, трещат невиданные морозы. И прежде в Сибири зимы бывали не бархатные, однако ж сытые чалдоны, одетые с ног до головы в собачьи меха, не особенно замечали их. Еще и нынче о нашем брате, обутом в фэзэошные ботинки и телогрейки, чалдоны с укором говорят: «Хлибкие какие люди пошли! Вот мы ране...»

Что же все-таки случилось у Августы?

«Вжик-вжик-вжик!» — наговаривают мои ботинки. Носки у них широкие, лобастые, а рыло вздернуто кверху. Между подошвами и передками полоска снега — похоже на широкий налимий рот. Резвые ботинки! Жаль, что размера маловатого. Обувь завезена в фэзэо из расчета на юношеское поколение, и крайний размер мой — сорок третий, а по такой зиме надо бы размера два в запас. Положить бы в ботинки шубные стельки или кошму, а потом портянку бы потолще намотать да газету сверху...

Ветерок ничего, военный. Течет из наших мест, из енисейского скалистого коридора. Каленый ветер. Каменный. Такой сразу пробирает до души.

Я становлюсь к ветру спиной, снимаю шапку, и, пока развязываю тесемки, на мою стриженую голову ровно бы железное ведро опрокидывается, аж стискивает голову. Но вот шапка надета, тесемки завязаны. Коротковаты уши у фэзэошной шапки, сэкономили на ушах. Ну, ничего. Пальто зачем? Поднимаю воротник, и сразу становится душно, глухо, пахнет старым-старым сундуком. Наверно, сундук был такой же, как у бабушки, где хранились конфетки-лампасейки, весь в лентах жести, с генералами и переводными картинками внутри и с таким же количеством загадочного добра, что уж и музею в зависть такой сундук.

Никогда не думал, что в этом месте Енисей так широк. Пока добрался до санной дороги у речки Гремячей, от которой считается восемнадцать верст до нашего села, посинело на реке, ветерок как будто унялся, припал на снежные лапы.

На мостах, проступивших из merклой стыни темными фермами, спутанными в крупноячеистую мережу, и быками, вмерзшими в лед, и за мостами в городе что-то грозно ворочалось, бухало. Все звуки были угрюмые, приглушенные, тяжко отдавались они в мерзлой земле.

Гнетущее неспокойствие было в них. Даже маневровые паровозы кричали надрывно, и гудок в доке, возвестивший конец смены, был сипл, устало протяжен, без эха. Он прошел по верху всех шумов и остыл, смерзся с ними, как смерзается неровным наростом наледь со снегом и льдом.

У моста говорило радио, а если точнее сказать, шебаршило утомленно и невнятно. Я всегда любил слушать радио с шорохами, тресками, завываньями. Мне чудилось в этом что-то загадочное и казалось: вот-вот сквозь эту барахольную неразборчивость прозвучит неземной, обязательно женский, голос. Я и так уж в силу своего возраста жил в постоянном ожидании необычайного, а когда слушал неразборчивое радио, весь напрягался, чтобы не пропустить тот миг, тот неведомый голос, который назначен будет мне.

Я пошел быстрее от города, от тревоги, пропитавшей все насквозь, даже воздух стылый, от тяжелых железных мостов, на которых грохотали и грохотали поезда. Рявкающими гудками они распугивали все на стороны. Черной железной грудью раздвигали перед собой мороз, людское скопище, пассажирские поезда, сборные товарняки, железнодорожные графики — все условности мирного времени.

Перли эти составы на запад, на фронт, и все должно было расступаться перед ними.

У речки Гремячей, наверху, возле протесанной в скалах дороги, ныне уже осыпавшейся, стояла избушка, и в ней мутно светилось окно. Я побежал проворней, придерживая рукою воротник пальто у подбородка. Ботинки мои заголосили, и хотя возле каменных обрывов жгло знойким морозом, все же идти было легче, чем на открытом месте.

Лишь только миновал я уже окутанные сумерками прибрежные скалы и очутился за перевалом возле пологого берега, где прежде размещалась многолюдная слобода, меня так опалило ветром, что я задохнулся и подумал: «Не вернуться ли?»

* *

Мне оставалось идти верст пятнадцать. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул с торосов и бокастых сугробов струи снега.

Пока он раскуделивал, прял над самой дорогою эти струи, пока легко скручивал и пошвыривал белые обрывки за гребешки торосов.

А если снег подымет и понесет? Ботинки-то, вон они, постукивают чугунно, и попробуй выдохнись, остановись...

Но неподалеку от бывшей слободы, где никаких домиков уже не угадывалось, а сорили там по ветру заросли пустырной растительности, светила окошками школа глухонемых. Вокруг нее в один-два огонька помигивали подсобные помещения и темнели пристройки. Там, в этой школе, учился Алешка нелегкой своей грамоте и столярному ремеслу.

Хорошо ему там, тепло и привычно среди своей братвы.

В случае чего зайду к Алешке, попрошусь ночевать. Пустят, поди. Объясню, что родня я Алешке, что росли мы вместе, что иду я к его матери. Письмо покажу в крайности.

Пытаюсь вспомнить, почему Алешка сделался глухонемым.

Однажды остался дома один — бабушку унесло куда-то. И вздумалось ему полезть на угловик, где стояли тяжелые иконы и по случаю какого-то праздника светилась лампадка. Угловик обрушился. Иконы повалились на Алешку. И ушибли они его или же испугался он нарисованных богов, но все старухи склонны были считать, что именно от этого греха Алешка онемел. А отчего он оглох, старухи не объясняли.

Эх, Алешка, Алешка! Головастый парень, сильный, веселый, а вот безъязыкий. Сколько всяческих напастей пережили он, бабушка и особенно тетка Августа из-за этого.

А я в детстве не понимал никакой разницы между мной и Алешкой, дрался с ним, втравливал его в игры разные, а он и радехонек. За сеном все собирались мы с ним ехать. Налимничать как-то отправились. Чуть не перетонули. В прятки играем, бывало, он спрячется, сидит себе час, а то и два в затырке какой. Уж искать его перестанут и орать устанут, а он все сидит и сидит. Зато плавать Алешка умел лучше всех, в лапту играл ловчее всех, бегал прытче всех, дрался лютее всех и, если ревел, то по-бугаиному: бу-бу-бу-бу-у...

Выросли мы с Алешкой. Набедовалась бабушка с нами. Как-то она сейчас? Плохо ей. С ее ли характером куски выглядывать? Но ничего. Вот фэзэо закончу, стану зарабатывать хорошо и возьму ее к себе. Мы с ней ладно будем жить. Равноправно. Бабушка шуметь на меня станет. Пусть шумит. Я уж не буду огрызаться. Пусть шумит...

На этом берегу, мимо которого я сейчас спешу, ютились когда-то маленькие избушки из фанеры, из досок и разных горбылин и

тесин. Вокруг избушек полно было маленьких огородов. Обитатели игрушечного городка переселились сюда из Расеи. Расеей у нас звалось все, что за Сибирью, иначе говоря, за нашим селом. А уж за городом — конец земли. Обитатели слободы называли нас кацапами, и увозили они из нашей деревни назем на подводах.

Они были очень трудолюбивы, голосисто пели нездешние песни: «Ой ты, Галю», «Ой, при лужке, при лужке», «Скакал казак через долину»...

Они пели и даже гуляли по праздникам, но не дрались, чем очень удивляли чалдонов. Наши-то все делали с маху, и в работе вели себя, как в драке. А те, из Расеи, работали себе тихонько, мирно. А получалось вот что: чалдоны еще заглядывали на реденькие всходы в своих громадных огородах и гадали, чего оно тут вырастет — трава или свекла, а пришлые в это время уже весело, распевно гомонили на базаре и одаривали, именно одаривали покупателей редиской, луком, а затем ранними огурцами и красными помидорами.

Дивились чалдоны такому чуду, пытались подпаивать самоходов, выведать «слово» метили.

Самоходы посмеивались, толковали — никакого секрета нет, все, мол, дело в навозе.

Чалдоны ничему этому не верили: «Ох, и хитрые, язви их, эти самоходы! Не выпущают секрету!»

В голодный год не до куражу сделалось, и кое-кто из наших селян все же попробовал класть навоз в огородах — овощь пошла крупнее. Однако ж чалдоны, и в первую голову бабушка моя, шумели по привычке: «Да штабы всякое дерьмо исти? Да пусть его хохлы сами лопают!..»

Самоходы научили наших и зерно молоть ручными жерновами, крахмал добывать из очисток картофельных, и мерзлую овощь с толком использовать, и многому другому научили. Они не были избалованы землей, тайгою и изворотливей жили на свете.

Давно уж нет переселенческой слободы. Разбрелись по разным местам ее обитатели, осели в городе, в деревнях, породнились, перекумились с чалдонами, а дело хорошее — память добрая — и песни их голосистые вросли в нашу землю.

Я не заметил с думами, как миновал место бывшей слободы, а затем и школу глухонемых. По берегу теперь пошли дачи, сплошняком стоявшие в сосновом и березовом лесу. Лес подступал к самой реке, и веснами его подмывало и роняло. Летом дорога проходит там поверху, и весело бывает идти по дачным тропам, глядеть на разных людей, играющих в мяч, купающихся, гуляющих, на этот несколько непонятный деревенским людям мир.

Вечерами в рощах играла музыка, танцы были в разных местах. После танцев мужики и парни водили девушек по лесу, прижимали их к деревам.

Однажды я жил недолго в одном из здешних домов отдыха и все вызнал. Было это в тот год, когда утонула моя мать. Зырянов работал тогда плотником в дачном поселке, устроил меня на месячное бесплатное питание в казенную столовую. Но выдержал я там только неделю и запросился к бабушке, которая и забрала меня домой, к сердитому неудовольствию Зырянова и тетки Марии.

Интересно же устроена человеческая жизнь! Всего мне семнадцать лет, восемнадцать весною стукнет, а так уж много всего было — и хорошего, и плохого.

Про галушки вот вспомнилось. Самое, пожалуй, приятное событие в моей нынешней жизни.

Их продавали в глиняных мисках в станционном буфете к приходу поезда. О галушках этих вызнали фэзэошники, эвакуированные и разный другой народ, обитающий на вокзале. Буфет брался штурмом. Круто посоленное клейкое хлебово из ржаной муки выпивалось через край, и дно мисок вылизывалось до блеска языками. Пассажирам галушек почти не доставалось. Тогда в буфете стали требовать железнодорожный билет. Предъявишь билет — получишь миску галушек, два билета — две миски, три билета — три. Стоило это хлебово копеек восемьдесят порция — цена неслыханная по тем временам. На копейки в ту пору уже ничего не продавалось, кроме этих вот галушек и билетов в лилипутный театр, военным ветром занесенный на станцию Енисей.

Галушки варились в луженом баке. Перед раздачей бак выставляли в коридор — для остужения, так как люди оплескивали друг дружку у раздаточного окна, да и глиняные миски горячего не выдерживали — трескались.

Ребята наши углядели бак и решили унести его целиком и полностью.

Операция была тонко продумана.

Мы подобрали из группы путеобходчиков парня говорливого, с туповатой и нахальной мордой. Он, якобы не зная входа в вокзал, затесался на кухню станционного буфета, и, пока там «заговаривал зубы», мы продели железный лом в дужки бака и уперли его домой.

Сначала галушки хлебала наша группа и путеобходчик-зубозаговариватель. Сверху было жидко. Мы вынули из-под матраца доску, отломили от нее ощепину и ею шевелили хлебово. Со дна, окутанные мутным, серым облаком отрубей, всплывали галушки, и

тут, наверху, их, будто вертких головастиков, с улюлюканьем поддевали ложками.

Наевшись до отвала, мы позвали девчонок из соседнего барака и передали им ложки. Галушек в баке почти не осталось, мы их зарыбачили, но хлебать еще можно было. Девки споро работали ложками и время от времени восторженно взвизгивали — значит, из глубины бака возникла галушка. «Лови ее! Чепляй! Не давай умырнуть! Попа-а-а-алася-а-а-а! Рубай, девки, чтоб кровь шибчей кипела!..» — орали мы.

Управившись с галушками, поручили мы дневальному отнесть на чердак посудину и закатить ее подальше, в темень.

Дежурный надел через плечо винтовку с вывинченными от скуки шурупиками, допил остатки варева через край, очумело потряс головой — солоно на дне было, и все сделал, как ему велели.

А мы, сытые, довольные, пели песни вместе с девчонками.

Я исполнил солю: «О, маленькая Мэри, кумир ты мой! Тебя я обожаю, побудь со мной!..»

Девки тут же начали переписывать песню про Мэри — так она им поглянулась — и попросили продиктовать что-нибудь такое же. Я напряг память и вспомнил: «Это было давно, лет пятнадцать назад, вез я девушку трактом почтовым. Вся в шелках, соболях, чернобурых лисах и накрыта платочком шелковым...»

Ребята все завистливо притихли, а я осмелел и поражал девчат своей памятливостью, диктовал без роздыха: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды...», «Я брожу опять в надежде услышать шорох и плеск весла. Ты что же не выйдешь ко мне, как прежде?..»

В тот вечер я, может быть, покорил если не всех девчат, то уж хоть с одной заимел бы знакомство. Была там из кондукторской группы одна, смотрела на меня, рот открывши, в берете, в новой телогрейке, с косами — красивенькая. Я уж и диктовать-то рассеянно начал, путаться стал, и до чего дело дошло бы, одному богу известно. Да вдруг, оттолкнув дневального, с громом ввалился в наше общежитие зав станционным пищеблоком. «Жулики! Засужу! — кричал он. — Засажу! Всегда в первую очередь отпускал! А вы?!»

Дурак он, тот станционный буфетчик! Совсем в людях ничего не понимает. Разве шумом и горлом фэзэошника возьмешь? Мастера, замполит, комендант, директор школы — вон какие люди! генералы почти! — и те с нами вежливо работу ведут: «Вас назначили», — говорят. — «Вы обязаны...», «Вас просят», «Вы на дежурстве» и так далее.

— Минуточку, гражданин! — поднялся с кровати староста нашей группы Юра Мельников. — Вы по какому праву врываетесь в молодежное общежитие, напав на часового в военное время? —

Юра сделал значительную паузу. — И почему позволяете себе в присутствии девушек оскорблять молодое рабочее пополнение?

Очень я жалею, что не было у нас фотоаппарата. Как хотелось бы мне иметь на память карточку того буфетчика! Моментальную фотокарточку!

Он еще хранил спесь и надменность, то самое выражение, какое носили в войну на лице работники разных пищеблоков, но душа его, мысль его уже сбилась с заданного настроя, и он забормотал что-то насчет бака, который совсем недавно вылудили цыгане за большие деньги, насчет норм, раскладок, перерасходов и ответственности...

В действие вступили языкастые ребята, путевой обходчик, а затем и девки. Буфетчик скоро был сокрушен, раздавлен, и дело дошло до того, что тот же дневальный, которого зав сорвал с поста руками, пхнул его прикладом в зад.

Вся дальнейшая работа велась уже не через зава, а через раздатчицу буфета Кланю Сыромятникову, землячку Юры Мельникова.

Бак, вылуженный цыганами за большие деньги, был возвернут с условием, что отныне и до скончания века галушки любому фэзэошнику будут выдаваться вне очереди, без предъявления желдорбилета. И всякий другой продукт, изредка попадающий в буфет, как-то: соленая черемша, грузди соленые и вареная свекла — также отпускаться должны фэзэошникам на льготных основаниях.

Бак с галушками больше не выставляли в коридор станционного буфета, а зав на всякий случай здоровался со всеми, кто хоть чем-то смахивал на учащегося трудовых резервов.

Против массы не попрешь! Если, к тому же, массу возглавляет такой парень, как Юра Мельников. Это ж наш человек! Пальто вон мне дал, пайки помог выхлопотать. Иду я в Юрином пальто, и пайки мне карманы оттягивают, и могу я их съесть, а могу и повременить.

Дорога отвернула в сторону от крупно и густо заторошенной косы, и берег с мерзло потрескивающим лесом и домами отошел в серую, густую сумеречь.

Впереди затемнел остров. Отчего-то перестали взвизгивать ботинки.

Заносы.

В спину ударило ветром, и у щиколоток возле раструбов ботинок взяло ноги в железное кольцо. Школы глухонемых уже не видно. Домов тоже. Никакого отголоска жизни.

Надо идти. Теперь только идти и идти. Раз уж не свернул в школу глухонемых, постеснялся обеспокоить людей, которые, ко-

нечно же, из-за фэзэошника не спали бы ночь, установили бы дежурство. Такая уж слава у нашего брата: фэзэошник и арестант почти на одной доске.

«Ладно-ть, живы будем — не помрем! — подбодрил я сам себя. — Давай об чем-нибудь сердечном думать. Ну, хоть о кондукторше с косами».

Как познакомиться с нею? Может, записку написать? Но как же ее зовут? Не спросил! Вот недотепа! Ладно. Разузнаю. Мне почему-то кажется, ее зовут Катей. Всех девушек с косами, по которым бусят волосинки, выбиваясь из ряду, у которых надо лбом запятые, повернутые друг к дружке хвостиками, пухленькие, удивленно приоткрытые губы, глаза стеснительные, то и дело запахивающиеся ресницами, — всех таких девушек зовут Катями и Сонями. Подобной девушке надо послать письмо с эпиграфом. С таким эпиграфом, чтобы сердце от него млело.

«Мне грустно и легко, — написать. — Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою!..» «А. С. Пушкин» — поставить в конце. Такие стихи хоть кого проймут.

Мне грустно и легко...

Не грустно и легко, а очень одиноко становится мне иной раз и хочется куда-нибудь убежать. Зачем я такой уродился? Вон ребята как живут! В картишки перекидываются, на танцы в красный уголок бегают, девчонок потискивают в коридорах, иной раз вывертывают в общежитии пробки или по-другому портят электричество, чтоб тискать их в темноте. А я вот не умею этого. Имя у девушки и то постеснялся спросить, размазня!

Вот и остров. На нем нет доброго леса. На нем редкие тальники, свистящие гибкими лозинками на ветру, да еще сигнальный щит, у которого доски приколочены вразбежку, а не сплошняком. И хорошо, что вразбежку. Раз негде укрыться, значит, надо шагать.

Приверху острова выдуло до гальки. Со льда, горбато выгнувшегося на обмыске, счистило снег. Лед провально темнел, и дорога исчезала на нем. Сначала еще заметны полосы от полозьев, выбоины подков, а дальше все растворилось: и полозница, и выбоины.

Ничего. Так даже лучше. Я разбежался. Чэтээз мои закрякали и покатили меня по мраморно-гладкому черному льду. Я еще разбежался, еще катнулся. Ветром меня заносило, толкало в бок. Я упорствовал, но ветер сильнее меня. «Кати-и! Все равно лед скоро кончится и я пойду по дороге».

По дороге! Но где же дорога?

Я нагнулся встречь ветру. Продираясь сквозь режущий снег, зажал лицо руками.

— Вперед! Вперед! Врешь, не возьмешь! — крикнул я как можно бодрее и даже свистнул разбойничьим манером.

Тороса. Тороса. Снег. Сугробы. Снова тороса. Дороги нет. Я одолел один занос, другой. Рваным лоскутом темнеет озерцо голого льда. За ним тонким слоем снег. Еще озерцо, поуже, поменьше. Полоска снега. Россыпь темных пятен — это голый лед. Но пятна все меньше, меньше, значит, я ухожу от приверхи острова. Значит, я иду ладно и вот-вот выйду на дорогу.

Единственный мой ориентир — тороса. Козырьки льдин наклонены по течению, подобно трамплинам. Идти встречь им труднее. О зубья льдин больно ударяются кости ног, особенно колени. И оттого, что замерзли ноги, руки, весь я заколел, боль от ударов такая, что стукнусь о льдину — и сердце схватывает, в глазах просверки и сразу темень. Самому себя не видать.

Катанки бы! Хоть подшитые. Есть же на свете такая обувь — катанки! Утром их вынут из русской печи. Насунешь — и ноги попадут в сухую да такую мягкую теплоту, что долго-долго радостно всему телу. Что может быть уютней такой обуви? Но люди изобрели ботинки. Чэтэзэ! Зачем?

Зачем я не остановился в школе глухонемых? Мы бы так хорошо потолковали с Алешкой, и он сказал бы мне, что стряслось дома. Я умею толковать с ним.

Редко мы видимся теперь с Алешкой. Война всех сделала занятыми. Но если встретимся, Алешка обнимает меня и давит так, что я дня три шеей не могу владеть. Он опять свернул бы мне шею от радости. Ну и пусть свернул бы. Может, мне и ходить в село не надо? Может, просто блажь Августе в голову ударила? Ребятишки. Нужда. Выдохлась — пожаловаться охота. Кому пожаловаться-то?

А может?..

Нет, об этом я не буду, не хочу думать, не стану!

Дороги нет. Пропала дорога. Бесы-лешаки из-под ног ее вынули, как говаривала бабушка. Никогда мне в голову не приходило, что можно потерять торную санную дорогу. И не в лесу, не в тайге потерять. На реке!

Уметь надо!

Какой повальный ветер к ночи! Всего меня продувает. И одежонка на мне легка и тонка сделалась. Даже пальто Юры Мельникова не стоит против сибирского ветра-звездуна.

Ах, пальто ты, пальто! В вагоне, может, и хорошо в тебе, а здесь не шибко. Велико ты мне, и поддувает всюду. Колом стоишь — деревянное сделалось.

Хорошо, что ребята дали пару теплого белья, а Миша Татаренко, парень из тех самых самоходов, что жили когда-то в слободе,

отвалил бабью меховую душегрейку. А вот штаны тонки. Варежки коротки. Шапка мала. Ботинки мои — чэтэзэ — веселы да тесноваты. Все на мне залубенело, ровно в мочальные ленты я обернут.

И дорогу я потерял. Нет дороги.

Ветер. Снег. Холод. Сибирская погодка. Нашенская.

Катанки бы и доху, да шубные рукавицы, да шапку меховую против такой погоды...

Ах, пальто ты, пальто! Кто тебя придумал, кто?..

В школе я сочинял стишки. Разом сочинял и про все. Дивились ребята моему таланту. Из-за стишков я плохо учился по математике, потому как считал, что человеку, умеющему составлять стишки, математика ни к чему.

Ой, как давно это было! Еще до войны!

Война пришла и все перемешала,
Всю жизнь она поставила дыбом!
Да, трудно нам и отступаем мы сначала,
Но все равно вколотим фрицев в гроб штыком!

Эти стишки я сочинил для первого номера стенной газеты желдоршколы и подписался — Непобедимый.

Непобедимый! Вот околею здесь, так буду непобедимый! Почему к Алешке не зашел? Почему? Скотина! Дубина! Идиотина! Тьфу ты, опять стишки!

Начались сугробы. Забрался я в огромные, кучами вздыбленные тороса — такие бывают на высунувшихся из воды камнях. Куда я ни ступлю, всюду здесь льдины стоят торчмя, острые, гладкие, а меж ними рыхлый снег. Я зацепился полой пальто за льдину и рухнул грудью на что-то твердое. Пощупал — камень, маковка камня, зализанная водою. Вокруг него позванивали на ветру льдинки.

Я привалился к камню. Он был стылый и гладкий, но под ним в онемелой глубине жила река. За камнем, в водяном заветрии, может быть, стояли таймени и ждали весны и тепла. Может быть, и тот таймень, что бредень с меня когда-то стянул, тут же стоит и посмеивается, тварина, дескать, опять ты, малый, впросак попал! Был бы я рыбой, про войну ничего бы не знал. Стоял бы сейчас в сонной глубине, а по весне рванул бы в верха — икру метать!

Добраться бы мне до дач, пусть нетопленных, холодных, но все же в лесу стоящих, со стенами, с крышей. Оторвать доски с окон да в печь их...

Надо искать берег, дачи. Лежать нельзя. Минуту я лежу, не больше, а уж щипнуло запястье руки и большой палец ноги, давно еще обмороженный. Я знаю, как это бывает. Вдруг стеклянной резью пластанет по живому и вглубь тела войдет тонкая игла, и это живое место перестанет слышать. Другая игла, уже быстрее,

вопьется рядом с нею, и еще частица твоего тела отделится от тебя, перестанет болеть...

И тут же потянет в сон.

Я знаю это. Все знаю, а встать не могу. Даже шевелиться не хочется...

Но что такое особенное случилось? Потерял дорогу? Ну и... Подумаешь, дорога! Я же на родной реке! На той реке, по которой плавал, ходил, ездил на моторке, и на лодке, и на лошади, и на своих двоих. Мне здесь с самого детства все знакомо. Каждый выступ берега. Каждый остров. Каждая скала. Шалунин бык. Собакинский остров. Совхоз Собакинский...

Вот интересная тоже штука: совхоз только на моей памяти переименовывали не единова. Он, кажется, назывался «Красный луч», «Коммунар» и еще по-разному, но как был окрещен чалдонами Собакино в честь речки, на которой имел неосторожность разместиться, так Собакинским и остался. На вывеске-то названия меняются, а в народе нет.

Чтобы чалдона с места своротить, шибко много всего надо. Ты ему: «Стрижено», а он тебе: «Брито!» И все тут.

Собакино ты, Собакино! Где ты есть, Собакино? Мне бы берег найти, не ходить по кругу чтобы, тогда б я добрался до тебя, Собакино. А там люди живут. Кони есть. Собаки есть. Хоть бы они забрехали.

Но в такую погоду собаки под лавками спят. В такую погоду добрый хозяин...

Это мне все нипочем! Это я, фэзэошник-уркаган, рванул к тетке в гости.

А если окочурусь здесь вот!

Видел же, когда от дока спускался, что ничего хорошего на небе нет: с городского краю в лохмах серых оно, а с той стороны, где село мое родное, над перевалами разошлись тяжелые пластушины, голубенькое обнажили. Далеко-далеко, глубоко-глубоко, голубенькое-голубенькое. Как взгляд одной девчонки, с которой я учился в третьем классе и о которой никогда никому не скажу. Знал же — ничего хорошего ждать нельзя. К стуже, к пурге такое небо. Приметы сами в меня впитались. На лоне, как говорится, рос. Но вот вспомнился мне взгляд третьеклассницы, подарившей на уроке труда платочек с буквами «Н.Я.», а потом об Кате-кондукторше мысль пошла, и все я на свете позабыл.

Я все же пересилил себя, все же заставил подняться. Иду, спотыкаясь о тороса, падаю. В рукавицы начерпался снег. В ботинки тоже. Вытряхивать некогда. Останавливаться нельзя. Мне конец. Скоро конец.

— Э-э-э-э-эй! — крикнул я прерывающимся голосом. — Э-эй, кто-нибудь!..

Безнадежно это. Однако ж на то я и чалдон, чтоб верить в чудо, в наговор, в приворот, в сглаз и в прочую чертовщину.

Я остановился. Вслушался. В голове начала гудеть от напряжения кровь.

Никакого чуда нет. Чудо в тепле, за печкой живет. Чудо слушает сказки, вой в трубе. Чудо мохнатое, доброе, домовитое. Чудо — пуховый платок покойной матери на больных ногах. Чудо — руки бабушки, ее ворчанье и шумная ругань. Чудо — встречный человек. Чудо — его голос, глаза, уши. Чудо — это жизнь!

Я не хочу умирать!

Мне семнадцать лет. Только еще семнадцать. Я еще не окончил фэзэо, еще никакой пользы людям не сделал, той пользы, ради которой родила меня мать и растили меня, сироту, люди, отрывали от себя последний кусок. Я и любил-то всего еще одну девчонку, в третьем классе, и не успел ей сказать о своей любви. Я только берег ее платочек с буквами «Н.Я.», что значит Нина Якимова. Не утирал платочком нос и стирал платок редко, чтоб он не износился...

И кондукторше Кате записку не успел написать.

Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано.

Лицо мое мокрое. Губы соленые. Только теперь, когда выдохся и снова упал, обнаружил, что причитаю я по-бабушкиному, в голос:

— Бабушка! Бабушка, миленькая! Где ты? Пропадаю!..

Я делаю то, что делают все люди на свете в свой последний час, — зову самого дорогого человека.

Но он не слышит меня. Всегда слышала меня бабушка. Всегда приходила ко мне в нужную и трудную минуту. Всегда спасала меня, облегчала мои боли и беды. А сейчас не придет. Я вырос, и жизнь развела нас. Всех людей разводит жизнь. Зачем я хотел скорее вырасти? Зачем все ребятишки этого хотят? Ведь так хорошо быть парнишкой. Всегда возле тебя бабушка...

Губы свело холодом, я уже и причитать не могу. От слез состылись ресницы. Привалился плечом к козырьку тороса, утянул голову в каракулевый воротник, меж кучерявинами которого набился и затвердел снег.

Я сдался.

* *

Но нюх и слух мои были еще живы, и живым, неостывшим краем сознания я уловил скрип подвод, голоса, лай собак. Недо-

верчиво высунул голову из твердого, каменноугольного воротника и прислушался. Порыв ветра хлестанул мне в лицо сыпучим, перекаленным снегом и донес слабый отголосок собачьего лая. Недовольное такое тявканье сварливой шавки, скорее всего дачной. Дачные люди почему-то добрых собак не держат.

Я вскочил и поспешил на этот лай. Через какое-то время приостановился, напрягся.

Ничего не слышно.

И тогда я побежал, чтобы поддержать в себе тот порыв, который поднял меня из сугроба, и ту надежду, которая занялась в душе.

Я уверял себя, что лай был, лаяла шавка дачная, лаяла близко, почти рядом. Я хитрил сам с собою, обманывал самого себя и, странное дело, верил в обман, может быть, оттого, что больше мне верить не во что было.

В какой-то момент я обнаружил, что идти мне сделалось еще труднее, и не сразу уразумел, что карабкаюсь на крутизну.

Берег!

Наткнулся на крутой, подмытый берег. Мне стоит только подняться на него и...

Я сделал шаг, другой и вместе с накипевшей кромкой снега провалился в тартарары. Пальто цеплялось за какие-то выступы, ноги и руки било о твердое, деревянно гудело в голове от ударов.

Угодил я в какую-то дыру и сразу почувствовал, что здесь ветра нет.

Ветер шел вверху, надо мной.

Оттуда, сверху, порошился снег и хрустел на зубах. Я вертел головой — слева и справа от меня, и впереди, и сзади было темно, какие-то стены были, а поверху все мело и тащило снег.

Кажется, провалился в могилу.

Открытие это не потрясло меня, видно, так уж отупел и устал я, что оттого только, что здесь не было ветра, глухо было и снег не хлестал в лицо, мне сделалось легче. Я отдыхал, приходил в себя, а сверху время от времени крупою осыпался снег. Осыпался он пригоршнями, порциями.

Порция! Почему мне вспомнилось слово «порция»? Я собирал растрепанные мысли в кучу, пытался дать им ход. Память билась около желдоршколы: мастер Виктор Иванович Плохих, Юра Мельников, галушки в баке...

Да у меня же в кармане хлеб! Порции! Две пайки! Вечерняя и утренняя! По двести пятьдесят граммов в каждой! Целых полкило! Батюшки-светы! Пропал бы и хлеб не съел!..

Я сдернул рукавицу, засунул руку в карман. Вот она, пайка!

Вот он, хлебушко! Уголочек хлебного кирпича. Виктор Иванович дал мне горбушку — всегда кажется, что горбушка больше серединки. Мастер знает — путь не близок. Он также знает, что тетке кормить меня нечем.

Я ем. Рву горбушку зубами. Жую кислый хлеб с вялой, но живой коркой и чувствую, как жизнь, было отдалившаяся от меня, снова ко мне возвращается. От хлеба, пахнущего пашней, родной землей, жестяной формой, смазанной автолом, идет она ко мне, эта жизнь, захлестнутая бурею, снегом и железом.

В одной книге я вычитал, будто жизнь пахнет розами. «Это было давно и неправда!» — так сказали бы по этому поводу фэзэошники-уркаганы. Такая жизнь не для нас. Если и была она, так мы в нее не верим. Мы живем в тяжелое время, на трудной земле. Наша жизнь вся пропахла железом и хлебом, тяжким трудовым хлебом, который надо добывать с боя. Мы и не знаем, где и как они растут, розы-то. Мы видели их только в кино и на открытках. Пусть они там и растут, в кино да на открытках. Пусть там и растут!

Нам дороже всего хлеб. Хлеб! Тот, у кого нет хлеба, этой вот кислой горбушки, не может работать и бороться. Он погибает. Он уходит в землю и превращается в червяка. И его насаживают на крючок, и клюет на него рыба. Таймень клюет, а может, даже пищуженец, совсем бесполезная, срамная рыба...

— Врешь, не возьмешь! — кричу я, оживленный хлебом. У меня получается «ёш-ш-ш-ш!» Однако ж не зря съел я хлеб. Пайку хлеба. Кровь шибчее пошла по жилам, и голова стала соображать лучше. Нужно зажечь листки от пэтээ, в которые был завернут хлеб. Зажечь, согреть руки, осмотреться.

Листки от пэтээ горят хорошо, но грева от них мало. Я выдергиваю листочки из второго кармана, и пайка, еще одна, остается в кармане нагая. Пальцы все же начинают щупать друг друга, и я затеиваю немыслимое дело — закурить.

В брючном кармане, в бумажном пакетике, завернутом в платочек с буквами «Н.Я.», есть немного табаку. Канского. «Смерть Гитлеру!» — табак называется. Его привезли ребята и дали мне в дорогу щепотки две. Табак черен, будто деготь. Это не табак, а бумага, пропитанная никотином. И когда зобнешь от цигарки...

Кручу цигарку. Кручу ее пальцами, губами, зубами. Я должен ее скрутить. Буду жить! Буду!

И я закурил. От спички закурил. Спички тоже привезены из Канска. Коробка́ у меня нет. Спички — десяток штук — насыпом в кармане, и картонка, облитая смесью, об которую зажигаются спички. У меня еще есть в запасе кресало. Но с кресалом сейчас не сладить.

Я курю. Кашляю и курю. Боюсь одного, чтоб не погасла цигарка.

Говорят, табак приносит вред. Твердят об этом с самого детства. Всем твердят, и все согласны, что курево вредно, губительно. И все же курят! Почему? Ответа я не знаю. Мне еще нужно выбраться отсюда, побывать на фронте, и тогда уж я точнее смогу ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо.

А пока я всего лишь фэзэошник-недомерок. И табак оказывает мне сплошную пользу. Пока я крутил цигарку, переводил спичку за спичкой, пока прокашливался от первой затяжки, пробравшей меня до кишок и дальше, понял, где я нахожусь, и осмыслил свое положение.

Провалился я между двух штабелей бревен. Вроде бы ничего не переломал у себя: ни руки, ни ноги. Может быть, потому, что штабели эти мне известные? Лес в штабеля я возил осенью вместе с дядей Левонтием и с моим вечным другом и мучителем Санькой, который поздней осенью на фронт ушел. Воюет Санька, а я вот тут загораю. Погибать взялся. Да если уж погибать, так ладом погибать! На войне, в бою, с народом вместе. Чтоб врагам жутко было...

И я увидел себя на коне, с саблей в одной руке, со знаменем в другой. Впереди народишко какой-то мельтешит, а я рублю!

— Ур-ра-а-а-а!

Тут я замахал руками и очнулся. Батюшки-светы! Чуть не заснул! Это я во сне кино начал видеть военное. А никакого кино нет. Ветер свирепствует и гудит в штабелях. Ну, не бывает худа без добра!.. Не будь вот этих штабелей!..

В конце лета я выехал из Игарки и подал документы во вновь открытую железнодорожную школу фэзэо. Но пока им дали ход, пока начались занятия, надо было чем-то кормиться, добывать паек. И дядя Левонтий, обношенный, поугрюмевший и заметно сдавший, взял меня выкатывать лес на бадоги. От военной пайки быстро поослабел дядя Левонтий, потому и не удержал плоты возле Караульного быка, не учалил их к месту. Его прошвырнуло течением вместе с плотами на несколько верст ниже известкового завода, и пришлось бревна выкатывать у Собакинской речки.

А не случись этого? Нет, везучий я человек, везучий!.. Не колдун, конечно, но все же...

Теперь стоит мне выбраться наверх, и совхоз Собакинский — вот он! Дома — вот они! Дело за небольшим — выбраться.

Я выбрался. Не сразу, конечно. Сначала пытался подтягиваться на руках, но пальто было слишком тяжелое, а силенки во мне осталось мало. Я срывался и падал вниз, сшибал о бревна колени, локти, разбил подбородок и разорвал под мышкой пальто. В дыру сразу же проник холод и начал остро когтить мою грудь.

Только вплавь я сумел выбраться наверх. Сначала шел меж штабелей по снегу, потом брел, а когда сделалось по горло и почувствовал, что нахожусь у самого среза осыпавшегося яра — поплыл по снегу. Я отталкивался ногами, гребся руками, перекатывался мешком, работал локтями, спиной, головой, шеей — всем, что еще во мне было живое.

И когда мне можно было встать и пойти, я все еще не верил себе и барахтался в снегу. Руки мои в заледенелых варежках застучали о твердую полозницу. Я поскреб полозницу, вылез на середину дороги и раскопал темные катышки конских шевяков. Тогда я с трудом поднялся и понюхал рукавицу. Она пахла назьмом, конским живым назьмом.

Значит, кони проходили совсем недавно!..

Я стер с лица снег и увидел вблизи заплот, а за ним или там, где он кончался, неяркий, деловитый огонек. Низко он светился, огонек-то, у самой земли, и рыльце окна сонно покоилось в проеме снежного сугроба — ровно бы продышал огонек себе дырку в снегу.

Ошеломленный видением, запахом жилья, конского назьма, древесного дыма, какое-то время стоял я под ветром и боялся поверить себе.

Огонек в низком окошке заморгал, сморился, померк. Он еще выбился раз-другой из серой мути, еще порябил солнечным бликом и тут же растерянно содрогнулся и загас.

Я уж начал думать, что поблазнило мне все: и огонек, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое мое лицо било запахом назьма и дымом било. И я заставил себя идти на запах дыма и жилья, и нашел то, чего искал. Огонек внезапно оказался передо мною все такой же приветливый, деловитый. Никто его не гасил. Просто закручивало ветром дым из трубы, бросало его куда попало и порою захлестывало окошко у земли.

«Ах ты какой! Ах ты какой!» — шевелил я застывшими губами, но обругать огонек по-крутому боялся. Разом сделался я суеверен и страшился, что от неосторожного слова или даже от мысли все может взять и исчезнуть.

Я перебирался по бревнам избушки, брел в рыхлых заметах подле завалинки и не решался отпуститься. Я искал дверь и никак сыскать ее не мог. Если бы во мне еще сохранилась шутливость, то я сказал бы: «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!» — и сразу нашел бы дверь. Но я не только шутить, даже и говорить не мог. Сил во мне не осталось никаких. Охватило меня томительное желание сесть у избушки в снег, погрузиться в сладкое забытье. Это так славно — сесть в заветрии, закрыть глаза и верить, что тут, возле человеческого жилья, пропасть тебе не дадут.

Теперь я уяснил, как люди замерзают у самого порога.

И если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дегтем шел в горло мое, я перестал бы карабкаться по глухой стене избушки, расчерченной снегом в пазах.

Я бы плюхнулся в снег.

Но беспокойным флагом метался дым над землею и напоминал все только живое, теплое: субботнюю баню с легким угаром, после которого будто и не дышишь, а хлебаешь воздух, как ключевую, зуб ломящую воду; печку русскую с тихим, вечным теплом и вороватый шорох тараканов в связках луковиц и в лучине; кисловатый, умиротворяющий запах квашни и прело-сладкий дух паренок из кутьи; звяк подойницы и шорох молока в волосяном ситечке; и голос бабушки, привставшей на припечек: «Пей, пей, парное — скорее поправишься...»

Запах дыма! Привычный с детства запах, до того привычный, что перестаешь его замечать, порой даже и досадуешь на него, когда ест им глаза. Но нет ничего притягательней и слаще дыма! Нет! Где дым — там огонь! Где огонь — там люди. Где люди — там жизнь!

Жизнь! Вот она, дверь. Вот она, скоба деревянная, сколотая в середине. Однако я уже не могу открыть дверь. Опускаюсь на приступок, оплесканный водой, на пристывшую к нему солому, на втоптанный в лед голик и царапаю дверь, из-за которой в щели тянет теплом и хомутами. Я скребусь и скребусь в дверь, как пес лапою.

— Кого там лешак принес? — послышалось за дверью.

Я попытался ответить, но только мычанье выбилось из мерзлых губ. Слезы мешали мне говорить. От дыма или от радости они катились и катились по скользким, ознобленным щекам и попадали в рот.

— Да кто там?

— Дяденька, помогите, ради Христа! — промычал я, сделав усилие над собой.

Со мной произошло то, что происходило в крайнюю минуту со многими чалдонами,— они вспоминали спасителя, хотя во здравии и благополучии лаяли его. На фронте мне еще не раз доведется увидеть и услышать, как неверующие люди в смертную минуту вдруг вспомнят о боге. Еще о матери помнит человек в минуту гибели.

Да нет у меня матери.

За дверью кряхтенье, скрип нар и нудный голос:

— А-ать твою копалку! Токо-токо ноженьки успокоилися, и вот лешаки какого-то полуношника принесли... И чего ходят? Чего ищут?..

Чалдон! Доподлинный чалдон! Пока встает и обувается, уж поворчит, поругается. Но пустит. Обязательно пустит. Обогреет, ототрет и последнее отдаст. Однако ж отведет при этом душеньку.

Чалдон, родной, ругайся как хочешь, сколько хочешь, но открывай скорее. Поскорее открывай!..

* *

Чугунная плита об одну дырку — в огненных молниях. В трещины и меж кирпичных стенок выхлестывал дым с пламенем. Избушка наполнена гулом и дрожью. Волнами накатывает жара. В гуле печки, в ее потрескивании, неожиданно громких хлопках что-то дружески-бесшабашное. Так и хочется обхватить эту кособокую, неумело слепленную печурку с треснутой плитой.

Но нет мне хода к печке.

Я сижу на дровах, а ноги мои в лохани с водой, правая рука в глиняной чашке. На печку я смотрю, как собака на кость, которую ей пока не дозволено брать. И только потянусь я к печке рукой или грудью, хозяин этой избушки на курьих ножках кричит мне, ровно псу:

— Нельзя! Нельзя-а-а!

Он сидит на нарах, привалившись грудью к столу, исколотому шилом, избитому гвоздями.

Отдыхивается. Уработался.

Он оттирал мне снегом ноги, правую руку, побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и, когда добрался до него, было уже поздно. Лишь сорвал суконной рукавицей отмякшую кожу со щек и правого уха. Почему-то я всегда зноблюсь правой стороной, а ранюсь и ломаю все с левой стороны.

Шорник растрепан. Его лохматая тень шарахается по избушке. Наконец он отдышался, утер потное лицо подолом рубахи и зачесал волосы назад женской гребенкой.

Я потихоньку скулил и всякие подробности отмечал лишь мельком, в сознании моем они не задерживались.

— Задал ты мне работы! — скрипуче заметил шорник и ободряюще поглядел на меня.

Во рту с правой стороны его обнаружилось пустое место. Но уцелевшие зубы белы и крепки, видать, серу с детства жевал человек и укрепил зубы. Я отвлекся на секунду, разглядывая шорника, а затем снова запел от жжения и боли.

— Дак чей будешь-то? — не оставлял меня в покое шорник. По мягкости и приветливости его слов я определил — можно к печке. Но он повысил голос: — Не лезь! Не ле-езь! Дурная голова! Такая резь начнется — штаны замочишь! Потылицыных, значит? Катерина Петровна Потылицына кем доводится тебе? Ба-абушка!

Шорник пристальней всматривается, но лампешка с половиной горелки светит за его спиной на окне, и он, должно быть, плохо различает меня.

Шорник до странности гол лицом — ни бороды, ни усов, лишь из черной бородавки, с копейку величиной, прижившейся на подбородке, торчат седые волосы и отсвечивают, когда он поворачивается к лампе. Голова его стрижена без затей, под кружок. Седые волосы, ровно подсеченные ножницами, спускаются низко и зачесаны за уши. Мерещится мне, что мочки ушей проколоты. Голос шорника сипл и раздражителен. И вообще, видать, человек он сердитый, тогда как все шорники и сапожники, до этого мною виденные, — народ пьющий, прибауточный, веселый. Словом, те, о которых моя бабушка говаривала: «В поле ветер, в заду ум!» «Знать-то он из цыган!» — почему-то решил я, но отгадывать шорника, заниматься им дальше мне в общем-то невозможно.

Мне сейчас просто не до него.

Лицо распухло. Все оно будто ошпарено или осами искусано. Ноги рвет, руки тоже. Я все так же однотонно, по-щенячьи скулю, а стомленный шорник глядит в мою сторону и трудно собирает из слов фразы.

— Была здесь Катерина-то Петровна, днесь завертывала.

Я перестал скулить.

Шорник стянул с ног валенки и грел их над плитою.

— Из городу плелась, от старшего сына. У него скоко-то на хлебах жила...

«Да он же заговаривает мне зубы! Отвлекает меня!» — сделал я неожиданное открытие и кивнул на жестяную банку, где желтели луковой шелухой бумажки от окурков.

— Вы, случаем, не курящие?

— Курящие. Да еще как курящие! — тоскливо вздохнул шор-

ник. — С вечеру конюха починялися и сожрали весь табак, а я теперь хоть задавися... — Какое-то время он слушал ветер за избушкой, затем протяжно вздохнул: — И кто это курить придумал? Без хлеба выдюжу, а без табаку нет, ать его копалку!

Радый до бесконечности, что хоть чем-то могу отблагодарить этого человека, который, догадываюсь я, греет для меня катанки, а сам в кожаных опорках топчется у плиты, я предложил ему вынуть из кармана пакетик с черным табаком.

Шорник кинул валенки за плиту, разом забыл о них и суетливо шарил в моем кармане, ровно обыскивал меня. Затем поспешил к столу, на свет. Опорок с него спал. Он искал его ногою, а сам не дышал и с аптекарской бережливостью развертывал бумажку с табаком.

Он так и не сыскал ногою опорок.

Подобрал стынущую от пола ногу по-птичьи, под себя и скрутил цигарку. С мычаньем приткнулся шорник к лампе и почти все пламя вобрал в себя, затянулся, хлебнул дыму и закашлялся, закатился далеко возникшим, беззвучным кашлем. Его колотило изнутри, зыбало всего. Волóсы на голове шорника подпрыгивали, вытряхнули гребенку и рассыпались соломой. Я уж начал вынимать ноги из лоханки, чтоб отваживаться с человеком. Но тут он разразился хриплым звуком — стон пополам с матюками и когда маленько отдышался, отплевался, вытер подолом рубахи слезы, восторженно крутанул головой и оглядел тоненькую, экономно скрученную цигарку:

— От эт-то да-а-а! От эт-то табачо-ок!

— «Смерть Гитлеру» называется.

— Смерть, значит? Гитлеру, значит? Уконтромят его скоро. Вечор конюха-бабы сказывали: сообченье по радио было, пожгли будто германца видимо-невидимо под Москвой огненной оружьей. Германец-то замиренье просит, а наши не дают. Капут, говорят! До окончательной победы... Э-э, а ты чего ноги-то вынул? Не ломит уж? Тогда катанки мои насунь. Катанки-катанки, — суетился он, оживленный до крайности, будто хватил не табаку, а стаканчика два водки. — Допрежь ноги-то оботри. Во онуча моя, ей и оботри. Рушников у меня нету...

Наконец-то я у печки! Но усидеть долго не могу — лицо рвет, выворачивает, как рукавицу, хотя шорник и смазал мне его гусиным салом и уверял: заживет, мол, до свадьбы.

На плите пекутся картошки и пригоршня овса. Овес шевелится, подпрыгивает и лопается по брюшку. Шорник шевелит овес пальцем, исполосованным дратвою, и теперь его совершенно голое лицо в темных и мелких складках я рассматриваю подробней. Короткая

шея его обернута старым женским полушалком и по-бабьи повязана под грудью. Мочки ушей у него и в самом деле проколоты.

— Шелуши, шелуши! — тычет пальцем в овес шорник. — Скоро картошки поспеют и чай сварится. Погреешь нутро-то. Самогону бы, да где его возьмешь-то? Такое время наступило... Ох-о-хо-о-о! — Во вздохе мне снова почудилось бабье что-то.

Шорник покурил и сделался мягче лицом, суетней и хлопотливей, а может быть, оттого, что начал я внимательней следить за ним и он застеснялся меня, как стесняются нормальных людей горбуны, калеки и всякие эти вот, как их?..

Я пробую взять с плиты щепотку овса, но не могу — так распухли пальцы.

— Ать твою копалку! — ругается шорник. — Худо пальцы-то владеют? Ах ты грех! Ну, сейчас, сейчас... — Он сгребает овес в консервную банку из-под окурков и ставит ее передо мною.

Я цепляю языком накаленный, поджаристый овес из банки и шелушу, будто семечки.

Вкусно как!

Тем временем допеклись картошки, забулькал в жестяном чайнике кипяток. Шорник бросил в него жженую корочку, подождал маленько и налил мне чаю в алюминиевую кружку, а себе в стеклянную банку из-под баклажан. Я хватал губами металлическую кружку с одного, с другого края и не мог отхлебнуть — горячо.

Шорник дул в банку, щурился и сочувственно следил за моими действиями.

— У меня есть кусок хлеба, в кармане, — показал я на пальто, висящее за печкой на хомуте, будто на человеческой фигуре.

— Картошек поешь покуль, а хлеб побереги — не к мамке на блины идешь...

— Да я... Я вам хотел предложить...

Шорник быстро скользнул по мне глазами и с серьезной грубоватостью добавил:

— Обо мне не хлопочи. При конях.

От чая ослаб я, осовел и беспрестанно шоркал рукавом по носу.

— Платок же у те, — показал на мой карман шорник. Туда он всунул платочек с буквами «Н. Я.», в который завернута бумажка с табаком.

Я понял его неуклюжий намек.

— Курите, пожалуйста, если хотите.

— А ты? Сам-то как же? — замялся шорник.

— Я так, балуюсь. Несерьезно.

— А-а, тогда другое дело! Совсем тогда другое дело! — охотно

поверил в мое вранье шорник. — От табачку не откажусь. А ты не привыкай! Не балуйся. Это такое зелье клятое! Не привыкай, парень! — Движения его снова сделались суетливые, и он снова сронил опорок с ноги и нашаривал его, но только запнул дальше под нары. Потом он опять закатился, как дите в коклюше, опять скрипел мучительно, со сладостью кашлял и ругался.

В плите прогорело. Лампешка на окне зачадила пуще. В углу, за хомутами, начали бегать мыши. Наступил поздний, наверно, уже предутренний час.

Шорник прилег на нары и освободил для меня место у стены. Ноги шорника то и дело потягивало судорогой. Он пытался найти им место, уложить поудобней, чтобы не ломило их. Но болели ноги шорника, и в коленях хрустели и щелкали так, будто ходил он по скорлупе кедровых орехов. Знакомая мне болезнь. Помаялся я в детстве, а нынче ничего. Поноют, поноют в суставах ноги и перестанут. Молодость, видно, сильнее болезней, отпихивает все хвори она к будущим летам. Потом все скажется: и ботинки фэзэошные, и недоеды, и эта гибельная ночь на зимней реке...

— Ох, ноженьки вы мои, ноженьки! — бормотал и кашлял шорник. — Чтоб вы уж отвалилися, отболели бы уж... Туды ли, сюды ли... «Смерть Гитлеру!» Придумают же! Лампу уверни, коли не нужна. Вовсе-то не гаси. Мало ли чего. Война сейчас. Всех она с места стронула. Люди ходят и ездиют туда-сюда. Понесет лешак такого же ероя, а огонек вот он. Моргает...

Голос шорника перешел со слов на бормотанье, затем на мык, а мык этот слился с беспокойным, прерывистым храпом, который то и дело сменялся короткими стонами.

Сучил и сучил шорник ногами, отыскивал им подходящее место, и сипело в догорающей лампе. Огонек ее перестал колыхаться. Избушку не шатало ветром, лишь хрустел на стеколке окна растекающийся ледок.

Мир вступал в студеное предутрие.

— Да-а, стронула, — повторил я, наглядевшись, как терзает сонного человека болезнь, и стал думать и дремать.

Вспомнилась желдоршкола, Юра Мельников, вокзал и галушки, эшелоны, идущие хвост в хвост, с нарушением правил технической эксплуатации, пэтээ этих, рассчитанных на спокойную жизнь, чтоб можно было дежурному диспетчеру прикинуть: пущать состав номер такой-то или повременить?

Сейчас прикидывать некогда. Все правила вверх тормашкой полетели: все торопятся, все бегут, иной раз уж и сами не знают, куда и зачем. Совсем сбиты с панталыку коренные жители Сибири. Они привыкли к вековечному замедленному и незыблемому укладу

жизни. Люди, не знавшие бар и не шибко жалующие дисциплину, казенные распорядки, они не вдруг поняли случившееся, а недостатки военной поры, в особенности нехватку хлеба, на первых порах переживали беспечно. Голодный-то, тридцать третий год давно прошел, забылся. Получивши на месяц муку, женщины замешивали ее в одну квашню, стряпали вкусно, пышно, ели кому сколько влезет, а после пухли без еды.

Потом война научила чалдонов, вернее чалдонок, всему: стряпать — муки горсть, картошек ведро; собирать колоски; перекапывать поля с мерзлой картошкой; есть оладьи из колючего овса; пахать на коровах; таскать на себе вязанки. Высокие сибирские заплоты, а где и ворота, свалили на дрова — жизнь сделалась открытей.

Беда не разъединяла людей, а сближала их.

Война, война! Никак не хватало моего ума постичь, осмыслить ее. Всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная, но там, где-то далеко-далеко. А она вон как — везде и всюду, по всей земле моей ходуном ходит, всех к борьбе за жизнь требует и ко всякому своим обликом поворачивается.

Время от времени еще вздымался с реки порыв ветра, и тогда сжимался огонек в лампе, гудело в трубе и раздувало искры в печке. Дверь обмерзла в пазах и по щелям досок. На грязном полу, заваленном лоскутьями кожи, мякиной, клочками сена и соломы, кинжально заострилась полоса, и на пороге, в притворе толстою губой обозначился нарост льда. Я подбросил в печку колотых сосновых дров, наверх два кругляшка сырой березы, и какое-то время сидел и слушал гуденье в трубе и пощелк разгорающейся печки.

Меня трясло.

Я глотал и глотал чай, стараясь выгнать из себя промерзлость, а тем временем снова засветились щели в плите, заходили по ней молнии и сильнее запахло смолою, потными хомутами, седелками, шлеями, развешанными вдоль стен, наваленными в угол избушки и под стол.

На столе этом нехитрые приспособления и шорницкий инструмент: банка с гвоздями и шпильками, шилья, наколюшки, самодельная игла; на косячке окна жгутом свита проваренная дратва с вкрученными в нее медными проволочками. Выше совсем уж ни к селу ни к городу закопченный плакат. На нем изображен молодой человек со значком на груди. Бодро вышагивал на лыжах упитанный молодой человек вдоль опушки красивого березника. Внизу плаката били по глазам свекольного цвета буквы: «Будь готов к труду и обороне!».

«Будь готов! — Пожалуй, был бы уж готов, если б...»

Я еще раз обвел взглядом шорницкую, прислушался к сонным стонам шорника и совсем уж вяло заключил:

«Да, конечно, пожимал бы теперь лапу архангелу-привратнику...»

И я тут же увидел привратника, с лицом постным и строгим, смахивающим на коменданта нашего фэзэо. Он босой шел по ухабам снега, а может, по облакам, с позолоченной уздечкой в одной руке, а хомут с веревочными гужами был у него на другой руке. Взгляд святого был умоляющ, скорбен, но я сказал: «На фэзэошника никакой хомут не наденешь. Ни в чертей, ни в святых фэзэошник не верит. Мастеру верим! Мастер у нас — Виктор Иванович Плохих. Не знаешь такого? Тогда ни хрена ты не знаешь! Крылышки приделал! Песочить за самоволку явился? На-ко вот!..» Я попытался сложить кукиш, но пальцы не лезли промеж друг дружки.

Шорник не дал досмотреть этот жуткий, противоречивый сон, растолкал меня и опять, ровно псу, подал команду:

— На место! Пошел, пошел!

А я глядел на него, моргал и ничего понять не мог. Архангел же стоял только что! Шорник заругался в копалку, подхватил меня, как пьяного, под мышки, поволок к нарам, ткнул носом во что-то пыльное, пахнущее сеном и лошадью.

В том, как вел меня шорник, и в том, как заботливо подсунул мне какую-то лопотину' в головà, а после вроде бы бесцеремонно, однако ж так, чтобы и боли не причинить, укутал мои ноги, — во всем этом было бабушкино. Даже воркотня шорника напоминала ее воркотню. И когда на меня тяжело ухнуло пахнущее пресным снегом и чуть, совсем уж чуть-чуть вагонной карболкой пальто Юры Мельникова, я ждал бабушкиных слов: «Спи, господь с тобой! Христос с тобой!..»

Однако слов этих не последовало, и я разомкнул глаза.

Лампы на окошке нет. Она стояла в углу, на чурбаке, а над чурбаком с хомутом на коленях склонился шорник в сером дырявом фартуке.

Он перехватил мой взгляд и коротко, недовольно бросил:

— Утро скоро.

И я вспомнил, что не маленький уже, что бабушки тут нет, а на улице метель. И еще отчего-то проскользнуло в сознании: где-то далеко-далеко гремит сейчас война. Люди спят в снегу. Санька там, на улице в такую стужу. А метель воет, заметает все...

Я закрыл глаза и сразу же покатился меж штабелей в бесконечную, глубокую яму. Хотел закричать, но не успел.

Сном подрубило мой крик.

Во сне я ходил босой по снегу, а потом по горячей, докрасна раскаленной плите и проснулся от боли в ногах и в лице.

— Стой ты, одер! Стой, морда твоя свинячья! — слышался с улицы скрипучий голос. — Ать твою копалку!..

Избушка в сером, скорбном свету. Лампа погашена. В плите едва краснеют теплые уголья. Хомутов на стенах нет, и оттого в избушке сделалось просторней. Обнажилось на стене множество деревянных штырей, железных крючков и зацепок. Старое седелко с оторванной подпругой брошено на чурбак. В седелке торчит кривое шило. За плитою бегают мыши, коротко попискивают, собирают корм. Одна мышка прилипла к бревнам, взбежала по стене, поточила зубом сыромятную уздечку на гвозде, вдруг поймала мой взгляд, птичкой спорхнула и подала сигнал тревоги.

На время все стихло. Я искал глазами ботинки. Присунутые подошвами к кирпичной стенке плиты, стояли они покоробленные, расшеперенные.

Я пощупал лицо, оглядел руки, ноги. Шорник спас мои ноги, спас руку — и на том спасибо. Но лицо обморожено, щеки распухли, ухо вздулось, словно от ожога. И все же я дешево отделался.

Надо поспешать.

Еще минуту-другую лежу, размягченно вытянувшись, и гляжу на молодого плакатного человека, спешащего к труду и обороне, вслушиваюсь в себя, собираю и привожу в порядок мысли, разбитые сном.

Оттолкнувшись от нар, я тут же схватился за стенку — ноги, спину, все кости больно. Побился я ночью. Надо разминаться, надо разламываться, иначе раскиснешь. Я присел раз-другой, поболтал руками и ногами, как на физзарядке, затем схватил ботинок, сунул в жестяное его нутро ногу, а она не влезла. Я пощупал в ботинке рукой — там свежая сенная стелька, и в другом ботинке тоже стелька.

С ботинками в руках опустился я на пол у печки, и подмыло нутро мое.

Проморгался, прокашлялся, рывком, как будто видел кто-то мою слабость, надернул ботинок, другой, стянул их сыромятными ремешками, заменяющими шнурки, замотал фэзэошным полотенцем шею и залез в разорванное под мышкой пальто.

Прощально огляделся: тусклое окно, и на нем пятилинейная лампа с нагоревшим самодельным фитилем; нары в темном углу из скрипучих горбылин, застланные сеном и поверху старой овчиной; изголовье из половины соснового чурбака, покрытого хомутной кошмой и тряпьем; чайник на плите, второй век живущий, алюминиевая гнутая кружка; иголки, проволочки в щелях бревен, окно,

как в бане, черное, плакат с физкультурником. Всю эту избушку, пропахшую конскими потниками, дымом, жженой картошкой и овсом, я должен постараться не забывать всю жизнь.

Позднее, гораздо позднее, через много-много лет попробую я разобраться и уяснить, откуда у человека берется доподлинная, несочиненная любовь к ближнему своему, и сделаю открытие — прежде всего из таких вот избушек, изредка встречающихся на росстанях нашей жизни.

А за дверью все скрипели и скрипели сани, бухал ковш по обмерзлой кадке, фыркали лошади, и под их подковами, как под моими ботинками, придавленной зверушкой пищало, хрупало.

— Постромку-то, постромку подбери! — слышался все тот же скрипучий, одышливый голос. — Конь ведь, ко-онь, а не яман! Рабо-о-отнички, ать вашу копалку!.. Где вы токо и родилися? Чему училися? Да стой ты, одер совхознай...

Распахнул дверь избушки и остановился, захлебнувшись морозным, резким воздухом.

Ветра нет.

Над утесами взошло круглое оранжевое солнце. Было, как и всегда после сильной метели, умиротворенно, даже виновато-тихо. Леса заснеженные недвижны. Утесы с белыми прожилками по расщелинам и падям окутаны стынью. Под деревьями, у заборов, в логах и возле конюшни — свежие наметы, еще не слежавшиеся в пласты. С бугров и от крыльца избушки снег весь счистило. Избы совхоза, наклонно сбегающие с обоих косогоров к речушке Собакиной, уже с растворенными ставнями. Возле школы катаются и гомонят ребятишки. Над конторой увядшим маком обвис заиндевелый флаг. На ферме орут свиньи. Одна вырвалась из ворот и, ослепленная солнцем, запрыгала туда-сюда, норовисто взбрыкивая ядреным задом.

Шорник в подшитых кожею валенках с неровно разрезанными сзади голенищами, катко бегал вокруг сгрудившихся подвод, сосал цигарку, приклеившуюся к губе, и отправлял подводу за подводой. Он был шорником и старшим конюхом — догадался я и поблагодарил его за приют.

— Не за что, не за что, парень, — отмахнулся шорник и еще нашел минуту между делом бросить: — Катерине-то Петровне поклон скажи. Дарья Митрофановна, конюшиха из Собакинской, кланяется.

— Кто-о-о?

— Конюшиха.

Тут Дарья Митрофановна глянула на себя, на заеложенные ватные брюки, на катанки, подшитые крупной строчкой, на тужурку

с оторванным карманом. Она выплюнула цигарку, подобрала волосы под шапку, затянула полушалок на груди и первый раз за все время, как мы встретились, улыбнулась:

— Да ты неуж не узнал меня? Дашухой прежде меня звали. Не вспомнил? Вот дожила! — обратилась она к коновозчикам с улыбкой и развела руками. — Я ж кума бабушке твоей буду. Василья принимала. Пишет ли он с войны-то? У Катерины Петровны запамятовала спросить.

Я хотел сказать, что крестника ее уже нет, убили Василия на войне, но лицо Дарьи Митрофановны было озарено такой простодушной улыбкой, такое на нем было застенчивое удивление самой собою, что не хотелось мне огорчать ее в такую минуту.

Я пробормотал что-то себе под нос, упал на уцелившуюся с горы подводу и уже издали, с Собакинской речки, по которой раскатисто выбегала дорога на Енисей, помахал Дарье Митрофановне рукою. Неловко было, что не вспомнил я ее. Стало быть, давно видел, а может, время и война успели изменить до неузнаваемости эту женщину, бабушкину куму, Дарью Митрофановну.

* *

Подвода скрипела и мерзло подпрыгивала на ухабах. Торцы бревен тех штабелей, меж которыми я провалился ночью, круглыми дулами целились из снега. Под бревна набило снегу, и они слепились одно с другим, а сверху козырьками припаялись белые пластушины. На такую вот пластушину и ступил я ночью...

Только-только на самом, должно быть, утре унялась метель, и все было наполнено утомленным роздыхом межпогодья. Могло вот-вот снова подуть, но пока кругом белый недвижный покой.

Из мерзлого марева чуть проступал темными тальниками и сверкающим на приверхе льдом остров. Как это ни удивительно, шел я в ночи единственно правильным путем — по целику, меж торосов, срезая путь. Видно, в родных местах и слепой ходит как надо! На дороге — она от приверхи острова сворачивала влево, к устью Слизневки, и накосо пересекала Енисей, — на дороге этой я бы замерз или ознобился до инвалидности.

Прячу помороженное ухо и щеку, смазанные гусиным жиром, в воротник пальто. Тепла и от того, и от другого мало, но дыханием отгоняет щипучую стужу. Полотенце и воротник обросли куржаком. Сквозь расчес куржака видно дорогу, помеченную ветвями, елушками и вершинками пихт.

По дороге вытянулись совхозные подводы. Лошади трусят не-

спешной рысцой. Скрипят сани, повизгивают полозья. На подводах через три-четыре лошади маячит забившийся в головку саней седок — баба или парнишка. На свежих ночных заметах сани бурлят, визг полозьев и щелк подков притихает, отводины саней скатываются то влево, то вправо.

Тороса кругом, зубья льдин, заметы новйны. Пофыркивают лошаденки мохнатыми от куржака мордами. Ни колокольца под дугой, ни медного позвякивания бляшек, какими любили сибиряки украшать упряжь. Сбруи на лошадях — горе с луком: мочальные завертки, пеньковые вожжи и чиненные-перечиненные хомуты, веревочные узды.

Лошади и те успели обноситься.

Солнце поднялось выше и стоит над селом, завидневшимся с середины реки. Вокруг солнца поразмыло туманную муть, но оно все равно еще в рыжей шерстке и не греет. Оно зависло на пухлых дымах, поднявшихся высоко-высоко над домами. Крепкие лиственные избы крышами да трубами темнеют в сугробах.

Кажется, все успокоилось в селе, уснуло под снегом, лишь раскаленным металлом сверкнет окно на чьем-то подворье да взбрехнет собака. Лес, спустившийся с увалов к огородам села, недвижен и пестр. Огороды, как упряжь, сдерживают разбежавшиеся под гору дома, не дают им упасть с берега. А на реке бесконечно сверкает, пересыпается искрами снег и льдины пускают солнечных зайцев в насупленные, темные скалы, внутри которых время от времени щелкает сухо, без отголоска — рвет морозом камень.

Все ближе село, завьюженное, безлюдное. В лохматой подмышке тайги кажется оно таким одиноким, таким сиротливым и чистым, что щемит у меня сердце.

Я соскакиваю с подводы и тороплюсь к селу и черпаю ботинками снег. Обоз обгоняет меня и начинает взниматься вверх по речке Слизневке за сеном. На Слизневке была когда-то мельница, и я там рыбачил хариусов, а бабушка теряла меня. Теперь здесь лесоучасток, работает движок, у гаража трещат машины и фукает пламенем бункер газогенераторного трактора.

Я тороплюсь. Как сильно успел соскучиться по родному селу! Смутная догадка о том, что трудно мне будет вдали от него, начинает томить меня.

Мороз послабел, но ознобленные щеки болят. На улице мне встретилась незнакомая женщина с ведрами, должно быть эвакуированная. Из подворотни юшковского дома выкатился и затявкал на меня пес, но тут же усмирился, подошел ко мне, понюхал карман, в котором был хлеб. Фекла Юшкова сбрасывала с сарая сено корове, увидела меня, поздоровалась. Я спросил, где Васька, мой

однокашник, и она со вздохом сообщила, что Ваську вызвали на приписку в Березовский военкомат.

Я перевел дух, пошел медленней. Село стояло на месте: дома, улицы, а значит, и весь мир жили своей неходкой жизнью, веками сложенным чередом.

С этой встречи с родным селом-деревушкой останется в душе моей вера в незыблемость мира до тех пор, пока есть в нем моя странная, земная деревушка. Они так и будут вечно жить сообща — деревушка в мире и мир в деревушке.

Вот и дом Августы, тетки моей. Я торопливо крутнул витое железное кольцо и обрадовался, что ворота не заложены. Раскатился по крашеному полу сенок и ввалился в избу. Изба эта куплена Тимофеем Шамовым, Августиным мужем, незадолго до начала войны.

В кутье никого не было, но очень тепло в кутье, слабенько тянуло чадом из только что закрытой русской печки, коровьим пойлом и брюквенными паренками.

— Здорово ночевали! — Я отодрал со рта обмерзлое полотенце и принялся поскорее расшнуровывать ботинки. Из горницы на голос выглянула Августа, маленькая, совсем усохшая, курносая.

— Тошно мне! Весь познобился! — закричала она, хлопнув себя руками. — Да кто тебя гнал в такую морозину? Тошно мне! Ладно, хоть бабушки-то нет. Приохалась бы она...

Августа помогла мне снять пальто, размотать полотенце, раздернула зубами тесемки шапки, потому что от дыхания узел заледенел. Попутно делала она разные дела: ломала лучину, набрасывала в железную печку дров, ставила чугунок с похлебкой, забеленной молоком. Из горницы, держась за косяки, выглянули черноглазая Лийка и беленькая, пухленькая, с ямочками на щеках Капа. В глуби горницы отдаленно орала старческим, треснутым голосом Лидка.

— Идите ко мне! — поманил я Лийку с Капой. Но они не двинулись с места.

— Это ж дядя, — пояснила девчонкам Августа. — Не узнают. Лицо-то шибко у тебя распухло. В синяках все. Дрался ли, чё ли?

— Дрался. Ночью с бревнами. Ну, идите сюда. Хлеба дам.

Девчонки осторожно приблизились и встали, руки по швам. Я отломил им корочку. Остатки пайки, завалянной в кармане, протянул Августе.

— Я ненадолго.

Августа убрала пайку в посудник.

— Лезь на печку. Там катанки старые, Тимофеевы, и тепло. Только-только печку скутала. Ись-то сильно хочешь?

— Терпимо.

— К Алешке не заходил?

— Не заходил.

— Чего же не завернул-то? Он как прибежит на выходной, спрашивает про тебя. Тоскует, видно.

— Может, на обратном пути...

Я жался к теплой трубе, беленной известью, смешанной с солью и оттого непачковитой. Снова разворачивало, пластало руки, лицо, ноги, ухо, и всего меня колотило так, что клацали зубы.

Но я терпел, не ныл.

Скоро Августа скажет о своей беде. По ее лицу, по конопатым щекам, землисто подернутым, по губам, тоже ровно бы землею выпачканным, как будто съела она немытую морковку, и по глазам, в которых больная горячечность и темь, догадаться нетрудно, какая беда тут стряслась. Однако не хочется мне верить в нее, я боюсь услышать об этой беде и потому прячусь за трубу русской печки.

Место верное.

В детстве не раз прятался я за трубу от бабушкиного гнева, с разными мальчишескими бедами, огорчениями, секретами.

Лидка ревела в горнице все громче и требовательней. Лийка ушла качать ее, а Капа по приступке забралась ко мне на печь. Я подхватил ее, погладил по светлой челке и усадил за себя, к стенке, на которой висели и вкусно воняли чесноковые и луковые связки. Капа широко растворенными глазами глядела на меня, потом провела по моей щеке пальцем.

— Бо-о-оба. — От сочувствия у Капы глаза наполнились слезами.

Я принялся трясти луковую связку, чтобы отвлечь девчушку, не дать ей разреветься, а то, не ровен час, и сам с нею зареву.

Лидка все прибавляла и прибавляла голосу — уросит, грудь требует. Августа ровно бы не слышала ее, но вдруг сорвалась с места, загрохала половицами, рванулась в горницу, выхватила из качалки Лидку и, как коня, начала дубасить ее кулаком. Материлась она при этом так страшно, с такой ямщицкой осатанелостью, что Капа прижалась ко мне и сам я ужался, хотя мне следовало бы унять тетку, посовестить.

— Подавись! — сунула Августа закатившейся Лидке грудь, а та, задушенная рыданиями, никак не могла ухватить губами сосец и все кричала, кричала. — Да жри ты, жри!.. — уже перегорелым голосом сказала Августа.

Лидка смолкла у груди, и только глубоко остановившиеся рыдания встряхивали ее маленькое тельце, но и они скоро утишились.

Августа кормила Лидку, задремывала вместе с ней. Лицо ее чем-то напоминало лик на старой, отгорелой иконе, под которой она сидела. Мне хотелось, чтоб все так и осталось, чтоб тихо было, без слез, без матерщины и крика. И чтоб лицо у моей тетки просветлело хоть немножко.

Августа вздрогнула, отняла у Лидки грудь, спеленала ее, виновато вздохнула и опустила в качалку. Лийка, на всякий случай забившаяся под кровать, вылезла оттуда и принялась старательно зыбать сестренку, стянутую пеленальником, сытую и ублаженную.

Баю-баюски, бай-бай,
Не ходи, музык-бабай... —

напевала Лийка, а Капа, притихшая было и спрятавшаяся за меня, высунулась из-за трубы. Я приподнялся на локтях и тоже выглянул.

Августа стояла, уткнувшись лбом в беленый припечек. Из открытого чугунка от похлебки шел на нее горячий пар. Она не чуяла пара, видать забылась, вышла на какое-то время из этой жизни. Но вот она передернулась, как от мороза, черпнула поварешкой из чугунка.

— Похоронная пришла, — не поднимая головы, тихо обронила Августа и убрала изо рта шерстку.

Говорила она так, будто уверена была, что я высунулся из-за трубы и жду главной вести, о которой хочешь не хочешь, а сообщать надо.

Все-таки предчувствие оказалось точным.

Еще там, в фэзэо, получивши теткино письмо, я почти с уверенностью определил: пришла похоронная. И Виктор Иванович Плохих, мастер наш, и ребята из группы, когда снаряжали меня в путь-дорогу, все, по-моему, догадывались, зачем покликала меня тетка, и своей заботой хотели облегчить мою дорогу. А я шел в ночь, в стужу, в метель, чтоб облегчить горе Августы. И не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего ему не дают, никаких лекарств, никакого снадобья.

Они просто приходят, разговаривают и уходят.

Капа снова гладила пальцами мою щеку, уже берущуюся корочкой:

— Боба-а...

Она пыталась утешить меня. Я прижал ее пухлые пальцы с розовенькими ногтями к разбитым губам. Меня душили слезы.

— Иди поешь, — позвала Августа.

— Сейчас, — прокашлял я ссохшееся горло. — Бабушка куда ушла?

Я тянул время.

Мне как-то боязно спускаться к Августе. Знаю, угадываю не глядя — она налила похлебку и стоит сейчас потерянно возле посудника, стоит и думает, зачем она к нему подошла и чего собиралась делать. И, наверно, опять вынимает изо рта шерстку, которой, как я убедился, во рту у нее не было и нет.

— Бабушка-то? — переспросила Августа и начала шарить в посуднике. — К Марее ушла, к Зырянову...

Мария и Зырянов, как всегда, живут в большом достатке, но скупы очень, и я у них бывать не люблю, да и бабушка тоже. Однако война не считается с тем, кого и чего ты любишь. Она принуждает людей делать как раз больше всего то, что им делать не по душе.

— Она знает? — Я задержался на приступке с катанком в руке.

— Знает. Причитала уж приходила: «Ой, да сиротинушки мои! Ой, да прибрал бы вас господь...» — Августа утерла губы концом платка, но серая земля все равно осталась на них. — Отругала я ее. Рассердилась. Ушла. Ноги, говорит, моей больше не будет у тебя! Ну, да знаешь ты ее. Совсем она дитем стала. Болит озноблённое-то?

— Болит. Пошли, Капа, суп хлебать.

Бабушка моя много раз уж заявляла, что ноги ее у Августы не будет, но вот поживет у Зыряновых мирно, тихо и явится сюда, разоряться будет. И вообще всех нас, особенно меня, всегда влекло к моей бедной тетке, и нет у меня ближе бабушки да Августы родни на свете. Замечал я не раз, что и Кольча-младший, да и другие дядья и тетки, хоть и судят Августу за ее крутой нрав, за грубость, а бывать у нее любят, точнее, любили, пока не было войны. Теперь все заняты и всяк перемогает свою войну.

Капа проворно спустилась за мной с печки, заголив пухлую заднюшку. Я одернул на ней платьишко с оборочками, усадил рядом с собою за стол, дал ложку и кусочек хлебца. А из-за косяка пристально чернели Лийкины глаза. Я поманил ее пальцем и тоже дал ей ложку.

— Девки! Вы ведь только что ели! — запротестовала Августа. Лийка с Капой замедлили работу, перестали черпать похлебку.

— Ничего, ничего, пускай действуют! Ты бы тоже поела, Гуса. — Я виновато поднял глаза и встретился с ее взглядом, чуть уже размягченным медленно поднимающимися слезами.

— Не идет мне в горло кусок-то. — Она размяла в горсти чесноковину, высыпала кривые зубцы передо мной. — Ешь, от простуды. Вечером баню затоплю — попаришься. Беда ведь в одиночку не ходит. Одну не успела впустить, другая в ставни буцкает...

— Что еще? — Я уронил ложку, и Лийка проворно соскользнула за нею под стол.

— Яманы сено доедают.

— Козы?

Лийка сунула мне черенок ложки, и я сжал ее в руке.

— Какие козы?

Я ничего не понял. Коз у нас в селе нет. Были давно еще, у самоходов Федотовских, но так эти козы всем надоели, так зорили огороженные от крупного скота огороды, что чалдоны дружно и люто свели яманов, как они презрительно называли коз, и чуть было и хозяев вместе с ними не уходили по пьяному делу.

Августа, глядя в окно, подавленно объяснила: сено едят дикие козы.

Час от часу не легче! Вот уж действительно беда как полая вода — польет, не удержишь.

Прошлое лето выдалось дождливое, и когда метали сырое сено, присолили его, чтоб не сопрело.

Дикие козы стаями вышли из лесов. Раньше и охотник-то не всякий мог их сыскать! А теперь из-за глубоких снегов и больших морозов в горах наступила бескормица. Да и не пугал никто дичину выстрелами. Козы осмелели и сожрали иные зароды сена уже дотла, а на Августином покосе зарод поддергали до решетинника и вот-вот уронят его, а там уж которое сено доедят, которое дотопчут.

Батюшки! Как же они без коровы-то? Я не мог есть. Глядел на девчонок, швыркающих похлебку, на Августу, прижавшуюся спиной к шестку, кутающуюся в полушалок и снова вынимающую изо рта темными пальцами шерстку. Мне холодом пробирало спину, хотелось заорать: «Перестань! Чего ты делаешь?» — но я превозмог себя и попросил:

— Налей-ка чаю.

Августа достала из посудника большую деревянную кружку, резанную еще дедом из березового узла. Когда-то кружка эта была на заимке. Давно уж заимки нет, и деда нет, а кружка сохранилась. Сделалась она черна, на обкатанных губами краях у нее трещины. В трещинах различима древесная свиль, жилки видны.

Августа налила кружку до краев, и из посудины слабо донесло весенней живицей. Всякая посуда мертва по сравнению с этой неуклюжей и вечной кружкой. Я не могу оторваться от кружки, от теплого душистого пара. Густо смешался в нем кипрейный и мятный дух да разные другие бабушкины травки заварены: зверобой, багульничек, шипицы цвет.

Хочется лета. Всегда скорее хочется лета, если пьешь чай с бабушкиными травками-муравками.

— Тошно мне! Чуть не забыла! — всплеснула Августа руками и повеселела взглядом.

Она ступила на лавку и, вытянувшись, достала с верхней полки посудника, куда не могли добраться девчонки, бордовую тряпицу, удивительно мне знакомую. Покудова Августа разворачивала тряпицу, вспомнилось: это лоскут от бабушкиной когда-то знаменитой праздничной кофты. В тряпице оказались три древних, оплывших от телесного тепла лампасейки и кусочек затасканного серого сахара.

— Любимому внучку оставила, — лукаво сощурилась Августа и передразнила бабушку: «Мотри, чтоб девки не слопали! Я имя давала, и будет!» Об том, что письмо тебе послала, она знает, — пояснила Августа уже без лукавой прищурки и придавила вздох, докатившийся до губ.

«Ах ты, бабушка, бабушка! Зачем ты ушла к Зырянову? С осени тебя не видел и когда теперь увижу?» — кручинился я и колол сахар на маленькие комочки.

— Выпей чаю хоть, — кивнул я тетке. — Размочи нутро.

Она все время как ружье на взводе. Я это угадывал по движениям, вроде бы вялым, обременительным, по словам, которые она говорила только по необходимости, и все по тому же щипку пальцами, которыми она то и дело вылавливала что-то изо рта и выловить никак не могла. Курок внутри ее в любую минуту может сорваться.

Я, как могу, отдаляю эту неизбежную минуту.

Августа покорно налила себе чаю. Пьет. Чуть даже оживилась. Рассказывает про бабушку и в то же время научает девчонок, чтобы они не хрумкали лампасейки, а сосали бы их — так надольше хватит.

— Она ведь, толкую тебе, чисто дитя стала. — Августа всегда любила рассказывать про бабушку мою с подковыром, с улыбкою. — Говорит: «Гуска, выходи замуж за линтенанта! Линтенант большу карточку получает». Я говорю — где его взять, линтенанта-то? В деревне нету, а в город ехать недосуг — ребятишки не отпускают. Она говорит: «Я подомовничаю хоть два, хоть три дня.

Ступай в город, глядишь, сосватаешься. Раз похоронная пришла, чего сделаешь? И не зубоскаль! Время приспело такое — всяк спасаться должон. У тебя ребятишки, и об них подумать следует...» Я говорю — сосватала ты меня раз за Девяткина, да сама я сосваталась за Шамова, и хватит! Приплод большой. В тебя я удалась — родливая! Она сердится. На печь заберется и говорит, иной раз вовсе уж несуразное несет. Не тронулась бы... — Августа открыто, по-бабьи вздохнула. — Нынче это нехитрое дело. Тебе табаку принести?

— А есть?

— Дивно табаку, дивно. Тимофей летось насадил. В огороде место осталось. Брюквенная рассада у нас вымерзла. Он посеял семена турецкого табаку. Пускай цветет, сказал, девчонкам забава. А табак оказался — самодрал расейский. Я заламывала его, потом срубила, в бороздах держала, все делала, как тятя покойничек. Крепкущий получился — спасенья нету. Хресник мой пробовал — накашлялся.

— Ну-ка, ну-ка, притащи корня два.

Августа достала с чердака беремя густо воняющих корней табаку, и пока я сушил волглые листья на железной печке, пока мял их, чихал и свертывал цигарку, у меня прояснилось в голове.

— Вот что, — закуривши, начал я солидно, с расстановкой, как мне, мужчине, и полагалось говорить. Зря, что ли, Августа вызывала меня со станции Енисей, из школы фэзэо? — Вот что. Беда сейчас не у одной тебя. Многим и вовсе внове беды. А тебе не привыкать. Обколотилась уж. Жить надо. Девки у тебя.

— Господи-и-и! — ударилась о стену головой Августа и начала катать ее по тесаному замытому бревну. — Господи-и-и! Кем мой век заеденный? Кто сглазил его? Сызмальства. С малолетства самого как взяло меня! Ну чем я, чем я хуже других? Марея живет! Кольча тот и другой в чести и достатке. Все живут, как люди, а я маюсь, а я бьюсь, как сорожина об лед...

Да-а, это уж, видно, кому какая доля выпадет. Восемнадцати лет Августа вышла замуж за грамотного пьющего мужика по фамилии Девяткин. Из самоходов он был. Бедовый. Пал в пьяной драке, а на память Августе оставил Алешку. Сколько горя, насмешек и наветов перетерпела Августа из-за Алешки, не перечесть. Алешка выдался в отца драчливым и в мать — трудолюбивым. Как подрос, хорошо начал помогать матери и поддерживать ее, но сейчас он уже отрезанный ломоть, учится на столяра-краснодеревщика. Он — перворазрядник шахматист, по лыжам бьет все рекорды в городе. На селе про Алешку теперь говорят: «Вот те и на! Вот те и немтыры!..»

Еще когда Алешка был невелик, свела Августу судьба с шофером Тимофеем Шамовым. Большая семья Шамовых переселилась на Слизневский лесоучасток из той самой слободы, которую вспоминал я вчера, когда топал по Енисею к селу. Семья Шамовых была тиха, уважительна и работяща. Всеми она почиталась и на лесоучастке, и в селе нашем, безалаберном и приветливом. Однако и в этой семье выделялся мягкостью характера, какой-то юношеской застенчивостью старший сын Тимофей. Он из-за скромности характера так долго и не женился, должно быть.

Тимофей даже Алешку к себе сумел как-то приручить, и тот от любви к отчиму, от благодарности, что ли, выучил и с блаженной улыбкой говорил: «Па-па! Па-па!»

— Ох, война ты, война!

Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас надо ждать, чтоб Августа проревелась, напричиталась, выговорилась.

Иного средства от беды люди еще не придумали.

И тетка моя все катала голову по щелястому бревну и голосила. А я старался не смотреть на ее худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в который ручьем бежали слезы. Меня и самого душило, и с трудом я держался, чтобы не завыть. Выдрать бы из головы горсть волос, если б они были. Изрубить бы чего-нибудь в щепье!

Августа рассказывала мне свою жизнь. И хотя я знал всю ее жизнь, все равно слушал — она затем и позвала меня, чтоб пожалобиться. Больше ей теперь некому рассказать о своей бабьей недоле-юдоли, некому.

Потом Августа сидела, безжизненно свесивши руки, волосы у нее растрепались, лицо опухло, засветились красные жилки в выплаканных глазах, губы и нос ее тоже распухли.

— Хорошо, что ты пришел, — через большое время слабо и отрешенно прибавила она. — Надумала я удавиться. И веревку припасла — дрова на ней осенесь из реки вытаскивала. Алешка при месте, теперь не пропадет, девчонок тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть... — Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубать — кабы не завалился; что пора переходить с бадогов на другую работу — поясница отнимается; что на Манской гриве рыжиков и брусницы будет, по приметам, — хоть коробом вози.

Я сжал лицо руками, сдавил обмороженные щеки, чтоб мне больно сделалось, какое-то время стоял и меня шатало.

— Перестань! — завыл я и затопал ногами, и боялся отнять от лица руки. — Перестань! — еще громче закричал я, хотя Августа уж ничего не говорила.

Девчонки затопотили по шатким половицам и затихли, должно быть, снова укрылись под кроватью.

Проснулась Лидка. Ее плач хлестко ударил по моим ушам.

— Да ты что? — размахивал я руками и горячим шепотом орал: — Ты понимаешь, чего говоришь? Спятила! Не бабушка, а ты спятила!

Меня колотило всего, как прошлой ночью в шорницкой избушке. Чтобы побороть этот сотрясающий все нутро озноб, я бегал по кутье, махал кулаками, сбивался с шепота на крик, говорил, говорил какие-то слова о детях, о войне, о фэзэо, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить!.. Приводил исторические примеры. Великих людей вспоминал, мучеников и мучениц, декабристок и декабристов; ссыльного Васю-поляка, других ссыльных, которые никогда не переводились в нашем селе.

Пришла на ум недавно прочитанная книга о Томмазо Кампанелле.

— Вон Кампанелла — итальянец! — громовым голосом вещал я, бегая по кутье. — В крокодиловой яме сидел! В воде по горло! На колу сидел — и не сдавался! Даже книжку сочинял! «Город Солнца» называется. Про будущее, про наше. Как все станут жить в радости и в согласии...

Тут я обнаружил — Августа внимательно на меня смотрит и слушает. Девчонки тоже вылезли из-под кровати и внимают с открытыми ртами. Я враз осекся, споткнулся среди кутьи и конфузливо умолк.

— Какой ты у нас умный человек! Откуда чё и берется? Вот бы бабушка-то послушала... — молвила Августа тихо и что-то опять поцепляла щепеткой во рту, а затем промокнула платком лицо.

Я хлопал глазами. Огонь прилил к моему и без того пылающему лицу, и я принялся поскорее крошить ножиком табак. Лийка полезла на скамейку — отрывать листок календаря на цигарку.

Августа еще посидела, затем неторопливо повязалась платком, ровно бы передышку она сделала среди трудного пути и снова снарядилась в дорогу, подготовилась к делам своим, вечным, миру незаметным.

Я закуривал долго, обстоятельно и никуда не мог спрятать глаза. «Оратор! — изничтожал я себя. — Олух царя небесного! Еще стишки бы почитал тут...»

— За Кешей сходи, — буркнул я и засунул в печку окурок. Табак и в самом деле крепкий...

Кеша, мой сродный брат и крестник Августы, парень хозяйственный. Вместе мы скорее обмозгуем все и обязательно придумаем чего-нибудь.

* *

В детстве Кеша питался одним лишь молоком, и оттого шея у него была тонкая, голос еле слышен, а глаза, как у теленка, с тягучей, сонной поволокою. Нрава он для нашего села неподходящего. Драться не умел и не любил. Если его дразнили, молчал или плакал, и слезы катились по его незащищенному лицу так, что жалко становилось Кешу.

Мы, его братья, родные и двоюродные, почему-то думали, что он больной, и обороняли наперешиб, и однажды чуть было не утопили одного парнишку, который нагло отобрал у Кеши бабки.

Кончилось дело тем, что Кешу задирать и дразнить перестали, а он, довольный таким положением, играл сам с собою, мастерил из ивовых прутьев упряжь для бабок, рано научился плесть корзины, а потом вязать сети, плотничать, столярничать.

Он как-то незаметно для всех сразу же из мальчишки превратился в мастерового, домовитого мужичка, и пока мы еще лоботрясничали, вытворяли разные штуки, никак не желая разлучаться с детством, он уже вел хозяйство, которое охотно уступил ему дядя Ваня, склонный больше к рассуждениям насчет работы, но не к самой работе.

Само собой, вся наша родня и особенно бабушка ставили Кешу в пример, восторгались его положительностью, а он стеснялся, что укором служит, и всячески пытался выслужиться перед нами.

Слух был — Кеша до сих пор попивает вареное молоко из нарядного детского сливочника, только мать теперь сливочник не ставит на окно, а скрывает, потому как зачастила к Кеше девица со сплавного подсобного хозяйства, тоже положительная, с десятилетним образованием, умеющая строчить шторы.

— Как живешь? Все молочишко попиваешь?

— Корова стельна, — отшутился Кеша.

Он забросил рукавицы на печь, повесил на гвоздь полушубок и прошел в передний угол. На нем была клетчатая рубаха со множеством пуговиц, аккуратно подшитые валенки с загнутыми голенищами. Кто-то лесенками постриг братана, оставил косую челку и под корень истребил косичку, которая, сколь я помню, всегда хвостиком свисала в желобок его худой шеи.

Кеша рассматривал меня, как это только он умел делать, с нескрываемым родственным сочувствием, и вся его любовь ко мне и ко всем нам открыто жила на его постноватом лице. Никакие мои фэзэошные насмешки на него не действовали.

— Хоть бы с невестой меня познакомил, — подначивал я братана. — Мастерица, говорят. Пальто бы мне зашила по-свойски.

— Лелька успела уже наболтать! — посмотрел Кеша в горницу, где убирала постели Августа и делала вид, будто нас совсем не слышит. — Кака невеста? В Березовку вызывали, в военкомат на освидетельствование. Призовут скоро.

Мы так давно и прочно приучили себя драться за Кешу, оборонять от всяких нападений, охранять уединенность его, что до меня не вдруг дошло это сообщение.

Но чем он лучше или хуже других? Никто из нас для войны не рождался. Такие же, как братан мой, очень мирные люди топают сейчас в запасных полках, а после поедут на фронт, воевать. Только трудно, ох трудно будет ему там, в совсем другой, не пригодной для него жизни.

И не заслонишь его теперь собою.

Мы пилили с Кешей дрова, кололи чурки, а я нет-нет да и поглядывал на него, все пытался представить его в военной форме, в строю, в сраженье и никак не мог представить. А он угадывал мое беспокойство и непривычно много говорил — должно быть, успокаивал не столько меня, сколько себя.

— Раз надо дак. Люди ж там всякие. Может, при мастерских устроят?..

Мы испилили дрова, нарубили табаку. Оставили несколько вязанок корней — это уж на самый крайний случай. Табаку-самосаду нарубилось почти полмешка. Августа продаст его перекупщикам, которые стаями рыскали по деревням в надежде чем-нибудь поживиться. На вырученные деньги тетка прикупит сена. Если удастся отстоять и вывезти сено с Манской речки, с нашего покоса, который перешел Августе, корову она, пожалуй, до травы дотянет.

А если нет?..

Завтра мы пойдем с Кешей отбивать сено у диких коз, если там есть еще чего отбивать. Затем сено нужно вывезти.

Но как? На чем вывезти? Вот вопрос!

Лошадь на все удалое село одна — у дяди Левонтия. Он попрежнему работал на бадогах и даже получил повышение — не то бригадиром, не то десятником стал. Много сейчас строилось в городе и возле города казарм, бараков для эвакуированных, заводы ставились, фабрики, свезенные в Сибирь с занятых земель, и на известку возник небывалый спрос.

* *

В избе дяди Левонтия чисто и просторно. Появились в ней занавески на окнах, половичок на сундуке, в переднем углу на сто-

ле — филейка с расшитыми по ней ниточными узорами; кровать, заправленная одеялом; над кроватью кот и кошка из цветной фольги, заключенные в деревянную, отделанную соломой рамку. Тикают часы с гирькой! Маятник на месте, стрелки на месте, гирька на месте!

В прежние времена эти часы разобраны были бы в первый же день, если не в первый час. И котов этих распотрошили бы орлы дяди Левонтия, и скатерку филейную ножницами исстригли, и все бы перевернули вверх дном, кроме русской печки разве. И содомила бы тетка Васеня, раздавала бы шлепки направо и налево, и гонялась бы за Санькой с железной клюкой.

Неуютно было в доме дяди Левонтия. Тихо и неуютно.

Тетка Васеня оживилась, принялась крестить меня и себя, а креститься она не умела. Я от растерянности заухмылялся, смутил ее. И вот сидит на низком курятнике у печи. Петух просунул голову меж планок, клюет ее валенки, а она не слышит. Смотрит тетка Васеня на меня и тужится что-то вспомнить.

— Ничего, тетка Васеня, ничего, — забормотал я и ляпнул: — Держи хвост дудкой!

Тетка Васеня напряглась, собрала на переносье брови, старчески сунувшиеся к глазам:

— Хвост? Какой хвост? — Она испуганно озиралась, шарила себя по юбке. — А-а, озорник! — погрозила мне пальцем облегченно и поправила платок на голове. — Ох, какие вы с Санькой были! Ох какие!.. А Санька-то в танкистах у нас. Где, отец, Санька-то? В какой местности? Он так все прописал, так прописал.. Ну-ко, отец, расскажи-ко. — Тетка Васеня поерзала на курятнике, изготовилась слушать со вниманием, хотя, по всем видам, слышала Санькино письмо много раз и все уж знала наизусть.

— Да ведь ты же знаешь, какой он, Санька, Александра-то наш, — заговорил неторопливо, уважительно дядя Левонтий, окутался дымом и поджидал, чтоб я подтвердил, какой он, Санька-то, Александр! Я, конечно, подтвердил, человек, мол, он о-го-го. А сам подумал: «Вот бы послушал Санька, с каким почтением о нем, клятом-переклятом, руганном-переруганном вспоминают родители, которым он испортил столько крови, что уж дивоваться приходится, как они еще и живы».

— Письмо, видишь ли, пришло, — рассказывал дядя Левонтий. — Все честь по чести прописано, поклоны всем, здоровья пожелания. Складно так. А дальше закавыка! «О местности, где я нахожусь, написать не могу, хотя вы просите, потому что это военная тайна. А чем тятя бадоги колет?» Все понятно, что военная тайна, что нельзя, стало быть, сообчать о местонахождении. Но пошто Сань-

ка вопрос такой задал? Он же знает все про бадоги! Сам на них раБливал. Колотушка деревянная, топор, клин — вот и весь прибор. Гадали мы с матерью, гадали, аж в голове загудело. Ничего не отгадали.

— Не отгадали, не отгадали, бестолочи! — подтвердила тетка Васеня. Лицо ее и глаза осветились. Она приподняла, как школьница, руку, собираясь вступить в разговор.

— Погоди, мать, — остановил ее дядя Левонтий. — Вот на смену вышел, тогда я еще на рядовой работе был, — важно заметил дядя Левонтий, — колю бадоги, а вопрос Санькин не идет у меня из головы. Я вечером в сельсовет. Покрутили там, повертели письмо Александра. Обормот, говорят, он был, ваш Санька, обормотом и остался — не мог уж без фокусов отцу-матери написать... Тогда я сказал сельсоветским кое-что! И к учительше. Она дрова пилит, усталая, ничего не соображает. Помог я ей дрова напилить, в избу снес, а там у ей сестра с Кубани, эвакуированная, больная, и, скажи ты на милость, вмиг она мне все и разобъяснила, остолопу. Клин! Понимаешь, Кли-и-ин! — Лицо дяди Левонтия сияло таким восхищением, а тетка Васеня так хорошо, по-куричьи квохтала, что я уж решил продлить маленько ихнее ликование.

— Какой клин?

— Да город! Го-род, оказывается, есть такой на свете, — простонал дядя Левонтий и утер выступившие на глазах слезы. — Ка-ак он их, а?

— Мозговитай! Ох, мозговитай! — причитала тетка Васеня.

— Ну-у Санька! Ну и голова! — ахнул я. — Вот ушлый так ушлый! — И, чтоб совсем уж ублаготворить дядю Левонтия и тетку Васеню, прибавил: — Кто-кто, а такой человек, как Санька, и на войне не пропадет!

Что иногда значат для людей слова, обыкновенные слова!

У дяди Левонтия грудь колесом сделалась.

— Да-а, Александра наш, он уж такой! Он уж так: либо голова в кустах, либо грудь в крестах! — заявил дядя Левонтий и распорядился: — Мать, собрала бы ты на стол.

Тетка Васеня всполошилась, тетерей себя обругала и загремела заслонкой печи. А дядя Левонтий трудно закряхтел и сказал, как будто оправдываясь:

— Совсем она у меня потерялась, совсем. Токо весточками от ребят и жива. — И покачал седой, ровно бы мохом обросшей головой.

Переломившись в пояснице, он начал сосредоточенно крутить цигарку и сорил табаком на ватные брюки, а потом подумал и мне кисет протянул, кури, дескать, возраст твой подошел.

Скобленый пол; тетка Васеня без сажи под носом; дом без ребятишек; слова «отец», и «мать» и скорбно-сочувствующий взгляд дяди Левонтия.

Полно, уж в тот ли дом я попал?

Тетка Васеня и дядя Левонтий, сколько мне помнится, всегда называли друг друга «он» и «она». Дядя Левонтий чаще: «размазня», «тетеря». А она его: «мордоплюй», «костолом», «рестант». В самые уж обиходные дни, то есть в дни получек: «сам» или «хозяин».

Много в этом доме детей было, и потому будет здесь больше ожиданий, горя, слез. Одна похоронная уже пришла. А сколько еще придет? Старший, тот самый, что водил когда-то нас по ягоды, погиб на границе. Двое удались в отца — моряками стали, воюют под Мурманском, во флоте. Санька — танкист. А Татьяна, мне так и было сказано — Татьяна, и я даже суп хлебать перестал, учится в городе на швею. Еще двое в ремесленном, за Иланском где-то, на шахтеров обучаются. А самый младший в школе на Усть-Мане — десятилетки в нашем селе нет.

Я хлебал суп, а тетка Васеня подливала мне и глядела, глядела. Мне и неловко, но не было сил сказать ей, чтобы она не глядела. Лицо тетки Васени одрябло, как прошлогодняя овощь. Вдруг выкатилась слеза, запрыгала по морщинам лица, как по ухабам, и упала на стол.

— Да будет, будет, — с досадливостью махнул на нее дядя Левонтий. — Ест же человек, кушает, а ты мокренью брызгаешь!

Тетка Васеня торопливо утерлась передником и сидит тупая, послушная. В позе, в лице, в движениях ее такая неизбывная, дна не имеющая печаль, что я сравнить ее ни с чем не могу.

— Ровно пустая кадушка рассохлась. — Дядя Левонтий проговорил это так, будто и нет тетки Васени рядом, будто она уж его и не слышала.

Она и верно не слышала.

Ей, видать, все равно уж. Оттого что в доме ее нет гаму и шуму, не рубят ничего, не поджигают — все ей тут кажется чужим, и хочется попасть обратно в ту жизнь, которую она кляла денно и нощно, вернуться в тот дом, в ту семью, от которой она не раз собиралась броситься в реку.

Сам дядя Левонтий подтянулся, построжел. Одежда на нем вся застегнута, прибрана и постирана. Из рубахи, как всегда малой, длинно высунулись большие, ширококостные руки. Бритые скулы на обветренном, длинном лице его отчего-то маслянисто блестят. Он курит казенную махорку и пепел стряхивает в жестяную банку рядом на скамье. Против осенней поры, когда мы выкатывали вме-

сте лес, он заметно ожил, зарплату ему прибавили, и паек дополнительный идет. Никак не признать в нем того разболтанного, безалаберного мужика, который прежде куролесил и чудил так, что даже в нашем разгульном селе считался персоной особенной и до того неисправимой, что на него все махнули рукой.

Как вспомню получку дяди Левонтия! Дом качался от веселий, стол ломился от яств. Объевшиеся ребятишки бегали с пряниками, конфетами и наделяли гостинцами меня и всех ребят. А Санька? Самый разбойный член этой семьи! Без потехи не вспомнишь, как пьяный дядя Левонтий все таблицу умножения у него спрашивал: «Сколь будет пятью пять?» И сам себе отвечал: «Тридцать пять!» Или «Что такое жисть?» — спрашивал.

Сейчас уж не задает любимые вопросы. Некому задавать.

— Чего Августа чуждается? Почему не обратится? — укоризненно пробубнил дядя Левонтий на прощанье. — Конишко занятой, уезженный до ребер, но в наших же руках! Обеспечим, коли надо, вдову Отечественной войны всем довольством. Наш такой долг, работников тыла...

С открытым ртом слушал я дядю Левонтия. Он как-то даже и приосанился во время речи, и понял я, что должность у дяди Левонтия не меньше десятника, а то и выше хватай.

Повеселел я и, быть может, сморозил бы чего-нибудь, выдал бы речь в ответ, но тетка Васеня так расплакалась, когда я стал уходить, так рыхло и сиротливо сидела на курятнике подле печки, где она теперь, видать, сидела все дни, что мне не до шуток сделалось.

Я поспешил выйти.

* *

Я стоял перед бабушкиным домом. Он с закрытыми ставнями. На трубе снег шапкою, как на пне. У ворот снег не притоптан, даже в железном кольце ворот полосочка снега. Снег, снег, везде снег, белый, нетронутый. Мне хотелось снять фэзэошную шапку и вцепиться зубами в ее потную подкладку. Движимый каким-то мучительным чувством, с ясным сознанием, что делать этого не надо, я все-таки перелез через заплот и оказался во дворе моего детства.

Не совладал с собой.

Всюду снег, невзаправдашно белый, пухлый, и ни одного следочка! От навеса петляла мышиная строчка, да и та не свежая. Амбар был снесен, стайки тоже, остался лишь дощаной навес. Под навесом стоял толстый, истюканный чурбак, на котором заржавели зубцы держалки. Дедушка вечно мастерил чего-нибудь на этом

чурбаке. Снег слежался в его морщинах. Старые, порыжелые веники висели под навесом. В углу прислонены серые от пыли и оттого, что ими давно никто не пользовался, черенки вил и граблей. Меж досок засунуто сосновое удилище с ободранной кудельной леской. Вершинка у него не окорена, и я догадался — это мое удилище. Я всегда оставлял кору на вершинке, чтоб крупная рыба не сломала его. Столько лет хранилось!

Неслышно пошел я по мягкому снегу к избе. На ступеньках крыльца лежал припорошенный полынный веник, а на высунувшемся из-под крыльца метловище надета продырявленная подойница. Я смел веником снег с крыльца. Сметался он легко — крыльцо крашеное.

Затем я не удержался, заглянул в сердечко, вырезанное в кухонной ставне. Сначала ничего не увидел, но постепенно глаз привык к темноте и обнаружил шесток печи, а на нем опрокинутую вверх дном синюю большую кружку. В эту эмалированную кружку с беленькими цветочками наливала мне бабушка молоко. Пока выпьешь до дна, устанешь и брюхо сделается тугое-тугое. Бабушка пощелкает по нему ногтем либо пощекочет: «Самый раз на твоей пузе блох давить!»

Дно у кружки однажды продырявилось. Дедушка вставил во внутрь кружок фанерки, и в кружке держали соль. Она и сейчас, наверное, стоит с солью? Нет, она опрокинута. Должно быть, и соль у бабушки вывелась. Нынче и соль стоит немалых денег.

Сколько я ни напрягался, сколько ни вытягивал шею, увидеть больше ничего не мог.

За желтым наличником торчали пучки зверобоя и борца. Я пошарил под ними, но ключа там не оказалось — бабушка никого не ждала в свой дом. И сама в нем давно не жила — нечем отапливать такой большой дом. Да ведь без людей хоть сколько топи жилье — все равно выстывает.

Я стоял, глядел на желтую дверь, на скобу. Желтое на ней осталось лишь в сгибах. Огромный, тоже крашеный желтым, замок. Желтый дверной косяк, в центре которого один на одном крестики, углем и мелом начертанные к какому-то, я забыл, празднику святому.

Мучительно, словно это было сейчас самое главное, пытался вспомнить я, почему в нашем доме все покрашено желтой краской.

Вспомнил! Незадолго до смерти дедушки появился у нас с двумя ведрами чумазый моторист с буксира, подвалившего к берегу, и о чем-то таинственно шептался с бабушкой. Ведра с краской остались у нас, а моторист что-то спрятал под рубаху и ускользнул со двора.

Вот тогда-то, дорвавшись, как утверждала бабушка, до дармовой краски, она и перекрасила в один цвет все — от пола до коромысла. Краска сохла чуть ли не все лето и ходить в избу надо было по доскам и ни к чему не прислоняться. Сколько колотушек добыл я в то лето от бабушки, не перечесть.

Зато когда высохло, бабушка нахвалиться не могла красотою в избе и своей хозяйственной предприимчивостью.

«Желтый цвет — измена! Красный цвет — любовь! Зеленый цвет...» Что же означает зеленый цвет в Танькиной, в Татьяниной песне?

Опять какие-то пустяки в голову полезли. Сплошные пустяки.

Надо уходить.

И я побрел со двора, в котором отшумело мое детство. Здесь было все: и игры, и драка. Здесь меня приучали к труду: заставляли огребать снег, выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, убирал навоз, ладил трактор из кирпичей, садил первое в жизни деревце. Здесь, среди двора, ставилась летом железная печка. На ней бабушка варила варенье. А я жарился подле, с терпеливой и твердой верой, что бабушка не выдержит характера и даст мне пенок с варенья или хотя бы ложку облизать.

Здесь, под навесом, лежала утопленница мать, и меня не допускали к ней, но я все равно пробрался, посмотрел, и потом она долго приходила ко мне сонному. Меня лечила бабушка травой и опрыскивала святой водою. Отсюда же, из-под этого навеса, унесли на кладбище моего дедушку, который никогда ничем не болел. Он умер в одночасье. Пришел из бани, прилег на кровать и умер.

На этом дворе, покрытом белым, нетронутым снегом, меж сланей летами торчали иголки травы, а под навесом валялась собака Шарик. В стайке вздыхала корова, в амбаре кричали курицы, исполнивши свое дело, а им помогал петух. Бабушка держала петухов красных, драчливых, и руки у нее всегда были до крови исклеваны.

Ворота заложены гладким бастригом, тем самым, что забросил когда-то в крапиву забунтовавший дед. Я подпрыгнул, ухватился за верхние бревна заплота, подтянулся и сел.

Чего я еще жду?

Окрика жду: «А ворот тебе нету, окаянная твоя душа! Вылезло тебе! Ворота не видишь, разъязвило бы тебя в душу и в печенки!..»

Но никто меня не окликнул, не обругал.

Я спрыгнул в сугроб, наметанный подле забора, и прошел мимо нашего палисадника. За тонкими осиновыми частоколинами краснела калина. Бабушка не собрала ее на зиму, чтобы сварить пользи-

тельной и сладкой кулаги. И птицы почему-то не склевали ягоды, а ведь калина из тех ягод, которые они склевывают раньше других и охотней других.

Видно, и птицы покинули забедованную землю.

* *

Над Манской речкой луна, полная и прозрачная до того, что на ней видны проточины и темные лоскутья, должно быть, лунные горы и земли.

Зарод сена, в котором затаились мы с Кешей, высвечен луною явственно, и нет ощущения ночи. Мы как бы попали в другое царство, где все околдовано сном, все призрачно и до звонкости остыло. Зарод сметан на бугре, отодвинувшем в сторону речку и клубящиеся ольшаники. Бугор гол, и зарод поставлен так, чтобы продувало его со всех сторон. Сено сметано рыхло, на шалашом составленном решетиннике. Зарод хорошо зачесан сверху и даже прикрыт пластушинами корья. Но все равно сено в нем осенью согрелось, подопрело, и не будь оно посолено, так и вовсе пропало бы.

Вокруг зарода пестреет козья топанина, снег усыпан черными шариками. Не один табун пасется здесь. И пасется давно. Зарод поддерган и сделался наподобие кулича.

Мы с Кешей одеты в собачьи дохи, раздобытые на селе. Оба в подшитых больших валенках, меховых шапках и рукавицах-мохнашках. У меня еще замотано пуховой шалью лицо и уши, оставлены только глаза, и смотрю я пристально на снег, истоптанный козами, на ближний прореженный лес с коротко подобранными под себя тенями. Луна стоит почти над головою.

Я сжимал дяди Ванину двустволку, а Кеша — дробовик, взятый у тетки Авдотьи, недавно лишившейся мужа, дяди Терентия. Он без вести пропал на войне. Так-таки и пропал, утерялся Терентий. В плен его лешаки унесли или героем погиб?

С удивлением смотрел я на оцепенелый, отрешенный мир, залитый светом луны, на белую поляну покоса в бесконечных пересверках.

Накатывал морок на луну, выплывало невесть откуда взявшееся облачко, и тогда бугор темнел и по нему чешуистыми рыбинами плавали тени. Лес за покосом делался плотнее и смыкался бесшумно. Но яснела луна, переставали бродить по снегу тени, и окутанный мохнатой дремою лес покоился на своем месте. Космы берез обвисли до белой земли, и хотя много их, этих крупных, несрубленных берез, все же кажутся они одинокими.

Вдовьей грустью наносит от них.

От луны четко пропечатались далекие утесы. Деревья в вышине словно обгорелые былинки, и все это: и горбатые выгибы перевалов, и темные скалы, ровно бы приклеенные к окоему, и деревья, как будто с детской небрежностью нарисованные там, ближние ельники, увязившие ветви в снегу, и спутанные в ржавые клубки лозины голых красноталов, черемушники, ольшаники по извилистой речке — весь этот край, убаюканный тысячеверстной тишиною, никак не давал поверить, что где-то сейчас гремит война и люди убивают людей.

Никакой войны нет.

В древнем, завороженно-сонном царстве, среди заснеженных лесов, за этими дальними, волшебно светящимися перевалами, люди пьют вино за новогодними столами, поют песни и целуют любимых женщин. Все они желают друг другу счастья, и никто из них не таит в сердце зла. Зла не должно быть в таком прекрасном, в таком тихом и чистом мире!

Ах, как обворожительно подвиден зимний лес!

Хочется забыться, довериться ему, закрыть глаза и остаться в нем навсегда, погрузиться в мягкую вековечную дрему.

Это так легко!..

Но почему же, почему мне тревожно? Даже в этом лесу, в горах этих, окутанных младенчески-тихим сном, таится ощущение тревоги. Или тревога намертво въелась в мою душу, как въедается пыль в легкие силикозников? Неужели я принес ее с собою в молчаливую тайгу, в эти старые-старые горы?

Осторожно поднимаю руку, стягиваю шаль с одного уха.

Ничего не слышно.

Какие тут могут быть козы? Что тут может быть живое?

Безуспешно пытаюсь я уверить себя в том, чего нет: Августа спит спокойно, бабушка моя, гордая и шумливая, не ходит по людям и не выглядывает куски, на всей земле моей тишина — но впасть в самообман мне уже не удается.

Острой занозой входит в мое сердце беспокойство. Ровно бы опухает оно. И потом не раз будет вот так же бояться и болеть сердце, и непрошенно станут вонзаться в него какие-то недобрые предчувствия. После предчувствия обязательно сбудутся.

Наверно, сдавило мне сердце в ту минуту, когда погибла фэзэошница Катя, та самая, с косами, в беретке, которой собирался я сочинить письмо с эпиграфом. За отсутствием сцепщика она пыталась перецепить паровоз у пригородного поезда, на котором проходила практику. Такая же, как она, соплюха, успешно прошедшая за пять военных месяцев путь от кочегара до машиниста, расплющила девушку буферами.

Я уже не застану ее. Я лишь узнаю, что звали ее не Катей, а Груней, Грушей, и что схоронили ее в братской могиле вместе с умершими в дороге эвакуированными, сгруженными с проходящих поездов.

Девушку Груню забыли, небось, все на свете, а я вот отчего-то помню. Мне думается, что она-то и была бы моей первой любовью. Впрочем, я много раз в жизни придумывал себе любовь, придумал, должно быть, и эту.

— Мне грустно и легко, печаль моя светла...

— Ты чё шепчешь? Молитвы или нáговоры? — Кеша уставился на меня, смотрит, рот открывши. Ресницы его густо обросли бахромой, бородка и усы, едва пробившиеся, тоже.

— Нáговоры. — Я шевелюсь в сене и любопытствую: — Кеша, есть такие страны, где люди ходят сейчас босиком и без штанов. Веришь или нет?

— Не-а.

— А что война идет?

Кеша туго думает, затем поводит плечами, как будто стряхивает с себя неловкую поклажу. Сено начинает шуршать, и он затихает.

— И верю, и не верю... — выдавливает он. — А твое-то какое дело? Чё бередишь себя и меня? Молчи давай. Скоро придут!

— Кто?

— Да яманы-то. — Кеша, отогнув воротник, обобрал с ресниц куржак и всмотрелся в меня пристальней. — Всегда ты за всех мучаешься. Оттого жить тебе тяжельше. Тиха! Идут вроде?

Я торопливо отыскал рукой шейку ружья и отвернулся от Кешиного заиндевелого лица, на котором глаза от луны светились, как у идола, беззрачно. Кеша двинул меня локтем в бок, и я не вдруг, но очнулся, однако ничего нового на покосе не увидел.

Приподниматься начал. Ожило сено.

— Мри! — прошипел Кеша и глазами показал мне на то место, где покос уголком вдавался в лес и где еще по сию пору виднелись заросли, не скошенные из-за сырой погоды.

Несъедобные там росли травы, больше медвежьи дудки в руку толщиной, из которых в детстве мы делали брызгалки, а охотники свинец для пуль в них отливали. Широкие розетки дудочника роняли семя на снег. Шишки с елок и сосен напáдали, и оттого все там пестрело. Синими жилками вились, сплетались заячьи и горностаевы следы.

В кормных зарослях покосной дурнины, накрытых серой тенью леса, призошла какая-то перемена — сделалось там темнее, и дудки по отдельности уже мало где различались, и что-то едва слышно

пошурхивало, ровно бы кто-то задевал переспелые дудки и вершинки их прыскали летучим семенем.

Дыхание мое сперло, а сердце стронулось с места и заколотилось, заколотилось. Я еще не увидел коз в тени леса, среди бурьяна, но почувствовал — они там, они пришли.

Напряженно, до тумана в глазах пялился я на нескошенный уголок покоса и различил какие-то странные лоскутья на снегу. Из спутанных зарослей елок, осин и сосенок, из снежной опушки леса проступили тени, похожие на деревенские лавки с четырьмя ножками. На каждую лавку вроде бы брошена шапка, и у нее свесилось ухо.

Скамейки стронулись с места, зашевелились, как отражения на воде. От них отделилась одна тень, выдвинулась на белый покос, и у нее появились два острых рога.

Не сразу, но я сообразил, что луна уже скатилась к Енисею и что эта бесовская тень с бородою и рогами есть тень козла-гурана. Едва различимой прожилкой гуран спаивался со своим причудливо вытянутым отражением. Гуран задрал бороду и процеживал ноздрями морозный воздух. Глаза его взблескивали, уши напряженно стояли сбоку рогов.

Козлухи, гураны и анжиганишки — малолетки замерли в отдалении: ждали, когда вожак двинется вперед.

Еще не весь табун вышел из леса. Угадывалось движение на опушке и под деревьями, с которых текла кухта и дырявила комьями снег. Дудки дребезжали и треньками.

Я сглотнул слюну и перевел дух. Кеша придавил мое колено. Вожак нырком прошел по снегу, оставляя после себя глубокую борозду. Он остановился теперь посреди бугра и снова задрал бороду. Я слышал, как он посапывает. До меня донесло запах старого козла.

Можно было стрелять.

Но Кеша снова давнул мое колено и повел глазами в другую сторону. Я медленно перевел взгляд, куда он показывал, и чуть было не закричал. Там, во главе с другим, но уже безрогим гураном, стояла, рассыпавшись по нижней поляне, еще одна козья стая. Безгласно и бесшумно возникла она из этих гор, из белых снегов, из вылуженной ночи и двинулась в обход нас, на другую сторону зарода.

Вожак там был или молод, или менее осторожен — к зароду козы бежали нетерпеливо, будто солдаты с проходящих воинских эшелонов за кипятком. Анжиганы отталкивали друг дружку, перепрыгивали через коз, глубоко проваливавшихся в снег.

Кеша взглядом приказал следить за тем козлом, что двигался

к нам из дудочника. Козел, должно быть, не уловил никаких подозрительных запахов — дыхание наше глушило сеном, но все равно осторожничал, заметил, видать, куржак от нашего дыхания, возникший на сене, или потревоженный нами зарод, а может, и лыжня, оставленная нами, насторожила его. Он не торопился, хотя козы другого табуна уже шумели сеном за нашими спинами. Сопели там и алчно взмыкивали анжиганишки, бодали друг дружку безрогими лбами.

Они хмелели от соленого сена.

Осторожней и осторожней двигался к зароду вожак-гуран. Меня колотило, и я с трудом сдерживался, чтобы не пальнуть и не заорать во всю глотку. Подбористые в талии козлушки и тонконогие козлы пытались ослушаться, забегали вперед, рвались к сену. Гуран сердито мотал головой всякий раз, когда народишко его бородатый зарывался, и поддел рогами одного чересчур резвого анжигана так, что тот отлетел в снег и больше вперед не совался.

Вдруг рогатый гуран коротко мякнул — и весь табун смешанной толпой бросился к зароду. Лишь гуран прирос к месту, уперся взглядом в меня.

Я растерялся, занемел, холодная струйка поползла по моей спине. Гуран будто пригвоздил меня светящимся взглядом, и я не мог ни дыхнуть, ни шевельнуть даже единым пальцем.

Кеша стиснул до боли мое колено и сыро выдохнул в ухо:

— Его!

А я уж наметил глазами рвущегося вперед ушастого анжигана, того самого, которого отбросил рогами вожак.

Гурана мне стрелять почему-то не хотелось.

Дивен был вожак! Рога у него набраны из толстых, к остриям утоньшающихся колец — это различимо на тени. Красавец был вожак. Тонконог, грудаст.

И ночь красива и тиха была.

Никого мне убивать не хотелось. Но Кеша тут старший, и я должен подчиняться ему. Так мы уговорились. Он и ружье мне дал получше, потому как не надеялся, что из расшатанного дробовика-брызгалки я попаду во что-нибудь.

Неохотно потянул я руку из лохмашки, слабо надеясь, что Кеша остановит меня, сменит решенье и я опять суну руку в обжитое

нутро собачьей лохмашки и рука обрадуется еще не выветрившемуся из рукавицы теплу.

Кеша не останавливал меня. Он прикладывался щекой к ружью, установленному на старые деревянные вилы, замаскированные в сене. И я, чтобы не опоздать, чтобы не упустить ту секунду, ради которой мы шли сюда из села в морозную тайгу и сидели здесь чуть ли не половину ночи, начал шарить по гладкому ружью.

Пальцы мои коснулись скобы ружья и приклеились к накаленному морозом металлу.

Я должен стрелять! Стрелять в этого мудрого козла с бородой чудаковатого волшебника Хоттабыча, в эту новогоднюю, зимнюю ночь, в тишину, в белую сказку!..

Ударил я гурана почти в упор из обоих стволов. Задумался я, замешкался, и козел оказался вплотную передо мной, да и Кеша, приложившись, ждал моего выстрела.

Я ощутил толчок от ружья и еще до того, как вспух облаком черный дым из стволов, успел увидеть в проблеске пламени пружинисто прянувшего ввысь вожака. Кешин выстрел сухой лучиной треснул чуть позже. Сбросил с себя Кеша ворох сена и тонко завизжал:

— Есть! Есть! — и помчался от зарода.

Он проседал в снегу, падал, заваливался. За ним волочились полы собачьей дохи, и походил он на неуклюжую росомаху.

А по покосу в беспорядке и панике разбегались козы. Они уходили скачками, проваливались по грудь в снег, блеяли, кричали. Анжиганишки судорожно бились в кустах, ломали их с треском.

Разбежались козы быстро.

Исчезли в горах, растворились в ночи, в снегу. С деревьев еще какое-то время текла кухта. Но все скоро остановилось, утихло, и снова сделалось покойно в тайге. Лишь белый бугор был исполосован вдоль и поперек темными бороздами.

С боязливым любопытством я приблизился к козлу. Он был еще жив, хрипло дышал и дергался, подбрасывая свое непослушное тело. Он пытался ползти к лесу, да только выгребал яму в снегу и зарывался все глубже и глубже.

Я целил ему в грудь и, должно быть, угодил, куда целил.

Вожак приподнял голову, рванулся еще раз и осел на подломившиеся ноги. Так, по-кроличьи, на лапах лежал он и глядел на меня. По бороде его быстро-быстро капала в снег черная кровь.

Я попятился, загораживаясь ружьем, но тут же бросился на козла и принялся колотить по рогатой голове прикладом.

— А-а, шаман! А-а, оборотень! Чего глядишь? Чего глядишь? Сено жрал! Сено жрал!..

Хрустнула кость.

Я проломил вожаку голову, затоптал еще живое, но уже вялое его тело в снег и все кричал и бил, бил. Расщепал бы я приклад ружья, если б не подбежал Кеша.

— Ты чё? Сдурел? Совсем сдурел! — оттолкнул он меня.

Я упал. Лежал вниз лицом какое-то время. Потом хватил губами мягкого козьей мочой пахнущего снега и проглотил его. Потрогал лицо рукавицей, почувствовал, что оно все еще болит, и принялся заматывать его шалью.

Я сидел в снегу, опустошенный, раздавленный, а Кеша вертел в руках тулку и виноватым голосом бубнил:

— Ружье-то тятино, голова! Поломал бы! — Он неожиданно наклонился, пошарил в снегу и вынул рога.

— Гляди-ко, отвалилися!..

Я вытаращил глаза и пощупал протянутые рога. Острые бородавки на рогах цеплялись за пальцы.

— Давно уж отвалиться надо им, — пояснил мне Кеша, — а он носил, маялся, помогли мы ему...

Кеша заметил, что я не отрываю глаз от рогов вожака, и хмыкнул:

— Трофей по-городскому называется. Отдашь своей шмаре. Возликует!

— Моя шмара рогов не любит, — сказал я и поднялся. Узнавши про Кешину ухажерку, я, конечно же, намекнул, что у меня там тоже есть, и не одна.

— А чё любит-то? Конфеты? — полюбопытствовал Кеша, вытаскивая лыжи из зарода.

— Браслет ей надо золотой. А лучше — пайку черняшки.

— Гы-ы, с претензией барышня. Они такие, городские-то!

— Ты мне зубы не заговаривай! И не проболтнись... как меня тут родимец хватил...

— Чё я, маленький ли, чё ли... — заявил Кеша и с сочувственностью добавил: — Нервный ты человек, потому что жизнь твоя с малолетства...

— Н-ну, завел! Еще попричитай, как бабушка.

— И попричитаю. И попричитаю! Я, может...

— Ладно, кончай, кончай! Говори, чего делать?

Кеша засопел, проморгался на луну.

— Давай туши связывать, — сказал он и прокашлялся длинно, со скрипом. — Эк ты его измолотил! Воин!

От Кешиного домовитого ворчанья спокойней мне сделалось, и я стыдиться самого себя начал, и хотел как можно скорее уйти с покоса, из тайги этой.

Мы связали широкие охотничьи лыжи, завалили на них застывшего вонючего козла, а сверху примостили добытую Кешей козлушку с махоньким вымечком и с темными, дамскими ресницами, полуприкрывшими мертвые глаза. Связали туши бечевкой, надели по одной лыже и побрели вниз, к Манской речке.

Идти на одной лыже по целику и волочь за собой кладь тяжело. В момент согрелись, сбросили дохи, привязали их поверх нашей добычи и двинулись ходчее. Скоро мы достигли санной дороги и потопали без лыж. Местами катились под гору, навалившись на мягкие дохи, под которыми моталась голова козла и бородой мела снег.

Вся тягость схлынула с души, как только мы покинули зарод, и я уж радовался, что все так хорошо получилось, что с добычей мы и коз на время отпугнули. Только глубоко во мне шаяла еще стыдливость из-за той слюнявой размягченности, которую ни один мой селянин не захотел бы понять. У нас от веку жили охотой, и если ты взял ружье в руки — стреляй. А нет — сиди, как сапожник Жеребцов, на вытертой седухе и починяй обутки — тоже промысел.

Мы миновали сплавной участок на Усть-Мане. От него доносился треск остывающих в ночи домов и бараков да запах едкого, древесного дыма. Я потянул носом и вспомнил шорницкую, Дарью Митрофановну вспомнил. Мяса ей надо занести будет на варюдве.

Огонек теплился только в одном месте — светилось окно школы.

Чужая сделалась Усть-Мана без заимок. Казенное место с казенными службами, с конторой, магазинами, столовкой, с отовсюду набравшимся народом. Село мое, в котором колхоз так и не удержался, хотя канителились с ним долго, повисло как бы между небом и землей. Население частью работало на лесоучастке, на сплаве, на бадогах в известковом заводе, а больше народу нигде не работало, жили огородом, лесом, рекой, и теперь люди без определенных занятий, как их называли, получивши иждивенческие карточки в сельсовете, не знали, где их отоваривать. Торговая точка в нашем селе пережила все переходные названия — винополка, потребиловка, казенка, кооператив, — но так и не достигла солидного названия магазин и переместилась на лесоучасток.

На Енисее дорога укатана обозами. Стужа меж скал не стояла, а двигалась в одну сторону, как будто захваченная течением под метровым льдом. Потные спины и разгоряченные лица начало сводить и корежить. Я закутался шалью. Мы снова натянули дохи, впряглись, покатили.

По всей реке от прибрежных скал лежали зубчатые тени, однако дороги они не достигали и ехать было весело.

Лишь тень Манского быка перехлестнула дорогу. Мы ступили в полумрак, пошли медленней, тише, а потом вовсе остановились.

Манский бык залит лунным светом. Вершина его металлически блестела. Сиротливо чернели наверху голые лиственницы. Тяжело вламывался бык в твердь Енисея. Обдутый ветрами, лед у подножия вспучился и растрескался. Камень быка резко очерчен по то место, докуда поднималась вешняя вода. Выше черты вспыхивали прослойки слюды. По ржавчине, выступившей из камня, наляпаны пятна ползучего плесенного мха, живого даже в такую морозину, когда и камень сам не выдерживает — лопается.

В углу быка, в том месте, куда веками били две реки — Мана и Енисей, — зияла пустым жерлом губастая пещера. В холодной ее пасти белели наплывы льда. В детстве мы выше пикета боялись ходить поодиночке, особенно к этому гиблому месту, хотя в коренную воду у быка здорово брал налим. Нам все чудилось, что пещера вот-вот каменно хрустнет челюстями и заглотит нас заживо.

У подножия в трещины льда насыпался камешник. Под быком, под тяжелой грудью утеса, на льду там и сям остроуглые булыжники. Иные докатились до дороги, завалились в корыто, выбитое копытами коней.

Наверху, за лесистым загорком утеса, где он отделился от хребта, из теплой трещины выходил ключ. Утайкой пожуркивал он, ронял тонкие струи. Они катились по корням дерев, по проточинам камней. Стужа схватывала воду на лету, и потому весь утес был в многослойных ледяных наростах. Связки сосулищ висели на козырьках. Должно быть от ржавчины, сосульки были желтые. Сейчас под луною все они хрустально сверкали. В одном месте на пути ключа лиственница оказалась. Дерево так заковало льдом, что ствол его чуть не до середины был в ледяном панцире, а на сучьях дерева тоже висели и крошились сосульки.

Вспышки в сосульках и слюдяных жилах, лунное мерцание на вершине утеса, шевеление живой воды вверху, дерево в панцире создавали полное ощущение завороженности, потусторонности мира.

Еще никогда не казался мне мир таким потаенным и величественным. Его спокойствие и беспредельность потрясали. Давно наметившаяся в моей душе черта сегодня, сейчас вот, под Манским быком, ровно бы ножом полоснула по мне — жизнь моя разломилась надвое.

В эту ночь я стал взрослым.

— Мне грустно и легко, печаль моя светла...

— Ты чё все бормочешь? — шепотом спросил Кеша. — Всю ночь бормочешь?

— Стихи, Кеша. Пушкина стихи.

— Стишки-и-и! — Кеша смотрел на меня с оторопелым недоумением. — Пойдем-ко отсюдова скорее, — заторопился он и совсем уж испуганным, настойчивым шепотом повторил: — Пойдем, пойдем!

Я долго оборачивался на утес, будто ждал чего. И дождался. Сзади послышался гул, грохот. Обвалившаяся сверху льдина ударилась о подножье, разорвалась шрапнелью, и звонкие осколки рассыпались по реке.

И все снова замерло.

Лишь в ушах моих стоял гул и звон, но его постепенно перебило тихое журчание воды. Кровью сочилась она из глубин утеса и запекалась на его каменной груди.

* *

Со скрипом и бряком вломились мы в теткин дом.

Августа суетилась вокруг нас, помогала раздеваться и спрашивала:

— Живы? Шибко замерзли-то? Я все поджидала, вот, думаю, застучат, вот застучат, и задремала... Лезьте на печку...

— Некогда. Мы дичину приперли. Сейчас чередить начнем.

— Да ну? Вот так охотники! Убоиной Новый год встретим.

Ночью же на кухне мы с Кешей свежевали козла и козлушку. Точнее, делом занимался Кеша, а я больше путался, бегал по кутье, ронял посуду, мешал ему. Августа хлопотала возле Кеши, сноровисто и ловко орудовавшего ножом, подставляла тазы, ведра, чугунки и уверяла быстрым шепотом:

— Я все приберу... Все обихожу: и голову, и кишки. Ничему пропасть не дам.

Наутре мы покончили с делами. Полусонные уже поели картошки, жаренной со свежей, ароматной козлятиной. Кеша убежал домой и унес в мешке половину козлушки, а я полез на печь, отыскал там пузырек с гусиным салом и еще раз натер им щеки и уши, взявшиеся сухой коркой.

— Заживает? — спросила Августа снизу, услыхав запах старого затхлого сала.

— Как на собаке.

Августа приподнялась на приступок, поглядела на меня, подсунула еще одну подушку мне под голову:

— Мягче лицу-то будет.

Она хотела еще что-то сказать. Я ждал. Пошарила за кофточкой Августа, достала вчетверо сложенную бумажку и протянула. Справка из сельсовета. В ней говорилось, что я задержался на неделю по причине болезни. И я догадался, почему девчонки последние дни не пили молоко. Держала их Августа на жиденькой похлебке, и они все время ныли, просили есть.

«Зачем ты это сделала?» — хотел я упрекнуть Августу, но ее так легко было сейчас ушибить, и я сказал, что очень это хорошо. Со справкой, мол, я избегу нагоняя в фэзэо.

Августа, как дитя, обрадовалась тому, что справка пригодится. Больше она спать не ложилась, топила печь, быстро и неслышно бегала по избе, а когда открыли магазин на Слизневском лесоучастке, сгребла кусок мяса и умчалась туда. Возвратилась она возбужденная, с четушкой спирта и сказала, что мы будем пировать.

Спирт пили вчетвером: я, Кеша, Августа и дядя Левонтий. Тетке Васене что-то немоглось.

Прежде чем выпить по первой рюмке, я маленько поговорил. Люди ждали не столько выпивки, сколько разговору, и я не стал куражиться и томить их.

— Чего бы на земле ни происходило, а время идет, — начал я. — Наступает новый год, и никому ничего тут не поделать. И люди тоже, — я взглянул на Августу, — и люди тоже вместе со временем идут дальше. Раз родились и в такое время жить нам выпало, никуда не денешься. Вот!

Августа, пригорюнившись, держалась за рюмку и слушала, а затем длинно-длинно вздохнула, подняла глаза, протянула рюмку, чокнулась со всеми так, будто возвратилась она из далекого далека..

— Ладно. Чего уж там. С Новым годом, мужики! — Она с сибирской удалью хлопнула рюмку спирта, поддела на вилку гриб, пожевала и расхвасталась: — Гляди, Левонтий, племяш-то у меня, а? Скажет, так чисто по-писаному! Заслушаешься прямо! Одну книжку сказывал: в тюрьме человек сочинял. Калпанела по фамилии. В воде по горло сидел и сочинял...

— Н-ну! — приподнялся с табуретки Кеша и пораженно уставился на меня.

— Слушай ты ее, — махнул я рукой в сторону Августы. — Будто не знаешь свою Лельку.

— Нет, Гуска правильно утверждает, — поддержал Августу дядя Левонтий. — Сельсовет у ее племяша на месте. — И дядя Левонтий выразительно постучал себя перстом по голове.

— Да будет вам! — пресек я эту тему и потряс четушкой так, чтоб в ней забулькало. — Давайте лучше еще по одной.

Пошло за столом веселье. Мы с Кешей рассказывали про охоту. Августа угощала дядю Левонтия и девчонок мясом, ела сама и хвалила нас.

Пестрели половики в горнице. Кровать с бойко взбитыми подушками, с кружевной зубчатой простынью. На угловике скатерка с зелеными ромбиками. Возле сундука вершинка ели — отрубил кто-то и выбросил, не вмещалась в избе, а тетка моя подобрала вершинку, поставила и клочья ваты на нее набросала.

Хорошо-то как в избе! Празднично!

Много болтал я в этот день за столом смешного, а Кеша до того забылся, что закрыл глаза, скривил рот и затянул: «В воскресенье мать-старушка». Но тут всем вспомнилась бабушка Катерина Петровна. Начали сожалеть мы, что нет ее с нами за столом.

Грустные песни сегодня петь не надо, а веселые не к разу тут, да они и не приходили на память, веселые-то.

Чтобы направить все за столом в старое русло, я рассказывал, как перепутал с морозу женщину с мужиком в Собакинском совхозе и как шорничиха кашляла, отведавши табаку «Смерть Гитлеру!»

Получился у меня смешной рассказ.

Девчонки хохотали вместе с нами. А я пощекотал Капу, и она завизжала. Шум поднялся, переполох. Я догадался спьяну приладить себе на голову козлиные рога и бодать ими девчонок. Они с воплями забились под кровать, а Кеша и дядя Левонтий так и покатились с табуреток.

Все время, пока болтал, резвился, дурачился, я наблюдал за Августой. Она не вынимала больше шерсть изо рта, и серая земля с губ ее немножко стерлась.

Одну беду над моей теткой пронесло.

Она потянет дальше тяжелый свой воз, одолевать будет метр за метром тяжкую, многими русскими бабами утоптанную тропу.

Не знаю уж каким таким наитием, каким чувством, шестым или десятым, но там, в ночной остановившейся тайге, я угадал, что долгой будет война и на долю нашего народа, а это значит прежде всего на женскую долю, падут такие тяжести и испытания, какие только нашим русским бабам и посильны. А у тетки моей родной будет всего столько, что и я, лучше других ее знающий, дивоваться стану, как это она выдюжила и сохранила детей.

Коровы Августа лишится весной — променяет ее на семенную картошку. Потом продаст дом и перейдет жить в пустующую бабушкину избу. После, уж совместно с бабушкой, они проедят

одну половину нашего дома и останутся жить в другой. Бабушка перестанет ходить к Зырянову. Возьмется домовничать с детьми Августы, а она поступит на лесоучасток валить лес.

В конце войны в наше село пригонят пленных японцев. Августа наймется стирать на них и будет рассказывать мне, вернувшемуся с фронта, о том, как ей жалко было забитых японских солдатиков. Даже и в плену офицеры объедали солдат, заставляли работать за себя, выполнять и офицерам назначенную трудовую норму. Один офицер японский особенно лютовал, бил солдат, палкою бил, рук, должно быть, не хотел марать. Бил он и того солдата, который помогал Августе носить воду в прачечную.

— И что ты, матушки мои! И зубит моего япошку, и зубит, — рассказывала Августа. — А солдатик-то очкастенький, ростику небольшого, Алешей я его звала, по-ихнему Ямага, да выговаривать неловко, вот я и звала его по-нашему. Да ты что, говорю, поддаешься ему? Дай ты ему хоть раз по морде! А он пугается. Нельзя, говорит, офицер, самурай... А мне наплевать, что самурай. Зачал бить как-то мово помошника, а я вырвала палку да по башке самурая, по башке! Собирался он повеситься от бесчестья — Ямага рассказывал, — да не повесился, уехал с другими японцами домой. Жить-то всем охота, и самураям тоже...

И еще, спустя время, Августа расскажет о том, что мужа ее, Тимофея, не убили на войне и без вести он не пропадал. Он подделал похоронную, спрятался от семьи, предал ее.

Я не поверил, кричал на Августу.

Тетка показала мне письмо сестры Тимофея, в котором та сообщала, что брат ее подцепил на фронте другую жену, что подлец он и нет в нем ни стыда, ни совести.

Надругаться над похоронною, самым святым документом на свете, — это и до сих пор не укладывается в моей голове!

До войны Тимофей был совсем другим человеком.

Но я-то знаю теперь, что война не только возвышала людей, она и развращала тех, кто послабее характером. Шамов работал шофером у какого-то большого генерала и разболтался от сытой жизни. Недаром у нас, окопников, на фронте родилась поговорка: «Для кого война, а для кого хреновина одна».

Но никакое предательство, никакая подлость даром не проходят. Один мой фронтовой товарищ утверждал, что за всю человеческую историю ненаказанными остались всего несколько подлецов, не больше десятка, заверял он. Если не живых, то хотя бы мертвых подлецов настигало возмездие.

С возрастом я все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы согласиться с моим фронтовым товарищем. Рок то или не рок,

судьба или не судьба, но через несколько лет после войны Шамов погиб — упал лесопогрузочный кран и задавил его.

Тут надо бы и закончить мой рассказ, но тянет вернуться в жарко натопленную избу, за новогодний стол, где мы сидели, осовевшие от сытой еды, от жидко разведенного спирта.

Девчонки в тот день до того разошлись, что сплясали нам, а мы хлопали в ладоши и подтутыркивали им. Они заставили спеть песню, которую всегда пела из подхалимских соображений самая хорошенькая из бабушкиных внучек, тети Любина Катенька:

Ты, сорока-белобока,
Научи меня летать.
Невысоко-недалеко,
Чтобы бабушку видать...

По большому носу дяди Левонтия покатились слезы. Захмелел он от такой малой доли выпивки. Больно мне сделалось на сердце, и глаза тоже начало жечь.

— А ну вас! — сказал я и полез на печку.

Уже сквозь сон слышал я, как целовал меня в ухо обветренными губами дядя Левонтий, а тетка Августа отдергивала его и настойчиво упрашивала:

— Не лезь ты к нему, не лезь! Ему скоро в фезеу свою идти.

«Верно, пора отправляться, — вяло подумалось мне. — Отвыкать уж начал».

Дядя Левонтий не подчинялся Августе, называл меня сиротинушкой, ронял на лицо мое теплые слезы и опять говорил, что любит всех нас, потылицынских, пуще родных и что если была бы здесь его дорогая соседушка Катерина Петровна, он обсказал бы ей все и она поняла бы его, потому как прожили они век душа в душу, и если Катерина Петровна и честила его иной раз, так за дело — уж шибко неправильно жил он в прежние времена.

Дядя Левонтий все же отлип от меня, и я некоторое время слышал, как разговаривали вполголоса Августа с Кешей, но скоро голоса их отдалились.

Сон мне снился все время один и тот же: я летел и летел куда-то в темную, бесконечную пропасть. И сердце устало, и весь я устал, и готов был хрястнуться обо что-нибудь твердое, разбиться в прах, лишь бы только не болтаться в пустой темноте.

Измученный, задохнувшийся, я услышал детский плач, полетел на него и проснулся.

Капа сидела, втиснувшись в угол за трубу печки, и дрожала. Я хотел погладить ее по челке, но она сжалась испуганным воробьишком.

— Что ты! Что ты! Не плачь, не бойся.

Я свесился вниз. Никого дома не было. Кеша ушел. Лидка спала, а Лия с Августой, должно быть, отправились доить корову и сунули Капу на печку.

Я оторвал от связки продолговатую луковицу, запихал ее в рот и стукнул себя по щеке кулаком. Пулей вылетела изо рта луковица и ударилась в стенку. Я повторил фокус несколько раз, и Капа, малое дитя, забылась и сама принялась обучаться фокусу у дяди-фэзэошника.

Осторожно начал я выведывать у Капы, чего она так испугалась, и Капа, как могла, объяснила мне, что я мычал, дергался и махал руками.

Тяжело мне, видать, одному было, и я кричал во сне, звал людей на помощь.

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН

Мир детства, с ним навечно расставанье,
Назад ни тропок нету, ни следа,
Тот мир далек, и лишь воспоминанья
Все чаще возвращают нас туда...

Кайсын Кулиев

Вот и перелистал я страницы детства.

Писать их было радостно. Прощаться с ними грустно. Расскажешь о детстве — и вроде бы уж навсегда расстанешься с ним.

Но прежде чем расстаться с тем, что стало «далеким миром», я должен рассказать о том, как последний раз свиделся с бабушкой моей Катериной Петровной.

Демобилизовался из армии я в конце сорок пятого года и поселился на Урале.

Устроиться жить и работать тогда не так уж просто было, и в суете, заботах и хлопотах незаметно пролетело полгода.

Лишь в сорок шестом году, летом, сумел я выбраться в Сибирь.

В солдатской форме (гражданскую одежду не успел еще заработать и приобрести), с надраенными медалями и пуговицами я переправился через Енисей и высадился на родном деревенском берегу.

Задами пробрался я к нашему дому. Мне почему-то хотелось первой встретить бабушку, и оттого я не пошел улицей. Тихо повернул кольцо ворот. Они были не заложены, и ставни окон открыты. По этим приметам и по притоптанной траве да по растертым гнилушкам слани угадал я, что в доме живут.

Дверь распахнута. В сенках гудел заблудившийся шмель и пахло прелым деревом. Краски на двери и на крыльце почти не осталось. Она лишь лоскутьями светлела в завалах половиц и на косяках двери.

Я шел осторожно, будто пробегал лишка и теперь боялся потревожить прохладный покой в старом доме. Но щелястые половицы все равно шевелились и постанывали под сапогами.

Бабушка сидела на скамье возле кухонного окна и сматывала нитки на клубок.

Буря пролетела над землей! Смешались и перепутались миллионы человеческих судеб, исчезли и появились новые государства, фашизм, грозивший роду человеческому смертью, подох. А тут как висел настенный шкафик из досок и на нем ситцевая занавеска в крапинку, так и висит; как стояли чугунки и синяя кружка на припечке, так они и стоят; как сидела бабушка на скамейке с привычным делом в руках, так и...

— Что ж ты стоишь, батюшко, у порога? Подойди, подойди! Перекрещу я тебя, милово. У меня в ногу стрелило... Испужаюсь или обрадуюсь, так и стрельнет... Беда-а-а...

Бабушка говорила так, ровно бы я отлучался в лес или на заимку к дедушке сбегал и вот возвратился.

— А я думал, ты меня не узнаешь.

— Да как же не узнаю? Что ты, бог с тобой!

Я оправил гимнастерку, хотел вытянуться, гаркнуть заранее придуманное: «Здравия желаю, товарищ генерал!»

Да какой уж тут генерал!

Бабушка сделала попытку встать, но ее шатнуло, и она ухватилась руками за стол. Клубок скатился с ее колен, и кошка не выскочила из-под скамьи на клубок. Кошки не было.

— Ноги... Остарела я, батюшко. Совсем остарела...

Я поднял клубок и начал сматывать нитку. Медленно приближался я к бабушке и не спускал с нее глаз.

Какие маленькие сделались бабушкины руки! Кожа на них желта и блестит, как луковая шелуха. Сквозь сработанную кожу видна каждая косточка. И синяки. Пласты синяков, будто слежавшиеся листья поздней осени. Тело, мощное бабушкино тело уже не справлялось со своей работой, не хватало у него силы заглушить и растворить кровью даже маленькие ушибы. Щеки бабушки глубоко провалились. У всех у наших так вот будут в старости проваливаться лунками щеки. Все мы в бабушку, скуластые, все с круто выступающими костями.

— Что так смотришь? Хороша стала? — попыталась улыбнуться бабушка стершимися, впалыми губами.

Я бросил клубок и сгреб бабушку в беремя.

— Живой я остался, бабонька, живой!..

— Молилась, молилась за тебя, — торопливо шептала бабушка и по-птичьи тыкалась мне в грудь. Она целовала меня там, где сердце, и все повторяла: — Молилась, молилась...

— Потому я и выжил.

— А посылку, посылку-то получил ли?

Время утратило для бабушки свои определения. Границы его стерлись, и что случилось давно, ей казалось, будто было совсем недавно, а из сегодняшнего многое забывалось, покрывалось туманом тускнеющей памяти.

В сорок втором году, зимою, проходил я подготовку в запасном пехотном полку перед отправкой на фронт. Кормили нас плохо, табаку и совсем не давали. Я стрелял курить у тех солдат, что получали из дому посылки, и пришла такая пора, когда мне нужно было рассчитаться с товарищами.

После долгих колебаний я попросил в письме прислать мне табаку.

Задавленная нуждой Августа отправила в запасной полк мешочек самосада. В мешочке оказалась еще горсть мелко нарезанных сухарей и стакан кедровых орехов. Этот гостинец — сухаришки и орехи — зашила в мешочек бабушка.

— Дай-кось я погляжу на тебя.

Я послушно замер перед бабушкой. На дряхлой щеке ее осталась и не сходила вмятина от моей Красной Звезды. Бабушка оглаживала, ощупывала меня, а в глазах ее стояла густою дремой память. Она глядела куда-то сквозь меня.

— Большой-то ты какой стал, большо-ой!.. Вот бы мать-то покойница посмотрела да полюбовалась... — На этом месте бабушка, как всегда, дрогнула голосом и с вопросительной робостью глядела на меня — не сержусь ли. Не любил я раньше, когда она начинала про такое.

Чутливо уловила бабушка, что не сержусь, что мальчишеская ершистость исчезла и отношение к добру у меня теперь совсем другое. Она заплакала долгими, старческими слезами, чему-то радуясь и о чем-то сожалея.

— Жизня-то какая была! Не приведи господи!.. — жаловалась бабушка. — А меня бог не прибирает. Путаюсь под ногами. Да ведь в чужу-могилку не заляжешь. Помру скоро, батюшко, помру...

Я хотел запротестовать, оспорить бабушку и шевельнулся уж было, но она как-то мудро и необидно погладила меня по голове — и не стало надобности говорить пустые утешительные слова.

— Устала я, батюшко. Вся устала. Восемьдесят шестой годок... Работы сделала — иной артели впору. Тебя все ждала. А жданье крепит. Теперь уж пора. Ты уж, батюшко, приедь похоронить-то меня... Закрой мои глазоньки...

Бабушка ослабела и говорить уже ничего не могла. Она лишь целовала мои руки, мочила их слезами, и я не отбирал у нее руки.

Я тоже плакал молча и просветленно.

Вскорости бабушка умерла.

Мне прислали на Урал телеграмму с вызовом на похороны. Но меня не отпустили с производства.

Начальник отдела кадров вагонного депо, где я работал, прочитавши телеграмму, сказал:

— Не положено. Мать или отца — это другое дело, а бабушек, дедушек да кумовей...

Откуда знать он мог, что бабушка была для меня и отцом, и матерью — всем, что есть на этом свете дорогого для меня!

Мне надо было послать того начальника куда следует, бросить работу, продать последние штаны и сапоги, а я не сделал этого.

Я еще не осознал тогда всю огромность потери, постигшей меня.

Случись это теперь, я бы ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы закрыть бабушке глаза, отдать ей последний поклон.

И живет в сердце вина. Гнетущая, тихая, вечная. Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и все мне прощала. Но ее нет. И никогда не будет.

И некому прощать...

Бабушка, бабушка! Виноватый перед тобою, я пытаюсь воскресить тебя в памяти, рассказать о тебе людям. Непосильная это работа. Нет у меня таких слов, которые передали бы всю мою любовь к тебе!

Согревает меня лишь одна надежда, что люди, которым я рассказал о тебе, в своих бабушках и дедушках, в близких и любимых людях отыщут тебя и будет твоя жизнь беспредельна и вечна, как вечна сама человеческая доброта.

1957—1967

ОГЛАВЛЕНИЕ

Виктор Петрович АСТАФЬЕВ

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН

Повесть

Редактор С. М. Гинц. Художественный редактор М. В. Тарасова. Технический редактор Г. В. Дольская. Корректоры Л. К. Крамаренко, В. И. Чувашов.

Сдано в набор 21/V 1968 г. Подписано в печать 20/VIII 1968 г. Формат бумаги тип. № 1 84×108[1]/32. Печ. л. 8,125 (усл.-прив. л. 13,65), бум. л. 4,0625; уч.-изд. л. 16,578. ЛБ02368 Тираж 30 000 экз. Цена 76 коп. Зак. 835. Пермское книжное издательство. г. Пермь, ул. Карла Маркса, 30. 2-я книжная типография управления по печати. г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

Цена в ледер. 78 коп.